



ДЕНИКИН
Антон Иванович
1872–1947

ДЕНИКИН

Анатолий Марченко

ЗА РОССИЮ—ДО КОНЦА

РОМАН

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
Москва
2001

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
М 30

Оформление
В. И. Харламова

Марченко А. Т.
М 30 Деникин: За Россию — до конца: Роман/А. Т. Марченко. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 416 с.: ил.

ISBN 5-17-005375-4 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-01786-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Новый роман Анатолия Марченко посвящен жизни и деятельности одного из лидеров «Белого движения» А. И. Деникина (1872—1947). Сторонник монархии, он тем не менее приветствовал февральскую революцию, видя в ней определенный прогресс, но последовавшие затем разрушительные для России события заставили его встать на путь вооруженной борьбы с новой властью...

Этот роман — попытка восстановления исторической справедливости. Убедительность и достоверность ему придают используемые документы: выдержки из писем, дневников, книг Деникина «Очерки русской смуты» и «Путь русского офицера».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-17-005375-4
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-01786-9
(ООО «Издательство Астрель»)

© Марченко А. Т., 2001
© ООО «Издательство Астрель», 2001



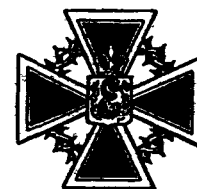
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

Марина Цветаева

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки вспомнят старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет.
Ответ как громом грянет: — На Дону!
— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

Марина Цветаева



Часть I

ЗА ЕДИНУЮ И НЕДЕЛИМУЮ

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне — белы-лебеди!
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело.
А и будет ваша память — белы-рыцари.
И никто из вас, сынки! — не воротится.
А ведет ваши полки — Богородица!

Марина ЦВЕТАЕВА

1



Из записок поручика Бекасова
Орошо помню, будто это было вчера: в окно крошечного кабинета председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Эдмундовича Дзержинского врывалось утреннее весеннее солнце, и потому даже то обстоятельство, что я приехал на Лубянку в сопровождении двух чекистов, не вызывало в моей душе тревоги. Напротив, как это всегда бывает весной, у меня появилась надежда, что ничего необычного, а тем более трагического, в моей судьбе не произойдет.

Впрочем, едва я ощутил на себе пронзительный взгляд испытующих, словно насыщенных магнетизмом

7

глаз Дзержинского, эта надежда сменилась знобящим ожиданием какой-то решительной перемены в моей жизни. Выбор был невелик: или после продолжительного, а может, и короткого допроса я буду арестован как бывший офицер, уличенный в каких-либо грехах, или же мне предстоит пройти через тяжелейшие, если не драматические испытания, предсказать которые я, естественно, не мог хотя бы потому, что никогда не ощущал в себе качеств провидца.

Дзержинский вышел из-за стола, прямой как жердь, сделал шаг навстречу и, не спуская с меня внимательных глаз, протянул длинную худую руку. Я пожал ее осторожно, но все же ощутил, что узкая ладонь его была холодна, будто он только что прикладывал к ней лед. Теперь я видел его лицо настолько близко, что мне стало страшно: я уже был достаточно наслышан о суровости и беспощадности этого человека. Это было лицо аскета, и, несмотря на то что взгляд его был непроницаем, я уловил в нем скрытый фанатичный блеск. Сдержанность была лишь проявлением его воли, а следовательно, проявлением внешним: я был убежден, что в душе этого необычного человека, не утихая, полыхает огонь самых противоречивых чувств.

— Садитесь, — сухо предложил он и вновь занял свое место за столом в самом обыкновенном канцелярском кресле.

Несмотря на то что на улице весеннее тепло уже потеснило стужу, в кабинете Дзержинского было холодно, будто в нем до сих пор сохранялся зимний воздух. И потому я не удивился, что на председателе ВЧК была шинель внакидку. Когда он подходил ко мне, я заметил, что шинель эта — из грубого солдатского сукна и доставала ему почти до пят. Он походил в ней на кавалериста.

Усаживаясь, я обратил внимание на то, как был обставлен кабинет. Ничего даже отдаленно похожего на роскошь, какую я видел в кабинетах иных советских чиновников, даже значительно более низких по рангу, чем председатель ВЧК, не было. На сравнительно небольшом столе — металлическая чернильница в форме конуса, рядом с ней — массивное пресс-папье. Чуть поодаль — шарообразная пепельница из керамики и настольный ка-

лendarь. В кабинете было два телефона: один размещался на столе, другой висел на стене таким образом, что даже сидя можно было, протянув руку, достать трубку. Еще на столе лежало почему-то два коробка спичек: один рядом с пепельницей, а другой у правой ладони хозяина кабинета.

До того как я вошел, Дзержинский, видимо, что-то писал: рядом со стоппкой простой бумаги лежала обыкновенная деревянная ученическая ручка с металлическим пером.

Впрочем, в моем состоянии было не до обстоятельного изучения кабинета, я заметил лишь то, что сразу бросилось в глаза и было доступно даже мимолетному взгляду. Но вполне возможно, что интерес к кабинету был вызван моим внутренним стремлением подавить в себе чувство инстинктивного страха.

— Бекасов Дмитрий Викентьевич? — глядя на меня в упор, осведомился Дзержинский. Голос его был глухой, и слова он произносил с заметным польским акцентом.

Армейская привычка сразу же побудила меня встать и вытянуться «во фронт».

— Прошу вас, не надо вставать, — мягко, но настойчиво произнес Дзержинский. — Время у меня крайне ограничено, и условности этикета лишь будут затруднять мое положение.

Я повиновался.

— Из вашего личного дела следует, что вы, окончив Александровское военное училище, воевали на русско-германском фронте в качестве командира роты в составе бригады, которую возглавлял генерал Деникин. Далее следует, что ваш отец, полковник Викентий Илларионович Бекасов, воевал вместе с генералом Деникиным против немцев. — Все это Дзержинский произнес торопливо, почти скороговоркой. — Мы хотели бы знать, каковы были их взаимоотношения. В частности, были ли эти отношения дружескими или не выходили за пределы служебных?

«Зачем это ему?» — тут же подумалось мне, но я поспешил ответить:

— Вы совершенно правы, господин, простите, товарищ председатель ВЧК. И в том, что я воевал в бригаде генерала Деникина, и в том, что мой отец командовал у

Деникина полком в тот период, когда тот был командиром четвертой стрелковой бригады, которая за героизм, проявленный в боях, была удостоена звания «Железной». Что касается их взаимоотношений, то, насколько я их могу оценить, они были почти дружескими. Деникин высоко ценил отца как храброго и толкового офицера. Отец, в свою очередь, уважал Деникина за честность, неподкупность и порядочность. Разумеется, он видел в нем и талантливого военачальника. Я хорошо помню, как сокрушался Деникин, когда отец мой погиб в бою у австрийского селения Горный Лужок.

По лицу Дзержинского я понял, что он остался доволен моим ответом, видимо оценив его искренность.

— Очень хорошо, — произнес он, хотя я и не понял, к чему относятся эти его слова: к тому, что у моего отца с Деникиным были дружеские отношения, или к тому, что мой отец погиб в бою.

— Нам также известно, что ваша родина — Северный Кавказ? — Это прозвучало скорее не как утверждение, а как вопрос.

— Да, я родился в казачьей станице Михайловской, недалеко от Армавира, где служил мой отец.

— И, следовательно, вы хорошо знаете эти края? — осведомился Дзержинский.

— Я знаю их прекрасно, так как в детстве и юности мне довелось жить и на Дону, и на Кубани, и на Тереке.

— Все складывается как нельзя лучше, — будто самому себе сказал Дзержинский. — Вероятно, вам известно, что в настоящее время на Северном Кавказе усиленными темпами формируется так называемая Добровольческая армия. Одно из ведущих мест в организации Белого движения занимает ваш честный, неподкупный и порядочный генерал Деникин. — Эту сразу Дзержинский произнес с непередаваемым сарказмом. — Так вот: мы хотим послать вас к Деникину с совершенно определенной целью. Нам надо знать все, что будет затевать против советской власти этот белый генерал. Без нужной информации наши войска окажутся в невыгодном положении. Вы должны стать нашим агентом, если хотите, разведчиком. Думаю, что эта роль будет соответствовать вашему нынешнему мировоззрению. Хотя вам и придется отринуть

от себя какие бы то ни было симпатии, которые вы, возможно, питали к Деникину в прошлом.

Дзержинский немного помолчал.

— Не скрою, мы длительное время изучали вас и пришли к выводу, что вы искренне приняли революцию. Вы перешли на сторону большевиков и хорошо проявили себя на Восточном фронте. Или я ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь, товарищ председатель ВЧК! — доспешил заверить его я. — Вы выразились очень точно.

— Что касается задания, которое вы получите, то оно не менее важно для победы над контрреволюцией, чем борьба с ней на линии фронта.

Так вот зачем я понадобился Дзержинскому! Честно говоря, намерение его я сразу же встретил отрицательно. Хотя я сознательно перешел на сторону красных, роль разведчика, да еще у Антона Ивановича Деникина, которого я хорошо знал, была для меня совершенно неприемлема.

Конечно, я не был фанатичным монархистом и, когда свершилась революция, воспринял ее как совершенно закономерное событие. Я был убежден, что если старый режим прогнил, то бессмысленно подставлять ему подпорки, чтобы спасти от окончательной гибели. Подпорки все равно не помогут, и обреченный историей старый мир все равно рухнет, да еще и похоронит под своими обломками наивных спасателей. Вместе с тем я хорошо знал, что Антон Иванович Деникин был абсолютно противоположно мнения о путях развития России, а большевистскую власть воспринял как пришествие дьявола. Если бы мне довелось в эту переломную пору быть вместе с ним, возможно, я попытался бы отговорить его от безумной затеи воевать с большевиками, за которыми пошла основная масса народа. Вряд ли я смог бы переубедить его, но попытку такого рода обязательно бы предпринял.

Теперь же мне открыто предлагали проникнуть в штаб Деникина, чтобы, по сути дела, подрывать его изнутри, пользуясь благорасположением ко мне Антона Ивановича, который, как я думал, меня не забыл. Офицерская честь моя взбунтовалась: я никогда не был доносчиком, а тем более шпионом. И потому сразу же решил отказаться.

— Я строевой офицер, товарищ председатель ВЧК, — начал я как можно спокойнее. Мучительно обдумывая аргументы, с помощью которых смог бы наиболее убедительно обосновать свое нежелание покинуть фронт и заняться той деятельностью, которой я никогда не занимался и не желал заниматься. — У меня нет никакого, решительно никакого опыта той работы, которую вы мне предлагаете. И вместо пользы я, сам того не желая, могу принести лишь вред, если провалю это важное задание. И потому убедительно прошу вас отправить меня снова на Восточный фронт, в дивизию Гая, откуда я и был вызван в Москву.

Дзержинский нахмурился, и мне почудилось, что этот человек словно создан для того, чтобы сурово хмуриться и никогда не улыбаться. Потом твердо произнес:

— Вы меня не убедили. Разве все мы, кто совершил революцию, имели опыт? Мы приобрели его в ходе революционных боев. Учиться за партами некогда — республика в кольце врагов, которые, если мы будем бездействовать, задуют нас и восстановят монархию или нечто подобное ей. Учиться приходится в ходе самой гражданской войны. У вас есть все объективные и субъективные данные для того, чтобы успешно выполнить наше задание. Советую хорошенько подумать, ибо ваш отказ может быть воспринят как нежелание помочь революции.

Можно ли было после таких слов возражать, отказываться, искать новые доводы? Все они уже не имели бы ровно никакого значения.

Я сказал, стараясь подавить волнение:

— Если вопрос стоит так — помогать или не помогать революции, — я согласен. Приказывайте.

— Вот это уже другой разговор, — удовлетворенно сказал Дзержинский. — Сейчас вас поведут к товарищу Петерсу, он детально введет в курс предстоящей работы. Желаю удачи.

Не прошло и двух минут, как я уже входил в кабинет Петерса.

Надо сказать, что заместитель Дзержинского Яков Христофорович Петерс разительно отличался от своего начальника. Если лицо Дзержинского было аристокра-

тически утонченным, то Петерс был похож на обыкновенного крестьянина с какого-нибудь заброшенного в глуши Латвии хутора. Единственное, что внешне сближало Дзержинского и Петерса, так это отчетливо проступающие черты сильной воли и решительного характера.

Уже по началу разговора я понял, что Петерс знает обо мне если не все, то очень многое.

— Как вы относитесь к генералу Деникину? — после целого ряда уточнений, связанных с моей биографией, спросил Петерс.

— Станный вопрос! Не мог же он предположить, что я буду с восторгом говорить о Деникине в кабинете заместителя председателя ВЧК!

— Я знаю его как боевого генерала, имеющего большой фронтовой опыт, — дипломатично ответил я. — Он прекрасно проявил себя в русско-японской и особенно в русско-германской войне.

— Меня интересует ваше отношение к Деникину как к одному из организаторов борьбы с большевиками, — нетерпеливо перебил меня Петерс.

— Думаю, что генерал Деникин вступил на ошибочный путь. — Я говорил в этот момент совершенно искренне. — Он ошибается, принимая революцию за результат действий группы заговорщиков, и не принимает во внимание то, что за большевиками идет народ, веря, что они принесут ему освобождение и более достойную жизнь. В этом его трагическая ошибка.

— Ничего себе ошибка! — хмуро произнес Петерс, сверля меня своими темными глазами. — Ваша оценка очень далека от классовой. Это не ошибка — это преступление перед трудовым народом, это стремление снова надеть ему на шею ярмо эксплуатации! А вы оцениваете его борьбу с народной властью как невинное заблуждение.

— Мой переход на сторону большевиков — вполне сознательный шаг, — с чувством собственного достоинства сказал я: жесткие слова Петерса меня очень обидели. — И потому враги революции — это и мои враги.

— Вот это другое дело, — буркнул Петерс, все еще, видимо, не очень-то доверяя мне. — Впрочем, решение принято — вы засылаетесь в штаб к Деникину и будете ин-

формировать нас о каждом его шаге. Имейте в виду, что в случае... ну, сами понимаете, чего, наши люди достанут вас из-под земли.

Это обидело меня еще сильнее: ничего себе, даже не раскрыв конкретно суть моего задания, мне уже грозят расправой!

— Теперь подумаем, как вам лучше добраться до Деникина и попасть в его штаб. Наши сотрудники, естественно, инкогнито сопровождают вас до Ростова, а уж дальше будете добираться сами. Надеюсь, что Деникин положительно воспримет появление сына его бывшего фронтowego друга. Передавать информацию будете через нашего связника в Екатеринодаре, мы дадим вам все пароли и явки. На подготовку к выезду — две недели. Жить будете на нашей явочной квартире, разумеется, без права появления в городе. Вам надо вжиться в обстановку, войти в роль. Мы обеспечим вас последними материалами о Деникине и его окружении. Особое внимание уделите заочному знакомству с начальником деникинской контрразведки полковником Донцовым, краткие сведения о нем мы вам предоставим. Покажите себя старательным учеником.

Мне ничего не оставалось, как слушать инетруктаж Петерса и мысленно представлять себе свою будущую встречу с Антоном Ивановичем. Признаюсь честно: я воспринял эту свою новую роль как наказание, ниспосланное свыше. И в то же время она, эта роль, чем-то еще не вполне осознанным привлекала меня, разжигала в душе огонек авантюризма, манила своими тайнами. Удивительно ли: мне было только двадцать четыре года, а кто в таком возрасте не мечтает о жизни, полной романтики и приключений!

Много позже я узнал, что в роли шпиона я был не одинок. В период борьбы с Деникиным ВЧК осуществляла массовую вербовку и засылку агентуры в войска Белого движения. При тогдашнем хаосе и сумятице это не представляло большого труда. Видимо, такие действия ВЧК были оправданы, ибо приходилось учитывать, что не все засланные агенты выполнят порученное им задание: одни не смогут по каким-либо причинам добраться до места назначения, другие, не имея должного опыта разведыва-

тельной работы, не сумеют добывать нужную информацию и оперативно передавать ее в Центр (а кому нужна устаревшая или недостоверная информация!), третьи, опять-таки не обладая навыками подпольной работы, будут быстро разоблачены контрразведкой, а четвертые, что вполне естественно, по доброй воле перейдут на сторону белых. Но все-таки кто-то из засланных или на месте завербованных агентов закрепится, освоится, войдет в доверие к белым и сумеет оказать ВЧК нужные услуги.

Что касается меня, то в моем лице ВЧК, при условии моей верности и добросовестности, приобрела очень ценного агента, ибо я, по замыслу чекистов, должен был проникнуть в самый мозг Добровольческой армии — в штаб генерала Деникина.

О том, что происходило сейчас на Юге России, там, где формировалось и набирало силу Белое движение, я узнал из материалов, которые сразу же доставили мне на явочную квартиру чекисты. А то, что было за пределами этих материалов, я знал из рассказов моего отца и сослуживцев Деникина, которые часто навещали нас в прошлом. Оно, это прошлое, представлялось мне сейчас как бы в двух измерениях — происходившим, казалось, совсем недавно и в то же время уже ставшим историей.

2

Тысяча девятьсот семнадцатый год, казалось бы самый обычный год календаря, ворвался в мир как вихрь, как смерч, как ураган. Чудилось, в один миг некогда сонная до одури Россия встала на дыбы, подобно коню великого Петра, и с бешеной скоростью, не разбирая дороги, неистово понеслась вскачь — то ли к славе, то ли к гибели. Народ Российской империи, ошеломленный и оглушенный громом революции, не сразу понял, куда несется этот конь: на небеса обетованные — в рай или же в генину огненную — в ад.

Антон Иванович Деникин, генерал-лейтенант российской армии, откликнулся на революционный взрыв в Петрограде краткой, но весьма выразительной, не лишеной патетики записью в своем дневнике:

«События развернулись с неожиданной быстротой и с грозной силой. Дай Бог счастья России!»

Казалось, в самой душе его тоже все перевернулось, смешалось, вступило в непримиримую схватку с прежними устоявшимися воззрениями. Он, как это часто бывает с людьми, обладающими природной интуицией, сразу же понял, что возврат к прошлому невозможен, что для России было бы благом конституционное устройство, достойное великого народа, и что лучше всего ее интересам отвечают конституционная монархия и, несомненно, победоносное окончание войны с Германией.

Деникин не скрывал своих убеждений, которым остался верен до последних дней жизни: строить новую Россию нужно лишь путем э в о л ю ц и и, но никак не путем р е в о л ю ц и и.

Однако события, разворачивавшиеся с потрясающей быстротой и фантазмагоричностью, не оставляли никаких сомнений в том, что силы, рвущиеся к власти, в своем безумии избрали путь революционных потрясений, путь разрушения всего, что создавалось веками, и строительства «нового мира», фантастические проекты которого давно уже вызревали в головах неких сомнительных мыслителей и мудрецов.

Что же касается счастья России, то в понятие счастья Деникин вкладывал свой смысл: как было бы прекрасно, если бы «круг времен» замкнулся происшедшей в столице трагедией и к новому строю страна перешла без новых, еще более страшных взрывов.

Монархия пала, властью завладело Временное правительство. Деникин был поражен тем, что отречение императора было встречено в войсках с каким-то тягостным гипнотическим равнодушием. Ни радости, ни горя, лишь сосредоточенное молчание, словно затишье перед бурей. Деникин сам был свидетелем такой реакции, объезжая полки 14-й и 15-й дивизий. И все же его зоркий, наметанный взгляд кое-где замечал, как в строю неподвижно застывших солдат, с виду спокойно слушавших весть об отречении царя, взволнованно колыхались ружья, а по щекам иных старых вояк катились слезы...

На первых порах Деникина озадачивало то обстоятельство, что крушение векового монархического строя не

вызвало в армии, столь целенаправленно воспитывавшейся на традициях монархизма, не только противодействия, но даже отдельных вспышек протеста. Будто все, что происходило, так и должно было быть. Факт оставался фактом: армия не создала своей Вандей. Конечно же в армии было немало частей, преданных старому режиму, но их порыв к защите монархии сдерживался весьма надежно тем, что Николай II отрекся добровольно, и не только отрекся, но и призвал своих бывших подданных подчиниться Временному правительству, «облеченному всей полнотой власти». И конечно, сдерживающим фактором было то, что, затеяв междоусобную схватку, войска открыли бы германский фронт, бросив его на произвол судьбы. В результате армия оказалась послушной своим вождям, прежде всего такому военному авторитету, как генерал Алексеев. Практически все командующие фронтами сразу признали новую власть.

Конечно, такого рода настроения преобладали главным образом в офицерской среде, что же касается солдатской массы, то, как видел Деникин, она была слишком темной, чтобы разобраться в событиях, и слишком жертной, чтобы адекватно реагировать на них.

Надо отдать должное Деникину: воспитанный в монархическом духе, он смог сделать достаточно точный анализ причин крушения династии Романовых:

«Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на кого могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты».

Будучи законопослушным генералом, Деникин сразу проявил полную лояльность к Временному правительству. Но вскоре, к своему ужасу, увидел, что оно, это прекраснородушное правительство, упивающееся пустой, хотя и звонкой говорильней, выпустило из своих рук бразды правления, и образовавшийся вакуум тотчас же заполнили так называемые Советы рабочих и солдатских

депутатов. Керенский и его сподвижники остались без исполнительного аппарата на местах, ибо старый аппарат был сметен революцией. Правительство Керенского, еще не успев «вырасти», превратилось в дерево, лишенное корней.

Непреходящую боль и гневное возмущение профессионального военного, каким был Деникин, вызывал все нараставший развал кадровой армии. Всем сердцем он чувствовал, что Февральская революция, которую с гордостью именовали великой и бескровной, родила бурю и вызвала из бездны злых духов.

Восемнадцатого марта Деникину вручили телеграмму, в которой ему предлагалось незамедлительно прибыть в Петроград для переговоров с военным министром Временного правительства. Он никак не мог понять, с какой целью его вызывают и зачем боевой генерал так срочно понадобился в столице, когда у него столько неотложных дел на фронте. И лишь когда поезд по дороге в Москву сделал остановку в Киеве, все стало ясно. По оживленному перрону стрелом носились мальчишки с пачками газет в руках и громко выкрикивали:

— Последние новости! Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного главнокомандующего!

С военным министром Гучковым Деникин не был знаком и никогда прежде не встречался. Знал лишь, что Александр Иванович Гучков был крупным капиталистом и принадлежал к партии октябристов, как обычно именовали в прессе «Союз 17 октября» (название было «обязано» царскому Манифесту от 17 октября 1905 года). Деникин изредка просматривал печатные органы этой партии — газеты «Слово» и «Голос Москвы» — и обычно презрительно отбрасывал их в сторону. Знал он и то, что в 1910 году Гучков был председателем III Государственной думы, ходил в лидерах своей партии вместе с Михаилом Владимировичем Родзянко, крупным помещиком. Деникина обычно раздражали метания октябристов между кадетами и монархистами: не искушенный в закулисной политической возне, генерал не выносил интриг и подковерной борьбы.

И вот теперь этот самый Гучков революционной волной был вынесен на самый верх военного руководства,

и вряд ли что-то смыслил в проблемах обороны страны; а тем более в боевых действиях на фронте, целях, задачах и сущности военного строительства. Еще и за это Деникин ненавидел всякие революционные потрясения: люди, рвущиеся к власти, не думают о том, что на любом посту главное — компетентность, а не умение околдовывать людские души, неустанно витийствуя с трибун митингов и совещаний.

Гучков принял Деникина со всем радушием, на которое был способен: он прекрасно понимал, что Временное правительство и лично он, Гучков, смогут удержаться у власти только с помощью штыков.

— Дорогой Антон Иванович! — Широкая наигранная улыбка озарила крупное тяжелое лицо Гучкова. — Хотя прежде мы с вами и не были знакомы... К великому сожалению! — поспешно добавил он. — Хотя прежде и не были знакомы, у меня такое ощущение, что я знаю вас с давних пор. Позвольте мне, как человеку, почитающему в вас военный талант и ваше всем известное мужество истинного фронтовика, употребить выражение простолоудинов: знаю вас как облупленного!

Деникину всегда претила лесть, он слушал Гучкова, постепенно проникаясь к нему неприязнью.

Выдержав длительную паузу, Гучков попытался проверить, какое впечатление произвели его слова на Деникина, и, по хмурому непроницаемому лицу генерала поняв, что лесть не сработала, сразу же перешел к делу:

— Милейший Антон Иванович, зная вас как человека дела, не буду играть с вами в прятки. У нас во Временном правительстве при выборе кандидатуры на пост Верховного главнокомандующего дело дошло едва ли не до драчки: одни предлагали генерала Алексеева, другие — генерала Брусилова. Не утаю, против Алексеева отчаянно выступал Родзянко и его единомышленники. И все же большинство, в их числе и ваш покорный слуга, твердо стояли за Алексеева. Но вы же знаете, что Михаил Васильевич при всем его незаурядном полководческом таланте, к великому сожалению, обладает весьма мягким характером. Не характер, доложу я вам, а воск, натуральный воск! И я предложил, если позволите так выразиться, «подпереть» Алексеева таким человеком, как

вы, Антон Иванович. А именно: человеком железного характера, способного своей неукротимой волей положительно влиять на Верховного главнокомандующего, особенно при его возможных колебаниях. Мы предлагаем вам пост начальника штаба у генерала Алексеева.

Деникин отреагировал незамедлительно:

— Благодарю вас за высокую честь, но вынужден сразу же отказаться.

— Но почему же?

— Причин тому несколько, — спокойно ответил Деникин. — Прежде всего, вся моя военная служба прошла в строю, а если и приходилось волею обстоятельств быть штабником, то в штабах определено строевых. Кроме того, как вам должно быть известно, всю войну я командовал дивизией и корпусом — в этом мое призвание, это отвечает моему опыту и моим способностям. А в Ставке Верховного главнокомандующего более пристало находиться человеку, который причастен к высокой политике, к вопросам государственной обороны. Что же касается меня, то мне никогда не доводилось работать на поприще такого масштаба.

Несмотря на слова Деникина, Гучков продолжал настаивать на своем с поистине бычьим упрямством, мотивируя свою настойчивость интересами России прежде всего.

— Я могу дать согласие, — наконец сдался Деникин, — но при этом хочу выговорить себе право до окончательного решения встретиться с генералом Алексеевым.

— Да ради бога! — обрадованно воскликнул Гучков, довольный тем, что ему удалось сломить сопротивление Деникина. — Предоставляю вам это право с превеликим удовольствием! Но не затягивайте с решением, батенька мой, умоляю вас, не затягивайте! Дорога каждая минута!

При всей своей показной откровенности Гучков не сказал главного. А главное состояло в том, что Временному правительству, для того чтобы вызвать по отношению к себе благосклонность Совета рабочих и солдатских депутатов, нужна была именно такая кандидатура, как Деникин: новая власть отдавала приоритет в назначениях

на высокие посты выходцам из низов, а Деникин как раз подходил по этим «параметрам»: по своему происхождению он был из простых крестьян. Временное правительство надеялось, что он будет проводить линию на демократизацию армии, что его назначение не вызовет конфликта с Советом рабочих и солдатских депутатов, перед которым правительство вынуждено было заигрывать, учитывая растущее влияние Советов в массах.

Однако Временное правительство просчиталось: да, Деникин осуждал старый режим, резко критиковал в печати военную бюрократию, в целом принял Февральскую революцию. Но превращать армию в некое хаотическое скопление военных людей, в «вольницу», где каждый сам себе командир, где нет строгой дисциплины, где царят анархия и своеволие, он конечно же не собирался, ибо считал это гибельным для армии и для России.

Как и предполагал Деникин, разговор с Алексеевым оказался непростым. Деникин, в сущности, слово в слово передал ему содержание своей беседы с военным министром. Однако Алексеев подспудно был обижен и уязвлен тем, что вопрос о назначении Деникина не был с ним согласован и его пытаются поставить перед свершившимся фактом. Кроме того, он как огня боялся всяких подсиживаний...

— Ну что ж, как вам угодно... — коротко и сухо бросил он, не глядя на Деникина, в конце разговора.

Тому все стало ясно.

— Итак, я немедленно сообщу Гучкову о своем окончательном отказе от предложенной мне должности, — твердо произнес Деникин. — Я не буду ссылаться на вас, — успокоил он Алексеева. — Это мое сугубо личное решение. — И встал, чтобы откланяться.

— Что вы, что вы, голубчик, — вдруг встрепенулся Алексеев: слова Деникина не на шутку испугали его. — Я буду рад иметь такого начальника штаба, как вы. Месяца два поработаете, а там как пожелаете. Если дело придется вам не по душе (он хотел сказать: «или если не сработаетесь со мной»), то сможете уйти в войска и занять должность не менее чем командующего армией.

Михаил Васильевич Алексеев был старше Деникина ровно на пятнадцать лет. На первый взгляд в его обли-

ке не было тех черт, которые выдают в человеке так называемую «военную косточку», скорее он походил на профессора: небольшой рост, щупловатость, рассеянный взгляд маленьких глаз, скрытых за стеклами круглых очков, суетливость, порой не вызываемая какими-либо внешними обстоятельствами. Один глаз его сильно косил. Вел он себя, как и Деникин, скромно, не любил людей, склонных к многословию. Был он схож с Деникиным и по своему происхождению и по тому, что пробился в генералы без всякой протекции, лишь с помощью природного ума и огромной работоспособности. Ко времени Февральской революции Алексеев накопил немалый боевой опыт: участвовал в русско-турецкой кампании, в русско-японской войне, затем был некоторое время профессором Генерального штаба. На русско-германском фронте перебивал на нескольких командных и штабных должностях, начиная с начальника штаба Юго-Западного фронта. В 1915 году стал главным командующим Северо-Западным фронтом, где в ходе отступления сумел благодаря своему военному мастерству вывести свои войска из «польского мешка» и окружения, в которое пытался его заманить Людендорф. С того времени, как Николай II принял на себя верховное командование, Алексеев стал его ближайшим сподвижником и фактически руководил вооруженными силами России.

Несмотря на то что Алексеев по характеру был человеком колеблющимся, одно свойство его натуры заслуживало уважения: в придворных кругах, где необходимо было проявлять мужество почти такое же, как на фронте, он никогда не слыл льстецом и приспособленцем. Такую оценку подтверждали многочисленные факты.

Однажды в Ставку приехала императрица Александра Федоровна. Пригласив Алексеева прогуляться по саду, она доверительно взяла его под руку и стала упрекать генерала в том, что тот явно несправедливо относится к Распутину. Императрица не жалела возвышенных слов, пытаясь доказать, что Распутин — святой человек и способен творить чудеса, что на него беспардонно клеветают. В заключение предложила генералу пригласить Распутина в Ставку, чтобы он своим присутствием и советами

переломил ход событий на фронте и помог русским войскам одержать победу.

Алексеев, внимательно выслушав, долго молчал, испытывая терпение императрицы. И когда она, не выдержав, поторопила его высказать свое мнение, ответил с той твердостью, которая не вызвала сомнений в том, что его суждение о Распутине не претерпело никаких изменений:

— Ваше императорское величество, могу сказать лишь одно: как только Распутин появится в Ставке, я в тот же час оставлю пост начальника штаба. Пусть этот святой и чудный старец, как вы его называете, и ведет войска в бой против германцев.

Алексеев, как и Деникин, решительно выступал против революционных потрясений прежде всего потому, что был уверен: всякая революция приведет к развалу фронта, который и без того держится на честном слове, а следовательно, к победе Германии над Россией.

О характере Алексеева красноречиво говорил и такой факт: когда Николай II отрекся от престола, Алексеев распорядился не снимать его портретов в Ставке, показывая тем самым, что не собирается заискивать перед новой властью.

Когда Николай II приезжал в Могилев, для того чтобы попрощаться с членами Ставки, произошло событие, которое еще более возвысило Алексеева в глазах Деникина. Об этом Антон Иванович записал в своем дневнике:

«Никто никогда не узнает, какие чувства боролись в душе Николая II — отца, монарха и просто человека, когда в Могилеве, при свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал:

— Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград.

На листке бумаги отчетливым почерком государь написал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея.

Алексеев унес телеграмму... и не послал. Было слишком поздно: в стране и армии объявили уже два манифеста.

Телеграмму эту Алексеев, чтобы не смущать умы, никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал

мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки».

Этот факт еще более укрепил в душе Деникина убеждение в том, что трагедия, обрушившаяся на Россию, не была случайной: при т а к о м императоре разве могло бы быть иначе?

3

Антон Иванович гневно сбросил со стола на пол свежий номер газеты, только что доставленный из Петрограда. На первой полосе было опубликовано интервью некоего Иосифа Гольденберга французскому публицисту Клоду Анэ:

«В тот день, когда мы сделали революцию, мы поняли, что если мы не разрушим старой армии, то она подавит революцию. Нам приходилось выбирать между армией и революцией. Мы не колебались. Мы выбрали революцию и пустили в ход — я смею сказать — гениально необходимые средства».

Деникин усмехнулся: уж ему ли не были ведомы эти самые «гениально необходимые средства»! Мало того что на армию обрушился целый поток большевистской пропаганды, схожий с Ниагарским водопадом. Свой «вклад» в разложение армии небезуспешно вносил и германский генеральный штаб. Чего стоили одни только восторженные слова генерала Людендорфа о революции в России! Он откровенно признавался в том, что в тот день, когда наступила эта самая революция, огромная тяжесть свалилась у него с плеч. Людендорф стремился посредством настойчивой пропаганды содействовать разложению не только армии, но и всего российского народа, укреплять в русских людях жажду мира.

Именно немцы придумали и привели в действие крайне выгодную, спасительную для них политику братания на русско-германском фронте. Дьявольская политика эта была продумана педантичными немцами до мельчайших деталей. Германские штабы разработали подробней-

шие инструкции для командного состава, исполнение которых давало бы наибольший эффект в деле разложения русской армии. В русских окопах появились сотни тысяч листовок, призывавших солдат воткнуть штык в землю, «то война якобы выгодна лишь Временному правительству и генералам. Немцы засылали в Россию надежных и пронырливых агитаторов, хорошо знавших русский язык. Они призывали к миру на фронте и к войне в тылу — против правительства и офицеров. Эти «агитаторы», помимо прочего, были и опытными шпионами, не станно ведущими сбор ценной информации. Таким образом, большевистские агитаторы, которые вели подпольную работу в армии, призывая солдат превратить империалистическую войну в войну гражданскую, по существу, смыкались с агитаторами немецкими, и эта мощная агитация была исключительно успешной.

Деникина особенно возмущало то, что такие же идеи проводил и считающий себя русским патриотом лидер большевиков Ульянов-Ленин, собственно, он и разработал стратегию и тактику большевистской агитации и пропаганды.

«Отправлением в Россию Ленина, — писал генерал Людендорф, — наше правительство возложило на себя огромную ответственность. С военной точки зрения его проезд через Германию имел свое оправдание: «Россия должна была пасть!»

С неизбежной тревогой и волнением следил за всеми этими событиями Деникин. Он страдал оттого, что не с кем было поделиться своими горестными раздумьями, и потому даже в письмах своей невесте Ксении Васильевне Чиж у него невольно проскальзывали политические мотивы:

«5 апреля 1917 года. Политическая конъюнктура изменчива. Возможны всякие grimасы судьбы. Я лично смотрю на свой необычный подъем не с точки зрения честолюбия, а как на исполнение тяжелого и в высшей степени ответственного долга. Могу сказать одно: постараюсь сохранить доброе имя, которое создали мне «железные стрелки», и не сделаю ни одного шага против своих убеждений для устойчивости своего положения».

А в письме, poslanном месяц спустя:

«Безропотно несущ крест. Иногда тяжело. И не столько от боевой обстановки, сколько от пошлости и подлости людской. Политика всегда не честна. Пришлось окунуться в нее, и нужно выйти незапачканным».

И в письме, написанном через две недели:

«Медленно, но верно идет разложение. Борюсь всеми силами. Ясно и определенно опорочиваю всякую меру, вредную для армии, и в докладах, и непосредственно в столицу. Результаты малые. Одно нравственное удовлетворение в том, что не пришлось ни разу поступиться своими убеждениями. Но создал себе определенную репутацию. В служебном отношении это плохо (мне, по существу, безразлично). А в отношении совести — спокойно... редкие люди сохранили прямоту и достоинство. Во множестве — хамелеоны и приспособляющиеся. От них скверно. Много искреннего горя. От них жутко».

К великому огорчению Деникина, совсем скоро к «хамелеонам и приспособляющимся» он вынужден был отнести и известного генерала Алексея Алексеевича Брусилова, который, едва совершилась революция, сразу же перекрасился в красный цвет. Это превращение было просто неслыханным и не поддавалось никаким законам логики! Как мог он, бывший паж императора, генерал-адъютант Николая II, достигнув едва ли не преклонного возраста (ему исполнилось шестьдесят четыре года), в котором человеку надлежит обрести мудрость, переметнуться к большевикам, ползая на коленях перед всяческими Советами всяческих депутатов и одновременно с гордостью заявлять, что все это он делает в интересах России и русского народа! Настоящий цирковой пируэт!

И вот этот самый Брусиллов неожиданно сменяет на посту Верховного главнокомандующего генерала Алексеева!

Деникин встретил это назначение с неприкрытой враждебностью. И это несмотря на то, что на русско-германском фронте он воевал под началом Брусилова, высоко ценил его полководческие способности и человеческие качества. В свою очередь, Брусиллов неоднократно отмечал военные заслуги Деникина и особенно его «Железной» бригады. Как можно обмануться в человеке! Вот

еще одно проклятие, которое несут в себе революционные перемены: часто они превращают нормальных, честных людей в перевертышей!

Получив назначение, Брусиллов тотчас же прибыл в Могилев — тихий, утопающий в зелени город на холмистом берегу Днепра. Позднее, уже будучи на Юге, Деникин иной раз думал о том, что нахождение ставки в Могилеве было не лишено некоей злосчастной символики: названию своему этот небольшой город был обязан неметному числу находившихся близ него курганов-могильников, при раскопках которых обнаруживали древние арабские монеты. «Вот и Ставка наша угодила прямо в могилу», — эта горькая сентенция всякий раз приходила на ум Деникину, когда он вспоминал о Могилеве.

Еще, пожалуй, никого так холодно и неприветливо не встречали в Могилеве, как встретили Брусилова. Стафик, отвечая на сухие, не более чем официальные приветствия, недовольно хмурился: его поразили контраст между этой почти враждебной встречей и тем, как еще совсем недавно опьяненная революционными лозунгами толпа с восторгом носила его по Каменец-Подольску в красном кресле.

В душах Деникина и его офицеров закипело негодование, когда Брусиллов, обходя строй почетного караула, не пожал руки раненому герою войны полковнику Тимановскому, зато с подчеркнутой подобострастностью потряс руки солдат — посыльного и ординарца, вызвав у них испуг и смущение. Видимо, перекрасившийся генерал был уверен, что весть об этом сверхдемократичном жесте с быстротой молнии достигнет ушей Керенского.

Затем, уже в штабе, размещавшемся в доме местного губернатора, Брусиллов вручил Деникину папку.

— В этой папке, Антон Иванович, очень ценный документ — мой приветственный приказ армиям, — многозначительно произнес он.

— Прикажете разослать в войска? — осведомился Деникин.

— Что вы, бог с вами! Прошу вас впредь не действовать столь поспешно и неосмотрительно, — запримечтал Брусиллов. — Срочно отправьте приказ в Петроград с нижайшей просьбой Александру Федоровичу Керенскому

рассмотреть его. И лишь когда он одобрит — немедля разошлите.

Деникина передернуло, но он не подал и виду, молча кивнув головой в знак согласия.

«И с таким человеком мне предстоит работать? — Он даже вздрогнул от этой мысли. — Что сотворила с ним революция!»

Брусилов интуитивно почувствовал вражду, исходящую от мрачного Деникина.

— Антон Иванович, дорогой! Задаю себе вопрос и никак не могу на него ответить. Всем сердцем я надеялся, что встречу в вас своего боевого товарища, что мы с вами будем работать в одной упряжке, сообща тянуть этот тяжелый воз. И, не скрою, удивлен, если хотите, даже поражен тем, что вы смотрите на меня волком.

Сумрачность не исчезла с лица Деникина:

— Это не совсем так. Дело в том, что мое дальнейшее пребывание во главе Ставки невозможно.

— Но почему же?! — В голосе Брусилова сквозило, казалось бы, искреннее удивление.

«Вот теперь я окончательно понял, кем ты стал на самом деле, — недобро, но даже с каким-то облегчением подумал Деникин. — Ты не просто перевертыш, ты еще и лицемер!»

А вслух ответил:

— Одна из причин состоит в том, что на мою должность вами предназначается генерал Лукомский.

Лицо Брусилова исказила гримаса тревоги и смущения, но это длилось лишь мгновение. Взяв себя в руки, он воскликнул с той же притворной искренностью:

— Это возмутительно! Как же они смели назначить Лукомского без моего ведома?!

Деникин слегка усмехнулся и промолчал: уж ему-то было достоверно известно, что Брусилов, еще находясь на Юго-Западном фронте, согласился с Керенским, предложившим на должность начальника штаба именно Лукомского!

Антон Иванович был несказанно рад тому, что в ожидании своего преемника ему довелось проработать с Брусиловым всего дней десять. Но и эти дни были для него сущим наказанием. Брусилов явно подыгрывал новым

властителям, и стоило Деникину заговорить о мерах, которые, по его мнению, следовало бы принять в интересах укрепления армии, как Алексей Алексеевич в страхе начинал махать на него руками, будто это был не начальник штаба, а назойливая осенняя муха:

— Антон Иванович, умоляю вас, остепенитесь! Время сейчас совсем, совсем другое! Все, что вы предлагаете, будет немедленно расценено как посягательство на демократию, а то и вовсе, избави Господь, пришьют нам контрреволюцию!

— Но разве вы не видите, что армия разваливается и идет к пропасти?

— Все вижу, голубчик, как же не видеть! Но разве против силы попрешь? Новые власти как раз и хотят на развалинах старой армии построить новую — классовую. — Помолчав, он добавил сокрушенно: — Вы думаете, мне самому не противно постоянно махать красной тряпкой? Но что же делать? Сознательно и добровольно подставить себя под пули? Россия больна, армия больна. Ее надо лечить. Но как, какими лекарствами?

Как-то в доверительном разговоре, когда Деникин попросил походатайствовать, чтобы его отправили на фронт, Брусилов признался:

— Я вам открою тайну, голубчик. Знаете, почему они боятся посылать вас на фронт? Они думают, вы там начнете разгонять комитеты.

Деникин улыбнулся:

— Не совсем так. Я не буду прибегать к помощи комитетов, но, честное слово, и трогать их не стану.

— Возможно ли такое? — с сомнением проговорил Брусилов. — Они же страсть как любят во все совать свой нос. И даже ваше равнодушие к ним воспримут как позицию враждебного свойства.

Однако сам в тот же день отправил телеграмму Керенскому:

«Переговорил с Деникиным. Препятствия устранены. Прошу о назначении его главнокомандующим Западным фронтом».

Узнав об этом, Деникин воспрянул духом. О своих настроениях он вскоре сообщил Ксении:

«Ныне отпускаеши... хоть и не совсем. Временное пра-

вительство, отнесясь отрицательно к направлению Ставки, пожелало переменить состав ее. Ухожу я, вероятно, и оба генерал-квартирмейстера. Как странно: я горжусь этим. Считаю, что хорошо. Мало гибкости? Гибкостью у них называется приспособляемость и ползание на брюхе перед новыми кумирами. Много резкой правды приходилось им выслушивать от меня. Так будет и впредь. Всеми силами буду бороться против развала армии».

Между тем Ксению не устраивали редкие, да к тому же изрядно политизированные письма жениха. Накануне отъезда Деникина из Могилева она без предупреждения, внезапно приехала к нему. В Ставке это произвело настоящий фурор. Штабные, забыв все свои неотложные дела, старались увидеть невесту генерала, который, как они были уверены, неизменно сторонился женщин и не имел в своей жизни абсолютно никаких интересов, кроме служебных.

Офицеры тайком, чтобы это не бросалось в глаза, следили за Ксенией, которая выходила из подъехавшего к дому губернатора экипажа, и особенно за тем, как торопливо и несколько скованно спешил ей навстречу их строгий, немногословный и, казалось, лишенный каких-либо любовных чувств молодой начштаба.

Слышались негромкие возгласы:

— Господа, а она довольно мила. Вылитая цыганка!

— Да, но она же еще совсем девочка!

— В самом деле, какой контраст! Нашему «царю Антону» уже ведь под пятьдесят!

— Если быть точным, то сорок пять...

— Все равно, брак будет явно неравный.

— Смотрите, смотрите, наш генерал смущен, как юноша! А как бережно он ведет ее!

— Не бережно, а скорее цепко, будто боится, что она упорхнет от него к какому-нибудь молоденькому офицеру!

Кое-какие обрывки этих «комментариев» доносились до Ксении, но она вела себя подчеркнуто свободно. Ей было даже приятно, с каким откровенным любопытством и, кажется, с восторгом смотрят на нее и встречные офицеры, и те, что осторожно, будто случайно, выглядывают из раскрытых окон. Она думала сейчас об одном: «Глав-

ное, чтобы Антону не было за меня стыдно, главное, чтобы он любил меня и гордился мной!»

Деникин, ощущая у своего локтя нежную и сильную руку Ксении, был охвачен двойственным чувством: с одной стороны, он был безмерно рад увидеться со своей невестой и ему льстило, что его, уже немолодого человека, любила совсем еще юная девушка; с другой стороны — смущало откровенное любопытство офицеров, он словно слышал их осуждающие голоса. И, кроме того, все его мысли были уже о Западном фронте: приезд Ксении, как ни старалась она поддержать его морально в новом положении, был не совсем к стати.

И все же радость, охватившая его в тот момент, когда после продолжительной разлуки он снова увидел свою невесту, пересиливала все остальное. Деникин был счастлив. Тем более что чувствовал: таких счастливых минут в его жизни будет немного.

4

Александр Федорович Керенский рвал и метал. Он то стремительно бегал по кабинету, будто спасаясь от невидимой погони, то бессильно падал в кресло и судорожно закрывал трепещущими руками горячее лицо.

Причиной тому на этот раз была телеграмма, только что полученная от комиссара одной из армий Юго-Западного фронта:

«Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неимоверное бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России... Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу. На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Положение требует самых крайних мер... Сегодня главнокомандующий с согласия комиссаров и комитетов отдал приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду... содрогнется и найдет в себе решимость бес-

пощадно обрушиться на всех, кто малодушием губит и предаёт Россию и революцию».

Метания Керенского продолжались несколько дней. Он то истерически грозился предать всех главнокомандующих суду революционного трибунала, то бросался к министрам за советами и поддержкой, то строил авантюристические планы нового наступления на фронте.

Наконец, прислушавшись к советам Бориса Викторovichа Савинкова, комиссара Юго-Западного фронта, которого он уже прочил на пост управляющего военным министерством, Керенский приказал собрать в Ставке совещание главнокомандующих и министров правительства.

— Мы должны выяснить состояние фронта после провала нашего наступления и разработать новую военную политику, — с апломбом заявил он.

Как ни хотелось Александру Федоровичу придать судьбоносному, как он охарактеризовал его, совещанию широкий размах, этот замысел не удался. Особенно «подкачал» кабинет министров — его представляли лишь Керенский, который, впрочем, был един в трех лицах, ибо, будучи премьером, он, после отставки князя Львова, замещал должности военного и морского министров, да еще министр иностранных дел Терещенко. Высший генералитет был представлен более широко: Верховный главнокомандующий генерал Брусилов, главнокомандующий Западным фронтом генерал Деникин, главнокомандующий Северным фронтом генерал Клембовский, генералы без должностей Алексеев и Рузский и начальник Верховного штаба генерал Лукомский.

В отличие от прежних совещаний, нынешнее совещание напоминало поминки. Скорбное траурное выражение на лицах, повышенная нервозность, которую тщетно пытались скрыть генералы да и сам Керенский.

Первым получил слово Деникин. Его на первый взгляд спокойные слова были словно начинены динамитом, который вот-вот должен взорваться. Резкие фразы падали в тишину:

— Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос, — говорил Деникин, не глядя на Керенского, — могут ли их армии противостоять серьезному

наступлению немцев? Получил ответ: нет! Общий голос: у нас нет пехоты.

Деникин сделал продолжительную паузу, как бы жёлая, чтобы его слова дошли до сознания всех присутствующих и не вызвали недопонимания и кривотолков.

— Я скажу более: у нас нет не только пехоты. У нас нет армии, — суровым тоном продолжал он. — И необходимо немедленно, во что бы то ни стало создать ее.

Наконец он бросил испытующий взгляд на Керенского. Тот оцепенело сидел за столом, уронив голову на руки. Создавалось впечатление, что премьер пребывает в глубоком забытии и страшные слова Деникина проносятся мимо его сознания.

Деникин продолжал говорить, приводя все новые и новые ужасающие факты гибели армии, теперь уже не способной даже к сопротивлению. Он так сумел наэлектризовать атмосферу совещания, что, чудилось, еще немного — и участники его, вскочив из-за стола, ринутся в паническое бегство.

— Ведите русскую армию к правде и свету под знаменем свободы! — Деникин заканчивал свое выступление. — Но дайте и нам реальную возможность за эту победу вести в бой под старыми нашими боевыми знаменами, с которых — не бойтесь! — стерто имя самодержца, стерто прочно и в сердцах наших. Его нет больше. Но есть родина. Есть море пролитой крови. Есть слава былых побед.

Деникин снова с враждебным вызовом взглянул на Керенского. Тот пребывал в прежнем состоянии, и Деникин почувствовал, как в его душе закипает ненависть. Как перед броском в атаку под пулями неприятеля, он бросил премьеру полные гнева и мужества слова:

— Но вы — вы втоптали наши знамена в грязь. Теперь пришло время: поднимите их и преклонитесь перед ними, если в вас есть совесть!

Деникин хорошо понимал, что речь его уже ничего не изменит в армии и на фронте. Россию — в которой раз! — предали и продали. Погубив армию, новоявленные власти, способные лишь красоваться на митингах, упиваясь собственным словоблудием, готовы были погубить и Россию, растащить ее по кускам, лишь бы утвердить

свою власть и внушить народу, что они строят новый мир. Он понимал, что бросает свои гневные обвинения в пустоту и что единственным следствием его речи может быть лишь встречная ненависть со стороны Керенского и его сподвижников. Но сдержать себя уже не мог.

Заключив свое выступление, Деникин сел. Он ожидал, что реакция Керенского последует незамедлительно: прикажет снять Деникина с должности, а то и разжаловать, лишив генеральского чина. Не исключено даже, что его арестуют.

Но Керенский и в такой ситуации остался Керенским, то есть провинциальным актером, способным играть и драматические и комедийные роли. Разом сбросив с себя оцепенение, он, порывисто вскочив из-за стола, ринулся к Деникину и судорожно затряс ему руку. Лицо его пылало признательностью:

— Благодарю вас, генерал, за смелое и искреннее слово! — Патетика так и хлестала из этой проникновенной театральной фразы.

...Позже генерал Алексеев записал в своем дневнике:

«Если можно так выразиться, Деникин был героем дня».

А Керенский, уже в эмиграции, в своих мемуарах оценил речь Антона Ивановича иначе:

«Генерал Деникин впервые начертал программу реванша — эту музыку будущей военной реакции».

Нет, не мог Александр Федорович обойтись без того, чтобы всегда и везде говорить красиво!

5

Антон Иванович Деникин как в воду глядел, когда обвинял Керенского в том, что с его благословения высшие начальники в армии, в том числе и главнокомандующие, прогоняются со своих постов столь же бесцеремонно, как порой прогоняется домашняя прислуга.

Такая же чехарда происходила и с постом Верховного главнокомандующего. Не успел со своей ролью освоиться Алексей Алексеевич Брусилев, как на его месте возник Лавр Георгиевич Корнилов. Хотя это назначение Де-

еникин встретил столь же радостно, как будто это было его собственное продвижение по службе.

С Корниловым Деникина «побратала» мировая война. Дивизия Корнилова и бригада Деникина находились в составе 24-го армейского корпуса. Потому-то на поле брани они действовали совместно, локоть к локтю. А ведь известно: ничто так не сближает военных людей, как фронтовое товарищество. Родство душ этих двух генералов объяснялось как их весьма схожими идейными убеждениями, так и тем, что оба они происходили из простых крестьян. Разница была лишь в том, что Корнилов вырос в семье сибирских казаков. В Усть-Каменогорске, уездном городе, основанном на том месте, где река Ульба впадает в Иртыш. А отец Деникина был уроженцем Саратовской губернии. И Корнилов и Деникин в детстве испытывали большую нужду, знали, почему фунт лиха. Их армейский путь тоже был во многом схож: Корнилов окончил кадетский корпус в Омске, затем Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Так же как и Деникин, он учился в Академии Генерального штаба, правда, служить его послали в Туркестанский военный округ, в котором Деникин не был никогда. Пути генералов снова сходились на поле брани в русско-японской войне, а затем и на русско-германском фронте, где, в отличие от Деникина, Корнилова ждало суровое испытание: дивизия его была окружена в Карпатах, а сам он, будучи тяжело ранен, попал в плен. Казалось, лишь с помощью Всевышнего Корнилов вырвался из плена в июле 1916 года и сразу же стал знаменит, был удостоен ордена Святого Георгия 3-й степени и назначен командиром 25-го армейского корпуса.

Грянула революция, и Корнилов оказался востребованным новой властью. Председатель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко, чувствующий, что без опоры на армию не обойтись, направил Корнилову телеграмму:

«Необходимо... для спасения столицы от анархии назначения на должность Главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной думы признает

таким лицом Ваше Превосходительство, как известного всей России героя. Временный комитет просит Вас, во имя спасения Родины, не отказаться принять на себя должность Главнокомандующего в Петрограде».

Родзянко то ли потому, что слабо разбирался в вопросах военной субординации, то ли потому, что, будучи весьма амбициозным политиком, посчитал для себя унижительным действовать через Ставку, послал эту телеграмму непосредственно Корнилову, чем несказанно задел самолюбие Главковерха. Алексеев, проглотив пилюлю и не решившись идти на конфронтацию, все же взял своего рода реванш, когда в своем приказе о назначении Корнилова недвусмысленно обозначил свое отрицательное отношение к этому факту: «**д о п у с к а ю к о в р е м е н н о м у г л а в н о к о м а н д о в а н и ю в о й с к а м и П е т р о г р а д с к о г о в о е н н о г о о к р у г а г е н е р а л - л е й т е н а н т а К о р н и л о в а**».

Корнилов, ознакомившись с приказом, поморщился: «**Д о п у с к а ю**», «**к о в р е м е н н о м у**»... Хорош гусь, нечего сказать!»

С той поры между двумя генералами пробежала черная кошка...

Уже скоро Корнилов пожалел, что принял предложение Родзянко. Боевой генерал, он совершенно не был искусен в политике, подковерную борьбу презирал. Рыхлое, безвольное Временное правительство ненавидел, а Керенского за глаза окрестил «главным болтуном России».

Столь же горячо возненавидел он и Петроградский совет, который, казалось, делал все, чтобы старая армия окончательно рухнула в пропасть. И стоило только Совету принять постановление, в котором запрещалось солдатам и офицерам выходить из казарм с оружием без его, Совета, разрешения, Корнилов закусил удила. Попытка Гучкова назначить его на должность главнокомандующего Северным фронтом взамен уволенного генерала Рузского наткнулась на стойкое сопротивление Алексеева, который мотивировал свое несогласие тем, что Корнилов якобы не имеет... необходимого командного опыта. Генералы стали врагами, отныне уже никакие усилия со стороны не могли их примирить.

Взамен фронта Корнилову дали дивизию, по счастью, ту самую 8-ю дивизию, которая прославила Брусилова,

Деникина, Каледина и самого Корнилова. Именно с этой дивизией Корнилову удалось в свое время прорвать австрийский фронт.

Прибыв на новое место службы и ознакомившись с положением на участке фронта, Корнилов решил наступать. Другого вида боевых действий он не признавал. Однако наступление это с самого начала было обречено на провал. О причинах неудачи Корнилов телеграфировал правительству в те дни, когда он уже был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом:

«**А р м и я о б е з у м е в ш и х т е м н ы х л ю д е й, н е о г р а ж д а е м ы х в л а с т ь ю о т с и с т е м а т и ч е с к о г о р а з л о ж е н и я и р а з в р а щ е н и я, п о т е р я в ш и х ч у в с т в о ч е л о в е ч е с к о г о д о с т о й н с т в а, б е ж и т. Н а п о л я х, к о т о р ы е н е л ь з я д а ж е н а з в а т ь п о л я м и с р а ж е н и й, ц а р и т с п л о ш н ы й у ж а с, п о з о р и с р а м, к о т о р ы х р у с с к а я а р м и я е щ е н е з н а л а с я с а м о г о н а ч а л а с у щ е с т в о в а н и я... М е р ы п р а в и т е л ь с т в е н н о й к р о т о с т и р а с п а т а л и д и с ц и п л и н у, о н и в ы з ы в а ю т б е с п о р я д о ч н у ю ж е с т о к о с т ь н и ч е м н е с д е р ж и в а е м ы х м а с с. Э т а с т и х и я п р о я в л я е т с я в н а с и л и я х, г р а б е ж а х и у б и й с т в а х... С м е р т н а я к а з н ь с п а с е т м н о г и е н е в и н н ы е ж е р т в ы ц е н о й г и б е л и н е м н о г и х и з м е н н и к о в, п р е д а т е л е й и т р у с о в**».

Корнилов настаивал на том, чтобы Временное правительство отдало приказ о прекращении наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах старой дисциплины.

Правительство отмалчивалось, и тогда Корнилов сам отдал приказ о расстреле дезертиров, для наведения порядка сформировал специальные ударные батальоны из добровольцев и юнкеров, запретил митинги в районах боевых действий и силой оружия разгонял тех, кто оставался глух к его требованиям.

Это еще более сблизило Деникина с Корниловым: если бы Антон Иванович оказался на его месте, он поступил бы точно так же. Меры, которые предпринял Корнилов для наведения порядка в армии, Деникин считал мужественными, ибо Лавр Георгиевич осуществлял их на свой страх и риск, вопреки директивам Временного правительства, любимым лозунгом которого была демократизация в вооруженных силах. Деникин был убежден, что такие действия Корнилова поднимают его авторитет в

глазах широких кругов либеральной демократии и офицерства. По его мнению, может быть наивному и ошибочному, даже революционная демократия армии, оглушенная и подавленная трагическим оборотом событий, в первое время после разгрома увидела в Корнилове последнее средство, единственный выход из создавшегося отчаянного положения.

Корнилов, в свою очередь, был восхищен мужеством Деникина, его смелым выступлением на совещании в Ставке. Не склонный к эпистолярному творчеству, Корнилов, не выдержав, отправил Деникину письмо. В нем были и такие строки:

«С искренним и глубоким удовольствием я прочел ваш доклад... Под таким докладом я подписываюсь обеими руками, низко вам за него кланяюсь и восхищаюсь вашей твердостью и мужеством. Твердо верю, что с Божьей помощью нам удастся довести до конца дело воссоздания родной армии и восстановить ее боеспособность».

Деникина тронуло и взволновало это послание: он слишком хорошо знал характер Корнилова и понимал, что только предельная искренность побудила Лавра Георгиевича, не склонного к душевным излияниям и крайне скупого на похвалу, к такого рода признаниям.

В конце июля Ставка переместила Деникина с Западного на Юго-Западный фронт. Деникин терялся в догадках о причинах такого неожиданного перемещения. Что касается Ставки, то она туманно намекала на то, что решение вызвано исключительно стратегическими интересами.

...Поезд, в котором Деникин направлялся в Бердичев, где располагался штаб фронта, шел через Могилев. И здесь произошла долгожданная встреча с Корниловым. Много позже, в своих мемуарах, вспоминая об этой встрече, Деникин напишет:

«...Корнилов... тихим голосом, почти шепотом, сказал мне следующее:

— Нужно бороться, иначе страна погибнет. Ко мне на фронт приезжал Н. Он все носится со своей идеей переворота и возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича: что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую

авантюру с Романовыми не пойду. В правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать. Они предлагают мне войти в состав правительства. Ну, нет! Эти господа слишком связаны с Советом и ни на что решиться не могут. Я им говорю: предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести Россию до Учредительного собрания, а там — пусть делают что хотят: я устраниюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?

— В полной мере.

...Мы сердечно обняли друг друга и расстались, чтобы встретиться вновь... только в Быховской тюрьме».

6

События, губительные для России, развивались с чудовищной быстротой, а «главный болтун» государства продолжал упражняться в праздной риторике, вызывая все большее возмущение масс, широких слоев общества. Керенский непрерывно созывал всевозможные совещания, стараясь, чтобы даже названия их звучали торжественно и высокопарно. Столь же высокопарно звучали и слова, призванные обозначить цели того или иного «исторического» совещания.

Так, совещание, созванное Керенским 14 августа 1917 года в Москве, было поименовано Государственным, а целью его, по словам организатора, было «проверить пульс страны».

Пожалуй, трудно было подобрать для проведения этого грандиозного политического спектакля лучшее место, которое бы более всего отвечало как составу участников, так и сценарию совещания. Именно в Большом театре, среди раззолоченных кресел и роскоши убранства как бы на своем месте были и герои этого фантастического действия: тучные, массивные фигуры торговцев и промышленников; профессора с философскими отрешенными взглядами; попугайски разукрашенные представители казачества; стареющие генералы с красными лампасами на брюках и в хромовых сапогах, отливающих зеркаль-

ным блеском, со шпорами, издававшими при движении малиновый звон; люди в штатском, которых по некоторой развязности и вольности поведения можно было смело причислить к социалистам, во всяком случае к их левому крылу, — все это сборище кипело фейерверком эмоций, пыжилось, надувало щеки, стараясь сделать все, чтобы их признали истинными спасителями отечества, вершителями судеб истории.

При этом было отчетливо заметно, что правую часть театра плотно оккупировали правые, а левую часть — левые. И получалось, что их разделяет непроходимая пропасть: когда ораторам аплодировала правая часть театра, левая оглушительно топала ногами, неистово свистела, и — наоборот. В театре отсутствовали лишь большевики: они были заняты делом, и это стало всем понятно уже 25 октября 1917 года.

Керенский судорожно метался между правыми и левыми, науськивая одних на других, надеясь на то, что останется посередине и таким образом спасется. Хоть и неглупый был человек Александр Федорович Керенский, но так и не понял, что в политике оставаться посередине еще никому и никогда не удавалось, а если и удавалось, то лишь на очень непродолжительное время.

В сущности, на сцене Большого театра, где восседал президиум, Александр Федорович был главным актером. Вдохновенно горящий взгляд, резкие перемены голоса — от едва не молитвенного шепота до истерических вскриков, от неискреннего заискивания до злобных угроз, намеренно затянутые паузы, после которых участникам совещания надлежало услышать нечто сенсационное и из ряда вон выходящее, — тут были слиты воедино и трагедия, и комедия, и самый жалкий фарс.

— Пусть знает каждый, — голос Керенского, чудилось, вырвется из стен Большого театра, — пусть знают все, кто уже пытался поднять вооруженную руку на власть народную, что эта попытка будет прекращена железом и кровью! И какие бы и кто бы ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее!

Подчеркивать свое верховенство и свою власть было любимейшим занятием Керенского, словно до этого мо-

мента никто не знал и не слышал, что именно он является премьер-министром.

— Я обещаю вам, — клятвенно восклицал Керенский, — стать твердым и неумолимым, я клянусь вырвать из души своей цветы и растоптать их, а сердце свое превратить в камень!

Все сидящие в зале прекрасно знали цену этим фразам, и если раньше они еще были способны завораживать людей, захмелевших от революционного угара и от вседозволенности, то сейчас вызвали лишь раздражение и злобу, скрытые и явные насмешки, язвительные, полные сарказма реплики.

В отличие от сдержанного, едва ли не враждебного восприятия Керенского, взопедевшего на сцену Корнилова собравшиеся встретили стоя, бурей оваций. Ему тут же представили слово.

Перед собравшимися стоял маленький, сухощавый генерал, в облике которого не было решительно никаких признаков героизма, ничего величественного. Более того, по первому впечатлению в нем не было и того обаяния, которое обычно привлекает к себе людей; скорее, было в избытке того, что может оттолкнуть: и хмурый, суровый взор, лишенный внутренней теплоты, и скуластое, монгольского типа лицо, и жидкая бородка, и желтоватый цвет кожи, и заметная кривизна ног, присущая прирожденному кавалеристу.

Но стоило только ему заговорить, как обо всем этом неприятном и даже отталкивающим тут же забывалось. Речь его, скупая, лаконичная, лишенная красоты, тут же брала слушателей в странный плен, и лишь потом, когда генерал умолкал, становилось понятно, что каждое его слово заряжено такой искренней энергией и волей, которые не оставляют места для равнодушного восприятия. Поток своей энергии Корнилов покорял всех — и верующих и неверующих, и оптимистов, и скептиков, и тех, кто хотел бы лишь слушать его, и тех, кто готов был идти за ним в огонь и в воду. Совершенно ясно чувствовалось, что и сам он непоколебимо уверен в том, что именно ему, генералу Корнилову, если ему доверят власть, суждено вывести Россию из революционной пропасти.

— С глубокой скорбью я должен открыто заявить, — негромкий голос Корнилова звучал в притихшем зале как набат, — у меня нет уверенности, что русская армия исполнит без колебаний свой долг перед Родиной... Враг уже стучится в ворота Риги, и, если только неустойчивость нашей армии не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога в Петроград будет открыта. Нам необходима величайшая ответственность перед собственной совестью и народом. Должно быть обеспечено полное невмешательство кого бы то ни было в оперативные распоряжения командования, а также в вопросы назначения высшего командного состава. Для установления незыблемого порядка и дисциплины необходимо распространение жесточайших мер принуждения, вплоть до смертной казни изменников, трусов и дезертиров как на фронте, так и в тылу.

Слушая Корнилова, Керенский нервно ерзал в своем кресле:

«Все ясно, понятно! Вот он, будущий военный диктатор! Вот кто похоронит революцию! А какая сила приспособляемости, какое дьявольское умение не раскрывать своих истинных намерений! Ведь, шельмец, не стреляет по правительству в лоб, зато как копает под меня, как копает! Вот кого надо опасаться и поскорее отправить в политическое небытие!»

Эта мысль утвердилась окончательно, когда на его глазах Корнилова, сошедшего с трибуны, ликующая толпа офицеров подхватила на руки и торжественно понесла к выходу, провозглашая здравицы в честь своего кумира.

Нерешительность и трусоватость Керенского вмиг улетучивались лишь при тех обстоятельствах, когда нужно было перетасовать колоду карт при кадровых назначениях. Менять людей было его излюбленнейшим занятием, вызывавшим сладостное, блаженное состояние души, дающим прекрасную возможность ощутить себя вершителем человеческих судеб. В этом он видел свое главное предназначение и верил, что тем самым ведет Россию вперед, к счастливому будущему.

И потому мало кто удивился, когда уже ровно через тридцать дней после выступления в Большом театре

пришло сообщение из Ставки об отчислении генерала Корнилова от должности Верховного главнокомандующего.

Деникин был поражен этим известием как громом. Вскоре он имел возможность прочитать воззвание Корнилова, подписанное им в Ставке 27 августа 1917 года:

«Русские люди, великая Родина наша умирает! Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил в Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы, — молитесь Господа Бога о явлении величайшего чуда, чуда спасения родной земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

Предать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени — и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли.

Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины!»

Воззвание Корнилова, в котором громче всего звучал голос патриотизма и отчаяния, потрясло Деникина. Всю ночь он не сомкнул глаз. Это была ночь мучительной тревоги и горестных размышлений.

«Никогда еще, — думал Деникин, — будущее страны не казалось таким темным, наше бессилие таким обидным и угнетающим. Гроза над Россией... Кровавые зарницы... Кровавые всполохи... Остается только одна надежда — надежда на чудо...»

Могучие, агрессивные вирусы революции, с ураганной скоростью распространяясь по всей стране, нахлынули и в Ставку, угнездившуюся в Могилеве, в старом губернаторском доме на берегу Днепра. И как это не раз бывало в истории, злосчастный месяц август стал месяцем взрывов и взял на себя миссию быть прелюдией великих потрясений. Генералы, решившие стать барьером на пути разложения армии, все больше убеждались в правоте своего коллеги Дубасова, который утверждал, что солдаты уже не хотят ни свободы, ни земли, а хотят одного — конца войны. Эту мысль он высказал на заседании Петроградского Совета, где в противовес записным оптимистам, утверждавшим, что дух русского солдата не сломен, заявил:

— Что бы вы здесь ни говорили, солдаты воевать не будут!

Одним из самых примечательных событий августа семнадцатого года было то, что над генералом Корниловым нависли грозные тучи. Керенский боялся его пуще огня, твердо уверовав в то, что Корнилов может устроить переворот и сбросить его с пьедестала власти. И потому верные Керенскому газеты без устали поливали Корнилова грязью, стремясь перещегоолять друг дружку эпитетами позабористее: «контрреволюционер», «бонапартист», «авантюрист»...

Обстановка менялась резко и непредсказуемо. Один главнокомандующий сидел в тюрьме. Клембовский был заменен большевистским генералом Бонч-Бруевичем, тут же принявшим решительные меры к недопущению эшелонов генерала Крымова к Петрограду; трое главкомов безоговорочно присягнули Временному правительству. Будущий военный министр полковник Верховский утверждал, что в то время как немцы вот-вот возьмут Ригу, Корнилов снял с фронта три лучших казачьих дивизии и двинул их на Петроград, угрожая смять Временное правительство. Такие газеты, как «Речь» и «Русское слово», поспешили оценить действия Корнилова как явно преступные.

Корнилов же, как бы дразня Керенского, демонстри-

ровал свою независимость и 28 августа устроил в Могилеве смотр войскам. Правда, генерала поразило то, что в гарнизоне не было единства: одни встретили его мощным «ура», другие — зловецким молчанием.

Корнилов, однако, не дрогнул. Он стоял перед строем — маленький, коренастый, крепко вросший в землю, суровый и угрюмый — и бросал в лица напряженно слушающих его солдат и офицеров властные слова. В заключение он сказал:

— Меня окрестили контрреволюционером. Только безумцы могут думать, что генерал Корнилов, сам выпешенный из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может даже в мыслях изменить народному делу.

Голос его в этот момент дрогнул от обиды. Это почувствовали стоящие в строю, и в ответ загремело раскатистое, хотя и не очень стройное «ура!».

Корнилов неподвижно, как часовую у знамени, стоял перед войсками с поднятой вверх сухонькой рукой — то ли призывая всех идти за собой, то ли обличая тех, кто так нагло обвинял его в измене и предательстве, то ли призывая себе на помощь небесные силы...

Петроград, до которого со скоростью молнии докатилась весть об этом событии, затрясся от страха: грядет корниловская диктатура! И едва начался новый день, Керенский подписал приказ о снятии с должности и предании суду генерала Лавра Георгиевича Корнилова за мятеж. В список мятежников были зачислены и все соратники генерала.

Утром 1 сентября Корнилов сообщил, что подчиняется судьбе. Рымов же, смертельно напуганный, не выдержал и застрелился.

Керенский спал и видел Корнилова, упрятанного за решетку. Ровно в 22 часа вечера генералы Корнилов, Лукомский, Романовский и полковник Плющевский-Плющик были арестованы. Тут же была образована следственная комиссия, которой предписывалось в срочном порядке расследовать дело о «мятеже» и «заговоре». Генерал Алексеев покинул свой пост. Возглавил Ставку генерал Духонин, сдавший должность начальника штаба Западного фронта.

...Керенский рассказывал по своему кабинету с до-

вольным лицом, словно человек, которого только что наградили орденом.

— Ну как? — спрашивал он почти всех, кто заходил к нему в кабинет. — Кто теперь будет метать в меня ядовитые стрелы? Кто будет обзывать безвольным и нерешительным? Оказывается, этот безвольный Керенский в одни сутки расправился с с и л ь н ы м Корниловым! Хотите знать, как я отношусь к этому генералу?

И в ответ на молчаливое согласие своих собеседников торжественно провозглашал:

— Генерал Корнилов — честный патриот. Я убежден, что он действовал не по злой воле, а в результате слабого знания реальной жизни — той жизни, которая, как океан, плещется за пределами его военного плаца, и в результате своей полнейшей политической неопытности. Да, да, именно в этом причина его возмутительного поступка!

А когда 25 октября произошла большевистская революция, Керенский заявил, что именно Корнилов распахнул дверь большевикам.

Позднее лидер кадетов профессор Милюков писал:

«Понимал ли Керенский в эту минуту, что, объявляя себя противником Корнилова, он выдавал себя и Россию с руками Ленину? Понимал ли он, что данный момент — последний, когда схватка с большевиками могла быть выиграна для правительства. Трагизм Керенского, особенно ярко очертившийся в эту минуту решения, состоял в том, что хотя он многое уже понял, но отказаться ни от чего не мог. Если можно сосредоточить в одной хронологической точке, то «преступление» Керенского перед Россией было совершено в эту минуту, вечером 26 августа».

8

Воинские комитеты Юго-Западного фронта с первых дней своего существования конфликтовали с Деникиным, и эти конфликты вступили в особенно яростную стадию после смещения Корнилова. Пошел поток резолюций, в которых Деникин именовался не иначе как из-

менник, стремящийся открыть фронт немцам, и главное — вновь посадить на престол Николая II. Прокламации, в которых выдвигалось требование арестовать Деникина и даже расправиться с ним физически, заполонили Житомир. Их можно было прочесть на афишных тумбах, да и просто на заборах, их разбрасывали по городу мальчишки. Житомир бурлил от солдатских митингов.

Именно 28 августа на Лысой Горе бушевал тысячный митинг вооруженных солдат. Они размахивали красными флагами перед самыми окнами штаба и дома главнокомандующего.

Деникин наблюдал за происходящим из окна своего дома. Страх не было, душу жгла лишь обида. Как же нужно было затуманить этим людям головы, какое зло воспламенить в их сердцах, чтобы они сами, своими руками уничтожали русскую армию, русское государство!

И вот свершилось! Группа комитетчиков ворвалась в дом и в штаб Деникина. Фронтвой комитет немедленно отправил в Петроград телеграмму, в которой звучало ничем не прикрытое ликование:

«Генерал Деникин и весь его штаб подвергнуты в его Ставке личному задержанию».

Это называлось «личным задержанием»!

Каким-то чудом Деникин смог уже на следующий день после ареста послать через своего надежного друга письмо Ксении, которая в это время жила в Киеве:

«Дорогая моя, новый катастрофический период русской истории. Бедная страна, опутанная ложью, провокаторством и бессилием.

О настроении своем не стоит говорить. Главнокомандование мое фиктивно, т.е. находится под контролем комиссаров и комитетов.

Невзирая на такие невероятные условия, на посту своем остаюсь до конца, предписал то же сделать подчиненным начальникам.

Спасают революцию, а армию разрушают, страну губят!

Я вновь совершенно открыто заявил Временному правительству, что путь его считаю гибельным для страны и армии. Я не понимаю психологии этих людей. Знают со-

вершенно определенно мой взгляд — не устраняют и вместе с тем не дают работать, как велит долг.

Физически здоров. Сердце болит. Душа страдает.

Конечно, такое неопределенное положение долго длиться не может. Боже, спаси Россию от новых страшных потрясений!

Обо мне не беспокойся, родная: мой путь совершенно прям и открыт. Деникин».

Потом, позже, уже находясь за рубежом, Антон Иванович с грустной улыбкой перечитывал свое письмо, бережно сохраненное Ксенией Васильевной: господи, и это письмо любимой женщине?! Ни слова о любви, о том, как он страдает без нее, своей невесты. Надо же, среди бурного потока пропитанных политикой, и только политикой, фраз найти для Ксении лишь одно слово, которое сближало его с ней: «родная»! Вот оно, двуличие любой революции: истинные человеческие ценности, истинные человеческие отношения заменяются политической трескотней, угодной и милой тем, кто пришел к власти, или тем, кто эту новую власть ненавидит всеми фибрами души.

Вскоре арестованных генералов — Деникина, начальника его штаба Маркова и генерал-квартирмейстера Орлова — срочно переправили в Бердичев, тут-то впервые и прозвучало злополучное слово «арест». Оно красовалось в приказе комиссара Юго-Западного фронта Иорданского. Обвинение в этом приказе звучало так: «За попытку вооруженного восстания против Временного правительства».

Арестованных на автомобиле в сопровождении броневика доставили на гарнизонную гауптвахту, возле которой их едва не растерзала группа вооруженных солдат. Каждого генерала поместили в отдельную камеру. Деникину, как «главарю», досталась камера под номером один.

Антон Иванович грустно усмехнулся: камера как камера, не санаторий же! Десять квадратных аршин — вот и вся «свободная» территория. Хотелось тебе всей России — получи то, что заслужил! Крохотное окошко с решеткой, нары, стол и табурет. Совсем рядом зловонное место. Впору задохнуться.

Деникин успел заметить, что его боевого друга Маркова втолкнули в камеру номер два, напротив. Вот тебе, дорогой Сергей Леонидович, благодарность Родины за твое геройство на германском фронте!

Антон Иванович знал, что совсем недавно Марков едва не был расстрелян в Брянске, где взбунтовался военный гарнизон. Восставшие солдаты устраивали поджоги домов, где жили офицеры, и расправлялись с ними. Марков не единожды горячо и страстно выступал на Совете военных депутатов. Речи его были столь логичны и убедительны, что Совет, вопреки своему настроению, принял решение о восстановлении дисциплины и даже об освобождении двадцати арестованных офицеров. Но после полуночи к салон-вагону Маркова, стоявшего на путях Брянского вокзала, ринулось несколько вооруженных рот, накаленных яростью.

Марков вышел на ступеньки вагона и сквозь рев толпы крикнул:

— Если бы тут был кто-нибудь из моих «железных» стрелков, он сказал бы вам, кто такой генерал Марков!

И свершилось чудо, которого не ожидал и сам генерал: из толпы прозвучал суматошный выкрик какого-то солдата:

— Я служил в тринадцатом полку «Железной» бригады!

— Ты? Подойди поближе! — властно потребовал Марков.

И, едва солдат стал протискиваться к вагону, Марков, с силой оттолкнув стоящих рядом людей, схватил его за ворот шинели:

— Ты? Ну так коли! Вражеская пуля пощадила меня в боях, так пусть покончит со мной рука моего «железного» стрелка!

И снова чудо: толпа взревела, но уже не от ненависти, а от восторга. Поезд тронулся, и Марков под крики «ура!» уехал в Минск...

Да, как хорошо было бы очутиться с Сергеем Леонидовичем в одной камере! С этой мыслью Деникин улегся на нары и уснул.

Едва утренний свет забрезжил в зарешеченном окне, как Деникин проснулся, почувствовав на себе взгляд,

полный ненависти и злобы: держась за решетку, на него смотрели два солдата. Увидев, что генерал проснулся, тут же обложили его отборной матерщиной. Деникин отвернулся к двери и накрыл голову шинелью...

«В тесную душную конуру, — писал он впоследствии в своих воспоминаниях, — льется непрерывным потоком зловонная струя слов, криков, ругательств, рожденных великой темнотой, слепой ненавистью и бездонной грубостью... Словно пьяной блевотиной облита вся душа, и нет спасения, нет выхода из этого нравственного застенка. О чем они? «Хотел открыть фронт»... «продался немцам»... Приводили и цифру — за двадцать тысяч рублей «хотел лишити земли и воли»... Это не свое — это комитетское. Главнокомандующий, генерал, барин — вот это свое! «Попил нашей кровушки, покомандовал, гноил нас в тюрьме, теперь наша воля — сам посиди за решеткой... Барствовал, раскатывал в автомобиле — теперь попробуй полежать на нарах, сукин сын. Недолго тебе осталось... Не будем ждать, пока сбежишь — сами своими руками задушим».

Впрочем, Деникин не осуждал этих людей. Он понимал, что столетиями в их душах копилась злоба против тех, кто создал несправедливый строй, при котором одни, меньшинство, утопают в роскоши и богатстве, ведут праздную жизнь, разъезжают по заграницам, отдыхают на дорогих курортах, тратят миллионы в казино и в то же время силой власти заставляют работать на себя других, огромное большинство, живущее в условиях гораздо худших, чем скот, принужденное бедствовать, вечно испытывать нужду, мыкаться по белу свету в поисках лучшей доли, чтобы до самой своей смерти так и не найти ее. Многовековая обида вырвалась наружу, как лава из вулкана, и обрушилась на тех, кто всегда считал себя хозяевами жизни.

Деникин лежал на нарах, осыпaeмый градом ругательств, и мучительно думал о том, повинен ли он в страданиях народных.

Как и отцы тех солдат, которые готовы были жестоко расправиться с ним, отец Деникина, Иван Ефимович, родился в семье крепостного, за пять лет до наполеоновского нашествия на Россию. Ему исполнилось двадцать семь

лет, когда помещик отдал его в рекруты. Иван Ефимович участвовал в военных походах в Венгрии, Крыму, усмирял Польское восстание. И в общей сложности протрубил в солдатских рядах целых двадцать два года. Служил в жестокую пору царствования Николая I, когда такое наказание в армии, как «прогнать сквозь строй», считалось совершенно обычным и естественным.

Отец дослужился до прапорщика и был назначен в Калишскую, а затем в Александровскую бригаду пограничной стражи. Пограничный отряд, в котором он служил, охранял границу с Пруссией в районе уездного городка Петрокова. Служил отец честно и преданно, а когда пришел срок заканчивать службу, вышел в отставку в чине майора. Через два года женился вторым браком на Елизавете Федоровне Вржесинской, матери Антона.

Семья Деникиных жила небогато. Да и как еще можно было жить на нищенскую пенсию отца — тридцать шесть рублей? До конца месяца этих денег, естественно, не хватало, и отец принужден был занимать еще пять — десять рублей, чтобы семья не голодала.

Чувство социальной несправедливости Антон познал сполна еще в детстве. Врезался в память один эпизод. Ему было шесть лет, когда он, босой, в одной рубашонке, бегал с мальчишками по улице. Какой-то семиклассник играл с ним, подбрасывал вверх. Мимо проходил школьный инспектор, подозвал к себе семиклассника и строго сказал: «Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками?» Антон, слышавший это, едва не заревел от горькой обиды, а потом не выдержал и обо всем рассказал отцу. Отец рассердился: «Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!» И, отправившись к инспектору, разделал его «под орех» такими крепкими словами, что тот не знал, куда деваться и как извиняться.

Отец умер, когда Антону было тринадцать лет. Нужда обрушилась на семью...

И вот теперь эти солдаты, чье детство было, наверное, таким же, как и детство его, Деникина, увидели в нем своего классового врага.

«Сказать им, что у меня и теперь нет ни имений, ни богатства, а есть только два походных чемодана, что я про-

шел путь от кадета до генерала и все, чего достиг, — результат лишь моих личных усилий? Так все равно не поверят, ни за что не поверят, коль ты — генерал!»

Вскоре по делу заключенных в Бердичевской тюрьме генералов началось следствие. Его вела следственная комиссия Юго-Западного фронта. Особое рвение проявлял комиссар этого фронта Иорданский — ему не терпелось сделать на этом деле карьеру, чего, впрочем, он и добился, став впоследствии советским полпредом в Италии.

На следствии Деникин вел себя спокойно и с достоинством. Он показал, что, во-первых, все лица, арестованные вместе с ним, ни в каких активных действиях против правительства не участвовали, во-вторых, все распоряжения, отдававшиеся по штабу в последние дни в связи с выступлением генерала Корнилова, исходили от него, Деникина, и в-третьих, Деникин считал и считает сейчас, что деятельность Временного правительства преступна и гибельна для России. Генерал добавил также, что восстания он не поднимал и предоставляет Временному правительству поступить как ему заблагорассудится.

Такое заявление, и в особенности оценка деятельности Временного правительства было, несомненно, шагом мужественным. Деникин не кривил душой, не вымаливал себе прощения.

Несмотря на то что Иорданский требовал немедленно суда над Деникиным и другими генералами, заключенными в Бердичевской тюрьме, военная коллегия Петроградского Совета постановила: суд над Деникиным отложить до окончания следствия над генералом Корниловым, а арестованных перевести из Бердичева в Быхов.

Переезд в Быхов стал едва ли не самой трагической страницей в жизни Деникина. Иорданский и его подчиненные сделали все, чтобы попытаться физически устранить Деникина с помощью «народного гнева». Были организованы митинги, на которых звучали призывы расправиться с генералами, не дать им возможности уехать из Бердичева. О том, как происходил отъезд, Деникин рассказал в своих мемуарах:

«Толпа неистовствовала. Мы, семь человек, окруженные кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим ря-

дом со мной с обнаженной пашкой в руке, вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон... Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, прорезываемой иногда лучами прожектора с броневика, двигалась обезумевшая толпа. Она росла и катилась, как горящая лавина. Воздух наполнили оглушительный рев, истерические крики и смрадные ругательства... Временами их покрывал громкий, тревожный голос Бетлинга:

— Товарищи, слово дали! Товарищи, слово дали!..

Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, своею грудью отстраняют напирющую толпу, обвивающую их жидкую цепь. Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши заволочло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо, получили удар Эрдели и я — в спину и голову.

По пути обменивались односложными замечаниями. Обращаюсь к Маркову:

— Что, милый профессор, конец?

— По-видимому.

Пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повели круглым путем, в общем, верст пять, по главным улицам города. Толпа растет. Балконы бердичевских домов полны любопытных: женщины машут платками. Слышатся сверху веселые гортанные голоса:

— Да здравствует свобода!

Вокзал залит светом. Там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И все слилось в общем море — бушующем, ревушем. С огромным трудом провели сквозь него под градом ненавистных взглядов и ругательств. Вагон. Рыдающий в истерике и посылающий толпе бессильные угрозы офицер — сын Эльснера и любовно успокаивающий его солдат-денщик, отнимающий револьвер; онемевшие от ужаса две женщины — сестра и жена Клецандо, вздумавшие проводить его... Ждем час, другой. Поезд не пускают — потребовали арестантский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами. Костицына слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный кон-

ским пометом. Какие пустяки! Переходим в него без помоста. Несчастливого Орлова подсаживают в вагон. Сотни рук сквозь плотную и стойкую юнкерскую цепь тянутся к нам... Уже десять часов вечера... Паровоз рванул. Толпа загудела еще громче. Два выстрела. Поезд двинулся.

Шум все глуше, тусклее огни. Прощай, Бердичев!»

Так описывает эти события сам Антон Иванович Деникин. И ему хочется верить.

А вот как описал те же события Керенский, назвавший самоотверженными спасителями Деникина и его окружения не юнкеров, как это было на самом деле, а комиссаров Временного правительства и комитетчиков:

«Какая ирония судьбы! Генерал Деникин, арестованный как сообщник Корнилова, был спасен от ярости обезумевших солдат членами исполнительного комитета Юго-Западного фронта и комиссарами Временного правительства...»

9

Да, если бы не война и революция, разве мог Деникин оказаться в захудалом городке с нелепым названием Быхов! Хорошо еще, что не в роли купринского поручика Ромашова, а в чине генерала российской армии. Правда, генерала, заключенного в тюрьму.

Мало того что городок был убогий, так еще и тюрьма выбрала для себя бывший католический монастырь, в котором еще совсем недавно размещалась женская гимназия. Здание было угрюмое, от него веяло чем-то средневековым, потусторонним. Рядом высился старый, покрытый, казалось, еще доисторической пылью костел. Тюремный двор представлял собой крохотный пятачок с непролазной грязью, и если бы не деревянный тротуар по периметру, то в этой грязи можно было увязнуть напроць. Камеры в тюрьме были сводчатыми, со ржавыми решетками на узких окнах.

Деникин попал в Быховскую тюрьму тогда, когда в ней уже «обжились» другие узники, среди которых самым знаменитым был генерал Корнилов. Никто из них

не верил, что Деникин жив, все были убеждены, что он стал жертвой самосуда.

И вдруг — как видение! — перед узниками предстал живой Антон Иванович — измученный, подавленный, но — живой!

Корнилов как-то по-мальчишески рванулся к Деникину. Они крепко, судорожно обнялись.

— Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел? — Этим вопросом встретил Корнилов Деникина, и по его напряженному лицу было видно, как ждет он ответа.

Лицо Деникина озарилось улыбкой:

— Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные обиды ни при чем.

И генералы крепко пожали друг другу руки.

Быхов не приглянулся Деникину, как в свое время не приглянулась герою Лермонтова Тамань — один из самых скверных, по его словам, городишек России. Но вскоре он переменял свое мнение: здесь, хотя и взаперти, было куда вольготнее, чем в Бердичеве. Хотя заключенным генералам и полагалось после приема пищи находиться в своих комнатах, внутри здания они вели себя совершенно свободно, встречались друг с другом, отводили душу в долгих откровенных беседах. Питались вполне сносно: хотя их и лишили денежного содержания, но на казенный счет готовили почти такую же пищу, какой кормили в офицерских собраниях. Больше того, из Ставки в Быхов был прислан повар, и качество пищи стало еще лучше.

Два раза в день была разрешена прогулка в тюремном дворе, а затем — и в большом саду, примыкавшем к зданию.

Настроение арестованных постепенно поднялось, а самый молодой из генералов, Сергей Леонидович Марков, который и в опаснейших ситуациях не терял бодрости, стал и вовсе излучать оптимизм:

— Нет, что ни говорите, — то и дело восклицал он, завершая ту или иную беседу, — а жизнь хороша во всех своих проявлениях! Жизнь — это подарок Бога!

Как-то после обеда Корнилов отозвал Деникина в сторону и тоном заговорщика, сообщающего важную государственную тайну, произнес:

— А вам тут, милейший Антон Иванович, приготовили сюрприз. Какой? Не скажу, хоть убейте. А сами ни за что не догадаетесь...

Деникин разволновался. И чтобы долго не искушать друга, Корнилов распахнул дверь в коридор. И тут перед изумленным Антоном Ивановичем предстала... Ксения!

— Господи! — только и сумел воскликнуть Деникин, а Ксения уже прильнула к его груди.

Ксении хотелось смеяться от счастья, а из глаз ее текли слезы.

— Я же просил тебя не приезжать... — глуховатым голосом укоризненно произнес Деникин, хотел еще что-то добавить, но Ксения обиженно прервала его:

— Вы не желали моего приезда?!

— Нет, что ты, дорогая моя, просто хочу уберечь тебя от опасности. Я безумно рад, спасибо тебе...

Деникин жил в одной комнате с генералом Иваном Павловичем Романовским, с которым крепко сдружился. Тот, понимая, что Деникину и Ксении надо побыть наедине, удалился. Корнилов тоже откланялся.

Антон Иванович и Ксения остались одни. Он восторженно вглядывался в милые черты своей невесты, не решаясь, однако, привлечь ее к себе. Все-таки она не была еще его женой, а Деникин был человеком строгих нравственных правил...

Ксения приехала из Киева, где она жила в квартире покойной матери Деникина, Елизаветы Федоровны. И сейчас она взволнованно, то и дело сбиваясь с мысли и перескакивая с одного на другое, рассказала Деникину о том, какой ужас охватил ее, когда она узнала, что он заключен в тюрьму. И как ни странно, именно состояние ужаса подвигло ее на бурную деятельность в защиту дорогого ей человека. Она тотчас же поехала на квартиру к известному юристу, члену Государственной думы Маклакову. К несчастью, тот оказался в Москве. Тогда Ксения обратилась к опытным киевским адвокатам, которые и согласились взять на себя защиту Деникина. Она вручила им письма, рукописи и статьи Антона Ивановича, благодаря которым была ясно его политическая ориентация.

Деникин был удивлен и обрадован: кажется, ему вы-

шло счастье связать свою судьбу не просто с красивой, обаятельной женщиной, но еще и с верным, надежным спутником жизни.

На следующий день среди заключенных разнеслась радостная весть: их женам разрешили поселиться в Быкове и они могли посещать тюрьму каждый день. По соседству с камерой Деникина жил Корнилов, напротив — Лукомский и Эрдели, рядом с ними — Ванновский и Эльнер, чуть далее — Кисляков и Орлов. Все узники любили собираться в камере Деникина — она была просторнее других, да и притягивало присутствие женщин. Чаще других приходила жена Романовского, Елена Михайловна, веселая остроумная, и жена генерала Лукомского, сдержанная, спокойная дама. Кроме двух стульев, в камере не на что было сесть, но это нисколько не мешало: сидели на койках, на сундучках и чемоданах, а то и просто на полу.

Ксении особенно понравился Романовский. Понравился своим спокойствием, умом, доброй, светлой улыбкой. Марков сперва отпугивал излишней эмоциональностью и резкостью суждений. В Лукомском ее восстанавливала против себя слишком ярко выраженная самоуверенность. Зато его жена, дочь известного генерала Драгомирова, стала Ксении лучшей подругой. Редко она встречала женщин с таким поразительным чувством такта и умения сказать каждому именно то, что ему было в высшей степени приятно.

Корнилова Ксения побаивалась. Он приходил в камеру Деникина не очень часто, и в его присутствии все невольно подтягивались, становились более серьезными, не допускали вольностей. Корнилову нравилась Ксения, он говорил с ней покровительственным тоном, даже слегка шутливо: про себя она так оценивала это: «Лавр Георгиевич разговаривает со мной, как говорят с детьми».

По субботам в тюрьму приходил священник. Собравшись в столовой, генералы хором пели молитвы. Всем нравилось, как пел Деникин, и он очень гордился этим, вспоминая, как в детстве, во Влоцлавске, пел в хоре и носил батышку кадило.

На 2 октября 1917 года в Быховской тюрьме находилось двадцать четыре человека. Как впоследствии вспо-

минал Деникин, это были люди самых разнообразных взглядов. В преобладающем большинстве далекие от политики и объединенные только большим или меньшим сочувствием в корниловском выступлении или сочувствием ему.

К этому времени на смену генералу Алексееву пришел генерал Духонин, ставший начальником штаба Верховного главнокомандующего. И хотя узники Быховской тюрьмы относились к нему весьма критически, как к человеку, сотрудничающему с Временным правительством, Духонин многое делал для того, чтобы спасти заключенных в тюрьме генералов от расправы. И делал это не напрасно, так как арестованные все время находились под угрозой самосуда. Чтобы не допустить этого, Ставка расположила в Быкове роту Георгиевского полка, полк текинцев и, кроме того, польские воинские части, которыми командовал генерал Довбор-Мусницкий. По свидетельству Деникина, поляки относились к узникам по-рыцарски.

Особое опасение вызывали проходившие через Быков воинские эшелоны. Солдаты не раз пытались высадиться на станции, чтобы штурмовать тюрьму и расправиться с генералами, этими «последышами царского режима». Чтобы не допустить этого, поляки выставляли дежурные части с пулеметами, координировали с Корниловым все вопросы самообороны.

Между тем события в России развивались стремительно. Временное правительство представляло собой уже не власть, а лишь ее жалкое подобие. Страну охватила всепоглощающая стихия анархии. Большевики с фанатичной настойчивостью готовились к захвату власти.

И только Александр Федорович Керенский по-прежнему благодушествовал. Об этом с документальной точностью рассказал Владимир Дмитриевич Набоков:

«За четыре-пять дней до октябрьского большевистского восстания в одном из наших заседаний в Зимнем дворце я его (Керенского) прямо спросил, как он относится к возможности большевистского выступления, о котором тогда все говорили. «Я был готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло!» — ответил он мне. «А уверены ли вы, что сможете с ним справиться?» — «У

меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».

А еще через несколько дней этот самонадеянный «глаза государства» бежал из Петрограда и целых восемь месяцев скрывался в России, став в одночасье политическим трупом...

Большевистский переворот означал и переворот в сознании быховских узников. Надо было не просто действовать, но и решительно противодействовать новоявленным властителям. Но как? Почти единодушно высказались за то, чтобы пробираться на Дон.

— Казачество настроено антибольшевистски, — говорил Корнилов, — оно станет нашей надежной опорой.

Девятнадцатого ноября в тюрьму пришел представитель Ставки полковник Генерального штаба Кусонский, который доложил генералу Корнилову о том, что через четыре часа большевистский Верховный главнокомандующий, бывший прапорщик Крыленко с большой группой матросов будет в Могилеве.

— Генерал Духонин, — сказал Кусонский, — приказал вам передать, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быков.

«Какое мужество! — подумал про себя Деникин, присутствовавший при этой беседе. — Этим распоряжением он подписал себе смертный приговор». Предчувствие это вскоре оправдалось: Духонин был на глазах Крыленко растерзан матросами.

Промедление было бы губительным для всех узников, и Корнилов приказал, чтобы текинский полк, сохранявший ему верность, был готов к выступлению из Быкова нынешней же ночью. Сам он решил идти вместе с полком, хотя это и было для него крайне опасно. Но бросить свой полк было выше его сил.

Все генералы приняли решение пробираться на Дон, чтобы затем встретиться в Новочеркасске. Пришлось прибегнуть к маскировке, чтобы не быть опознанными: меняли внешний облик, запасались фальшивыми документами. Уходить на Дон решили поодиночке.

Рота Георгиевского полка не приняла никаких мер к удержанию генералов в тюрьме, солдаты провожали их напутствием:

— Дай вам Бог, не поминайте лихом...

Романовский и Марков решили ехать на Дон вместе. Романовский сменил генеральские погоны на погоны прапорщика, Марков превратился в рядового солдата, денщика Романовского. Они поехали вместе с Кусонским на паровозе до Киева, а там им предстояло добираться до Новочеркасска, руководствуясь собственной инициативой.

Генерал Лукомский превратился в немецкого колониста. А Деникину вручили удостоверение от начальника штаба польской стрелковой дивизии, в котором подтверждалось, что он «есть действительно помощник заведующего 73-м перевязочным польским отрядом Александр Домбровский». Это звучало весьма правдоподобно, так как Деникин хорошо владел польским языком.

С этим документом в кармане Деникин направился на Быховский вокзал. Ознакомившись с расписанием движения поездов, выяснил, что поезд до Ростова-на-Дону будет отходить через пять часов. Чтобы не привлекать к себе внимания на вокзале, он пошел в штаб польской дивизии.

В польском штабе Деникин познакомился с молодым польским офицером Любоконским, который тоже должен был ехать этим же поездом, чтобы навестить в Ростове своих родных. Это знакомство было как нельзя кстати.

Поздно вечером поезд тронулся. Впереди был полный опасностей и тревог путь до Ростова, а затем и до Новочеркасска.

10

Радужные надежды Корнилова и Деникина на то, что Дон примет их с распростертыми объятиями, оказались тщетными. Казачество, всегда бывшее надежной опорой власти, ныне, под влиянием революционных событий и агрессивной большевистской пропаганды, в значительной своей части меняло ориентацию, расслаивалось, делилось на тех, кто был за большевиков, и тех, кто выступил против них с оружием в руках. Но даже и та часть ка-

зачества, которая не приняла революцию, не горела желанием встать в ряды Белого движения, ибо в результате рисковала попасть в водоворот новой войны. Казакам хотелось лишь защитить свой Дон, свои станицы, свои курени, сохранить пошатнувшиеся традиции, свою независимость и от белых и от красных.

Это было одной из причин, по которой Белое движение развивалось, можно сказать, черепашими темпами и едва ли не захлебнулось в самом начале.

Другой, пожалуй, еще более веской причиной неудач первоначального этапа формирования Белого движения было то, что красные с потрясающей быстротой двинули огромные войсковые массы на Дон. Командовал красными войсками Антонов-Овсеенко. Ядром этих войск были отряды, во главе которых стоял уже ставший известным своими боевыми успехами Сиверс.

На первых порах эти фамилии ничего не говорили Деникину, но верный своему принципу — знать противника, с которым воюешь, он поручил своим штабистам добыть хотя бы краткие сведения об этих красных военачальниках. И вскоре кое-что удалось узнать.

Оказалось, что Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, партийный псевдоним которого был Штык, руководил штурмом Зимнего дворца. Деникина порадовало то, что этот Штык не имел ни военного образования, ни боевого опыта и, следовательно, в вопросах ведения боевых действий представлял собой дилетанта, умеющего лишь вдохновлять прирожденным красноречием и издавать грозные приказы, нагоняя на подчиненные ему войска страх. Один штрих из биографии этого красного полководца немало позабавил Деникина: оказывается, Антонов-Овсеенко до революции редактировал газету «Казарма», издававшуюся в Петрограде.

— Да он же ни единого дня не служил в армии. — усмехнулся Деникин, выслушав эти сведения. — Хорошо еще, что родился в семье поручика. Но вряд ли такое отдаленное родство с армией поможет ему успешно руководить боевыми действиями.

— Но, кажется, он не такой уж слабый организатор, — осторожно заметил штабист. — Есть данные, что он еще в тысяча девятьсот шестом году готовил воору-

женное восстание в Севастополе, за что был приговорен к смертной казни. Правда, ему повезло: казнь заменили двадцатью годами каторги.

— Ничего не скажешь, — горько проронил Деникин, — большой гуманист был наш последний самодержец.

— За что и поплатился, — подхватил штабист.

— То, что красные добиваются успехов на фронте, не удивительно, — думал Деникин. — Ведь организуют сражения бывшие царские офицеры, имеющие фронтовой опыт. А за спиной у них — такие, как этот Антонов-Овсеенко, которые и пожинаяют плоды побед.

О Рудольфе Фердинандовиче Сиверсе Деникин узнал, что он был человеком военным, на русско-германском фронте воевал в чине прапорщика. Командовал отрядом красногвардейцев и матросов против войск Краснова под Пулковом. Особо отличился в боях за освобождение Донбасса.

— Именно Сиверс занял Таганрог, а затем и Ростов, вынудив нас покинуть город, — пояснил штабист, видя, что Антон Иванович уже отложил бумажку со справкой в сторону. — Этот, кажется, далеко пойдет.

— Если уж говорить о том, кто далеко пойдет, так это, скорее всего, Антонов-Овсеенко, то бишь Штык, — возразил Деникин. — Революции превыше всего ценят политиков, а не военных. Военные будут в цене, пока идет война, а затем их выбросят за борт. — Он еще раз просмотрел справку. — Да они, эти большевистские вояки, кажется, все как один перебивали в редакторах. Этот Сиверс успел редактировать некую «Окопную правду». И сам Троцкий из редакторов. Неужто мы не осилим этих красных дилетантов?

— Будем рассчитывать на Божью помощь, ваше высокопревосходительство...

— А пока что придется покинуть Ростов, — со вздохом произнес Деникин, думая о том, что Ксению придется оставить на произвол судьбы в этом городе. Кто заступится за нее, если ее арестуют или если она подвергнется бандитскому нападению? Никто! Недаром Ксения умоляла взять ее с собой, не оставлять в Ростове. Но как он мог согласиться и тем самым подвергнуть ее еще

большому риску? Разве знал он, что ждет его впереди? Корнилов, увидев Ксению всю в слезах и узнав об их причине, пообещал переговорить с Деникиным. Тот, не смотря на доводы Корнилова, наотрез отказался брать Ксению с собой.

— Со мной ей будет грозить еще большая опасность, чем в Ростове, — твердо сказал он. — К тому же, Лавр Георгиевич, жены в походе свяжут нас по рукам и ногам. Полагаю, что у нас есть лишь один выбор — идти через все преграды к избранной нами цели, не отвлекаясь ни на что другое.

— Я разделяю ваши взгляды, Антон Иванович. — Корнилов произнес эти слова искренне, хотя и сухо.

Девятого февраля Корнилов отдал приказ своим войскам отходить за Дон, в станицу Ольгинскую. Дальнейший план действий так и не сложился в его голове. Да и кто мог определить единственно верный путь по донским степям? Идти на Кубань? А не примут ли их там точно так же, как приняли на Дону? Кто знает?

Недаром в письме другу Корнилов перед уходом из Ростова говорил о том, что, вероятно, больше им встретиться не придется.

Много позже в своих воспоминаниях об этих днях, полных разочарований и томительной неизвестности, Деникин писал:

«Мерцали огни брошенного негостеприимного города, слышались одиночные выстрелы. Мы шли молча, каждый замкнувшись в свои тяжелые думы. Куда мы идем? Что ждет нас впереди?»

И еще:

«Мы уходили. За нами следом шло безумие. Оно вторгалось в оставленные города беспабашным разгулом, ненавистью, грабежами и убийствами. Там остались наши раненые, которых вытаскивали из лазаретов на улицу и убивали. Там брошены наши семьи, обреченные на существование, полное вечного страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь непредвиденный случай раскроет их имя... Мы начинали поход в условиях необычайных: кучка людей, затерянных в широкой донской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю. Среди них два Верховных главнокомандующих

русской армией, Главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники... С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, вмещавшим скудные пожитки, шли они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу... Уходили от темной ночи и духовного рабства, в безвестные скитания... За Синею птицей.

Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят светоч, слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе, те, кто пока не проснулись... В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к этому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия: малая числом, оборванная, затравленная, окруженная, как символ гонимой России и русской государственности.

На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развеялся трехцветный национальный флаг, — это Ставка Корнилова».

О том, в каком направлении отходить, разгорелись жаркие споры между Алексеевым и Деникиным, с одной стороны, и Корниловым и Лукомским — с другой.

Корнилов был явным сторонником движения на восток, в район зимовников.

— В этом районе, — доказывал Корнилов, — мы оторвемся от железных дорог, где постоянно перемещаются войсковые соединения красных. Этим мы прежде всего обезопасим еще не вполне сформировавшуюся армию. Второе, люди получают так необходимый им отдых. Мы сможем переменить лошадей, пополнить свои обозы. Поднакопим силы и тогда начнем действовать на верняка.

— Но эта позиция — не более чем выжидательная, — ворчливо возразил ему Алексеев. — Люди растеряют боевой дух. Любая длительная оборона — смерть для армии: не успев родиться, она войдет в стадию разложения и в конечном итоге перестанет существовать как реальная сила. Нет, только на Кубань, и нигуда более!

Его поддержал Деникин:

— Алексей Алексеевич, безусловно, прав. Отдавая должное вашему предложению, Лавр Георгиевич, я тем не менее за то, чтобы идти на Екатеринодар. Город этот еще не взят большевиками. Кубань располагает богатыми запасами продовольствия. А главное — кубанское казачество, в отличие от донского, более активно настроено против советской власти, и, следовательно, нам будет на кого опереться. Армия, несомненно, получит большой приток добровольцев.

— Антон Иванович, вы совершенно не учитываете того обстоятельства, что все происходящее сейчас на Кубани покрыто для нас мраком неизвестности! — пылко прервал Деникина Лукомский. — Между тем движение наше в задонской степи внушает немалую надежду на успех. Мы располагаем сведениями, что к зимовникам уже направились почти полторы тысячи конников во главе с донским казаком генералом Поповым. Они располагают пятью орудиями и сорока пулеметами. И готовы сражаться с большевиками.

— Несомненно, это новый очаг сопротивления Советам, — коротко бросил Корнилов.

— Однако необходимо учитывать, что в зимовниках мы с наступлением весны будем отрезаны половодьем Дона, а также ощущать постоянную угрозу, исходящую от железной дороги Царицын — Торговая — Батайск. — Деникин водил карандашом по топографической карте, разложенной на столе. — И как только все эти железнодорожные узлы окажутся в руках большевиков — мы попадем в ловушку. И тогда о пополнении добровольцами можно будет только мечтать. Совсем в духе незабвенного гоголевского Манилова.

— Ну, уж вы и за Гоголя ухватились, — усмехнулся Лукомский. — И почему вы считаете, что большевики не смогут взять Екатеринодар?

— Я еще не привел всех доводов в пользу похода на Кубань, — спокойно отреагировал Деникин, хотя его и задела язвительность Лукомского. — Согласитесь, степной район, куда вы предлагаете передислоцировать армию, а это как никак пять тысяч ртов, очень уязвим во многих отношениях. Зимовники находятся друг от друга на значительных расстояниях, в условиях почти полного бездорожья. Жи-

лых помещений — наперечет. Где будут жить люди? Где они возьмут топливо? А главное — придется раздробить более или менее цельную войсковую силу на мелкие отряды, которые будут находиться в отрыве друг от друга, не имея никаких средств связи между собой. И кто тогда помешает противнику разгромить нас по частям?

— К тому же, — добавил Алексеев, — степной район из всех видов продовольствия имеет в наличии лишь немолотое зерно да сено для скота.

— В Екатеринодаре мы сможем организовать работу по активному комплектованию Добровольческой армии, — продолжал Деникин. — Итак, первый вариант — идти в задонские степи — неприемлем, Второй — даже при том, что в этом случае мы идем на большой риск, особенно в силу того, что смутно представляем себе обстановку на Кубани, — все же предпочтительнее. Если вы, Лавр Георгиевич, остановитесь на первом варианте — мы, безусловно, подчинимся вашему приказу. Но благо-разному подсказывает нам идти на Кубань.

Корнилов долго молчал. Он мысленно взвешивал все «за» и «против». Кроме того, он не привык, чтобы его мнение, а тем более его планы кто-то оспаривал. И все же сказал — хмуро и едва ли не через силу:

— Пусть будет по-вашему, господа. Завтра я отдаю приказ о выступлении. Цель похода — взятие Екатеринодара.

Деникин и Алексеев облегченно вздохнули. Лукомский же только развел руками, но ввязываться в новый спор не стал.

Армия — если ее можно было называть армией, скорее, это была разношерстная вооруженная масса, в которой полковники командовали взводами, — выступила в поход в последних числах февраля. И как она ни старалась избегать в пути вооруженных столкновений, без боя обойтись не удалось.

...Едва засветилось сырое туманное утро, как высоко над головами добровольцев разорвалась прапнель. Пришлось принимать бой. Бывший командир Преображенского полка Кутепов повел за собой офицерскую роту. На вороном коне в сторону противника проскакал вдоль колонны Марков. Чувствовалось, что его уже захватил дух предстоящей схватки.

В редящем тумане прояснились очертания станицы, откуда и вел огонь противник. Деникин поднялся на ближний курган и вскинул к глазам бинокль. В окулярах проявились очертания свежевырытых окопов, которые опоясывали окраину станицы. У церкви — артиллерийская батарея. Орудия неспешно, видимо экономя снаряды, вели огонь по полевой дороге.

Деникин поморщился: станицу полукольцом огибала речушка, почти свободная ото льда, с топкими болотистыми берегами. Через нее так просто не перейдешь, придется обходить.

Корнилов уже понял это и двинул свой полк в обход станицы. Под огнем пулеметов противника юнкера сноровисто развернули полевые орудия. Одна из рот, стараясь выйти из зоны пулеметного огня, бросилась вброд через речку.

Красные не выдержали, начали поспешно отступать, стараясь спастись от преследования. Корниловский полк, ворвавшийся в станицу через плотину, устремился в погоню, добивая отступавших.

Станица была занята. К группе офицеров, окруживших Деникина, подскакал Корнилов.

— Поздравляю, господа, с первой победой! — Генерал не скрывал радости.

— Запомним название этого населенного пункта. — Деникин как мог сдерживал свои чувства. — Это — Лежанка. На слух не очень благозвучно, но какое это, право, имеет значение? Главное — первая наша победа!

— Это как первая любовь! — громко и весело воскликнул кто-то из офицеров.

Корнилов, не склонный к лирике, тем более сентиментальной, тут же осадил его:

— Про любовь пока забудьте, поручик. Впереди нас ждет только ненависть.

Да, это был воистину Ледяной поход, и тот, кто первым пустил в словесный оборот этот вызывающий дрожь термин, проявил и смекалку и точность.

Целыми днями шли проливные дожди, которым, казалось, не будет конца и края. Было странно, что такие дожди лили в феврале и начале марта, когда по всем приметам в природе нормам все еще должен был идти снег.

Всюду, во всей широкой степи не было ничего, на чем можно было остановить взгляд. Степные дороги представляли собой жидкое месиво, и даже в тех местах, где армии приходилось идти без всяких дорог, прямо по целине, было столько воды, что казалось, будто степь превратилась в болото. Люди давно и прочно промокли насквозь, холодная вода жгучими струями стекала за воротники шинелей, создавая впечатление изопреннейшей пытки. Вода чавкала в сапогах, и ноги отказывались идти, с трудом выбираясь из мокрой глины.

...К вечеру дождь сменился снегом. Мокрые шинели задубели. Из степи дул ветер, и от него не было спасения нигде. Лица солдат и офицеров покрылись ледяной коркой, чудилось, что еще немного, еще несколько порывов ветра, и все люди превратятся в замерзшие трупы.

Неожиданно движение колонны остановилось: впереди путь пересекала извилистая речка, которая от непрерывных дождей превратилась в мощный бурный поток. Где-то на горизонте слабо просматривались очертания станицы.

— Ново-Дмитриевская. — Деникин, прикрыв карту полкой шинели, произнес эти слова, обращаясь к Маркову.

Тот стоял перед ним. Гибкий, поджарый, шевелил острыми усами и смело усмехался. Лицо его было возбужденным, сияющим, будто в степи стояла прекрасная солнечная погода и будто впереди их ждали сплошные радости. Фуражка с кокардой была лихо сдвинута на затылок, весь вид говорил о желании побыстрее ввязаться в драку.

И, как бы угадав его желание, на противоположном берегу речки затрепали выстрелы.

— Была Ново-Дмитриевская красной — станет белой! — задорно воскликнул Марков. — Спасибо, Антон Иванович, что перевели мой полк в авангард! До черта надоело тащиться в хвосте колонны и прикрывать этот паршивый обоз! Офицерский полк — это же не инвалид-

ная команда! Прикажите форсировать речку и всыпать красным по первое число!

Деникин едва улыбнулся: он прекрасно знал характер Маркова, его неуправляемый темперамент.

— Сергей Леонидович, приказать для меня не составляет труда, однако как вы намерены выполнить такой приказ?

— Для добровольцев нет невыполнимых приказов! — горячо заверил Марков.

— Но даже кони откажутся идти в такой бурный поток, — усомнился Деникин. — Не лучше ли послать разведчиков искать брод?

— Пока наши разведчики отыщут брод — рак на горе свистнет, — возразил Марков. — А мост взорван. Разрешите мне первым переправиться на тот берег?

— Зачем рисковать? Слышите, с той стороны заговорил пулемет?

— Не ждать же, пока они откроют огонь из орудий! — нетерпеливо воскликнул Марков, вскакивая на коня.

Деникин с опасением смотрел, как Марков пытается заставить коня войти в реку. С нескольких попыток это ему все-таки удалось.

— Подвести лошадей к речке и на их крупах переправить полк! — слышался приказ Маркова уже с той стороны.

«Рыцарь удачи, — одобрительно подумал Деникин. — Точнее, солдат удачи».

Офицерский полк, подчиняясь приказу, стал переправляться. Переправа давалась с трудом, благодаря последним усилиям воли. То, что делали люди, было за пределами человеческих возможностей: мощный ледяной поток сбивал с ног, тела коченели, казалось, не осталось ничего, что могло бы заставить людей идти дальше.

Между тем темнота сгущалась. На степь обрушилась пурга. Шинели сделались деревянными, невозможно было даже нагнуться или повернуть шею. Всадники безуспешно пытались вставить ноги в стремяна и оседлать дрожавших от холода коней.

Всю ночь армия, изнывая от промозглого холода, проклиная все на свете, с великим трудом перебиралась через осатаневшую реку.

Марков, ждавший подкреплений на противоположном берегу, наконец понял, что его надежды тщетны.

— Не подыхать же нам здесь, — обратился он к окружающим его офицерам. — Оставим коней — и в станицу. Теперь уже все едино — погибнуть от мороза или от пуль красных. За мной — бегом!

Офицеры устремились за Марковым. Спотыкаясь, скользя и падая, снова вставая, стреляя на ходу, они тем не менее приближались к окраине станицы. Оттуда гремели ответные выстрелы.

— Врукопашную! — приказал Марков.

Вряд ли кто-то из марковцев остался бы в эту ночь живым, если бы позади не раздались артиллерийские залпы: то открыла огонь переправившаяся наконец через реку батарея. Большевики не выдержали и покинули станицу.

Медленно занимался рассвет. Солдаты и офицеры, шатаясь от усталости, занимали казачьи хаты, чтобы отогреться и перевести дух.

Лишь Марков, как всегда, уверенно держался на ногах. Он не спешил в тепло, наблюдая за тем, как размещаются его офицеры. С крыльца, у которого он стоял, спустилась сестра милосердия. Даже усталость не могла победить ее красоту. Она изящно козырнула Маркову:

— Ваше превосходительство, не нужна ли вам медицинская помощь?

Марков широко улыбнулся, показывая белоснежные зубы:

— Спасибо, сестричка, но сколько служу, ни разу не обращался к медикам.

— Да, но сейчас, — сестра смотрела на Маркова торжественно и даже влюбленно, — сейчас вы прошли через ад! Это же светопреставление! Поистине Ледяной поход!

Когда Марков рассказал об этом Деникину, тот, улыбаясь, сказал:

— Сергей Леонидович, очень прошу, разыщите эту сестру милосердия, представьте мне. Я хочу наградить ее за этот удивительно точный термин: «Ледяной поход». Тем паче что этот Ледяной поход только начался, сколько еще таких походов у нас впереди!

Перед очередным выступлением к Деникину подскочил на взмыленном коне взволнованный Марков:

— Ваше превосходительство, срочная депеша от генерала Корнилова!

Деникин развернул протянутый Марковым бланк. Едва он начал читать первые строки, как лицо его посерело.

Корнилов сообщал, что Екатеринодар захвачен большевиками. Отряд кубанских добровольцев полковника Покровского, кубанский атаман Филимонов и члены Рады (так назывался парламент кубанского казачества) бежали в горы. Таким образом, подводил итог Корнилов, плану движения Добровольческой армии на Кубань нанесен беспощадный удар. Тут же Корнилов объявлял и свое решение идти на юг, в черкесские аулы, чтобы соединиться с отрядом Покровского и дать возможность войскам отдохнуть.

...Когда Корнилов, сопровождаемый Деникиным, Эрдели и Романовским, встретился с Покровским и предложил ему объединить усилия для совместной борьбы, тот закусил удила: молодой полковник жаждал самостоятельности и не терпел над собой никакого верховенства.

— Кто такой этот Покровский? — осведомился Корнилов у Романовского.

— Бывший летчик. Он не казак. Прибыл на Кубань в чине капитана. Георгиевский кавалер.

— Однако ведет он себя неподобающим образом, — нахмурился Корнилов.

— Вполне объяснимо, — поспешил уточнить Романовский. — По отзывам тех, кто его хорошо знает, Покровский крайне честолюбив, отчаянно храбр и не остановится перед крайними, даже жестокими мерами борьбы.

— А главное, судя по всему, его не очень-то тяготят моральные принципы, — уже от себя добавил Корнилов. — Хотя надо отдать ему должное: организовал отряд, представляющий в этих краях единственную силу, способную противостоять красным.

— И эту силу следует по возможности умело использовать, — вступил в разговор Деникин.

На следующий день к беседе с Покровским присоединился и генерал Алексеев. Но Покровский стоял на своем: отряд его должен обладать полной автономией.

— Единственное, на что я согласен, так это лишь на оперативное подчинение генералу Корнилову, — с бойкостью задиристого петуха заявил Покровский: впрочем, и голос его был в чем-то схож с петушиным.

Алексеев вспыхнул: и этот сосунок еще пытается навязывать им, умудренным жизнью и опытом генералам, свои условия!

— Полноте, полковник! — воскликнул старый генерал. — Извините, не знаю, как вас и величать. Не думаю, чтобы на подобной автономии настаивали подчиненные вам войска. Просто вам не хочется поступиться своим личным самолюбием.

Корнилов, как бы подводя итог затянувшемуся разговору, высказался еще решительнее.

— Никаких автономий! — властно заявил он. — Только одна армия и один командующий! Иного я не допускаю! Так и передайте своему правительству.

Покровский отбыл восвояси. Через несколько дней он вернулся вместе с кубанским атаманом полковником Филимоновым, председателем Кубанского правительства и представителем законодательной Рады. Переговоры были бурные и долгие. И все же результат обрадовал Деникина: кубанцы согласились на полное подчинение своего отряда генералу Корнилову. Таким образом, Добровольческая армия сразу увеличилась на две с половиной тысячи человек.

Корнилов воспрянул духом. Его главной целью снова стало взятие Екатеринодара.

13

Давно уже, еще с дореволюционной поры, Екатеринодар с чьей-то легкой руки стали называть вторым Парижем. И взятие его Добровольческой армией означало бы куда более знаменательную победу, чем овладение каким-либо другим городом. Екатеринодар превратился бы в опорный центр Белого движения, в его своеобразную

столицу. Это было бы чрезвычайно выигрышно и в стратегическом, и в военном, и конечно же в моральном плане.

Единственное, что томило душу Корнилова, так это сознание того, что штурмовать придется не какой-нибудь Кенигсберг или захудалый Мезо-Лаборч, накрепко запомнившийся ему еще по русско-германской войне, а свой, исконно русский город, столицу кубанского казачества, жемчужину Юга России. Это противоречило здравому смыслу и вызывало искреннюю горечь.

По приказу Корнилова Добровольческая армия заняла позиции южнее Екатеринодара, на левом берегу Кубани. Разведка донесла, что западнее города, у станицы Елизаветинской, обнаружены превосходные паромные переправы, которые можно будет неожиданно для противника использовать для форсирования реки. Корнилов определил западное направление для штурма Екатеринодара как наиболее перспективное.

Под покровом ночи армия, не замеченная красными, успешно переправилась через Кубань. В нескольких километрах от города находились добротные сооружения фермы, принадлежащей Екатеринодарскому сельскохозяйственному обществу. Ферма расположилась на высоком и крутом берегу Кубани, откуда прекрасно был виден Екатеринодар. Деникин разглядел в бинокль здание городского вокзала, кладбище, а почти напротив фермы — свежерытые окопы красных.

Корнилов решил, что на ферме расположится штаб. Несмотря на доводы Деникина о том, что красные, окопавшиеся на окраине города, могут засечь расположение штаба, он настоял на своем и разместил штаб в небольшом жилом доме из четырех комнат. На ферме расположились также команда связи и перевязочный пункт.

Неприятелю не стоило большого труда распознать замыслы добровольцев, и уже через несколько часов первые артиллерийские снаряды разорвались вблизи фермы. Пока в течение трех дней Корнилов готовил войска к наступлению и они занимали для этого выходные позиции, обстрел продолжался. К счастью, у красных, видимо, было мало снарядов, так как огонь велся одиночными орудиями и не принес ощутимых потерь.

Екатеринодар оказался крепким орешком.

— Разведка доносит, что противник обладает значительными силами, — докладывал Деникин Корнилову. — Даже по приблизительной оценке у него около двух десятков тысяч бойцов, два или три бронепоезда, несколько гаубиц и до десятка легких полевых орудий. Обнаружено также, что красные подтягивают к городу все новые и новые подкрепления. По всему видно, что схватка будет жаркой.

— Я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара, — мрачно сказал Корнилов, выслушав Деникина. — Мое решение неизменно: завтра на рассвете войска начнут наступление по всему фронту.

— Лавр Георгиевич, любой ваш приказ — закон для нас. Но отчего бы нам не обсудить этот вопрос на военном совете?

Корнилов поморщился: он с трудом и даже с неприязнью переносил всяческие военные советы, на которых обычно высказываются десятки самых различных, часто противоречащих друг другу мнений, а в результате все же принимается мнение главнокомандующего. Потеря времени и ущерб для нервной системы — не более того. Он знал, что есть командующие, которых хлебом не корми, а дай спрятаться за широкую спину военного совета, лишь бы не нести единоличной ответственности, особенно если дело окончится провалом. Но такие командующие имеют над собой более высоких начальников, перед которыми и несут ответ. А перед кем отвечает он, генерал Корнилов, в той ситуации, в которой оказался сейчас? Да ни перед кем, если не считать самого себя и, естественно, Господа Бога. Так к чему излишние словопрения?

В конце концов Корнилов согласился собрать военный совет. На нем были: Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, Богаевский, Филимонов. Комната, в которой они расположились, имела мало общего со штабом: стол из сосновых досок, железная односпальная кровать и длинная садовая скамья — вот и вся мебель.

— Прошу прощения, — виновато сказал Корнилов, — но тем, кому не хватит места, придется расположиться на полу. Благо, что есть солома.

— Совсем как в Быкове! — весело прокомментировал ситуацию Марков. — Чем больше неудобств, тем стремительнее принимаются решения!

Корнилов промолчал. За время Ледяного похода он заметно осунулся, сетка морщин на сухом, аскетическом лице проступила еще явственнее, глаза были словно присыпаны пеплом. А ведь какими огненными, жгучими они были прежде!

— Господа, — наконец начал Корнилов, — для меня вопроса брать или не брать Екатеринодар не существует. Говорю об этом прямо и определенно: только брать, брать без всяких колебаний. Если я не встречу возражений, завтра будем атаковать.

Однако со всех сторон посыпались возражения.

— Я считаю, что сейчас самое неподходящее время для взятия города, — сказал Деникин. Он старался говорить спокойно, уравновешенно, даже тоном своим не противопоставляя себя главному. — Люди вымотаны окончательно, они на пределе человеческих сил. Последние бои не привели к ожидаемому успеху. Изнемогающая от усталости и потеряв армия, встретив отпор сильного противника, неизбежно откатится назад, и произойдет самое страшное: она потеряет веру в себя.

— Если мы и возьмем город, то понесем такие большие потери, что не сможем его удержать, — добавил Романовский.

Но Корнилов стоял непоколебимо. Тогда Алексеев попытался выйти из тупиковой ситуации, предложив компромисс:

— Лавр Георгиевич, послушайте моего доброго совета. Отложите штурм хотя бы на сутки. Это даст войскам дополнительный отдых и возможность лучше подготовиться к наступлению.

— Хорошо, я согласен. — Тонем своим Корнилов показал, что это решение он объявляет против своей воли. — Но один из присутствующих, а именно Сергей Леонидович Марков, почему-то предпочел отмолчаться.

Все обернулись в сторону Маркова и тут же поняли, почему Корнилов произнес эту фразу: Марков, сидя на полу, застеленном соломой, крепко спал, так как двое суток перед этим не сомкнул глаз. Раздался сдержанный смех.

— Виноват! — вскочил на ноги Марков, мгновенно стряхнув с себя остатки сна и являясь перед смеющимися генералами совершенно бодрым и готовым к действию. — Я за то, чтобы штурмовать, штурмовать и штурмовать! Согласен с Наполеоном: «Надо ввязаться в бой, а там будет видно!»

— Вот мнение истинного воина. Спасибо, генерал Марков, за поддержку! — Едва приметная улыбка появилась на сумрачном лице Корнилова. — Все свободны, господа. Антона Ивановича прошу остаться.

Генералы покинули комнату, где заседал военный совет. Корнилов и Деникин остались вдвоем.

— Лавр Георгиевич, — обратился к Корнилову Деникин, — почему вы так непреклонны?

— Другого выхода нет, Антон Иванович, — ответил Корнилов, и лицо его прояснилось. — Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.

Деникин вздрогнул: прежде Корнилов никогда не говорил о смерти.

— Этого вы не можете сделать, — твердо сказал Деникин. — Ведь тогда тысячи жизней были бы брошены на произвол судьбы. Вы не вправе распоряжаться собой. Не лучше было бы, если бы мы пока отошли от Екатеринодара? Дали войскам как следует отдохнуть, набраться сил, перестроиться и спланировать новую операцию — более продуманно, так, чтобы она могла обеспечить верный успех. Ведь в случае неудачи армия развалится.

— Не развалится. Вы выведете армию и сохраните ее.

Волнение охватило Деникина: он всегда переживал, когда чувствовал к себе доверие, когда на его плечи возлагали тяжелую ношу ответственности.

— Лавр Георгиевич! — воскликнул он. — Да если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армию — она перестанет существовать!

Корнилов молча обнял Деникина. Антон Иванович не видел его лица, но был уверен, что глаза Лавра Георгиевича увлажнились.

...В то утро, когда Корнилов отдал приказ штурмовать Екатеринодар, Деникин стоял на высоком берегу Кубани и с тяжелым чувством смотрел на поле боя. Орудия красных вели прицельный огонь по позициям доб-

ровольцев. Снаряды с шипением пронеслись над головой. Один разорвался в небольшой роще вблизи дома, где сутки назад заседал военный совет. Второй угодил прямо в дом.

Деникин сорвался с места и устремился к штабу. На встречу ему с искаженным лицом бежал адъютант Корнилова.

— Ваше превосходительство! Генерал Корнилов...

Когда Деникин подбежал к штабу, первым, кого он увидел, был Романовский. Он и несколько офицеров несли носилки. Подойдя к Деникину, они опустили их на землю.

Корнилов лежал, закрыв узкие, монгольского типа глаза. Сейчас он показался Деникину еще более маленьким и жалким.

«Надежда и опора Добровольческой армии!» Деникин словно оцепенел. Он увидел кровь на виске Корнилова и рану на правом бедре. Корнилов еще дышал. Деникин опустился на колени. Рыдания вырвались из груди, страшное отчаяние охватило его, хотелось и самому уйти из этого безумного мира, бросив бессмысленную борьбу.

«Ты можешь уйти, — внезапно мелькнула мысль, — но что будет с армией, с теми людьми, которых ты вовлек в эту братоубийственную бойню? Ты не имеешь права уйти добровольно, ты уйдешь лишь тогда, когда твою жизнь оборвет вражеская пуля...»

— Вы примете командование армией? — словно издалека услышал он вопрос Романовского.

Деникин встал на ноги:

— Только сейчас, на поле боя. Как помощник командующего. Преемником может быть только генерал Алексеев. Срочно пошлите ему мой рапорт в станицу Елизаветинскую.

Прибывший к месту событий Алексеев с непривычной суетливостью подошел к Деникину:

— Ну, Антон Иванович, принимайте горькое наследство. Помогите вам Бог!

Гибель Корнилова тяжело отозвалась на моральном состоянии армии. В Корнилова верили как в человека, который способен привести армию к победе. Без него ар-

мия осиротела, появилась растерянность, многих охватил страх перед будущим. В Деникина еще не поверили так безоглядно, как в Корнилова. Было много сторонников Маркова как преемника командующего. Но тот, узнав об этих настроениях, построил свой полк и, возвышаясь на коне, сказал твердо:

— Армию принял генерал Деникин. Беспокоиться за ее судьбу не приходится. Этому человеку я верю больше, чем самому себе!

Деникин штурм Екатеринодара сразу же отменил и отдал приказ: под прикрытием темноты ускоренным маршем оторваться от противника. Предстояло уйти из района с густой сетью железных дорог и сосредоточиться в станции Медведовской.

Мрачные мысли одолевали Деникина. Будущее было покрыто мраком неизвестности. Ни одна победа пока не одержана, не считая мелких успехов.

«Не смогли отбить у большевиков Екатеринодара, а нацелились на Москву!» — с горечью думал Деникин и тут же спешил отбросить от себя мысли, лишавшие его надежды на лучшее: с чувством обреченности можно лишь покончить с собой, а не продолжать борьбу.

И он, слегка ободренный этой сентенцией, прищпорил коня.

14

Сырая промозглая ночь легла на бескрайнюю степь, по которой шла колонна Добровольческой армии. Как огромный удав, повторяющий все изгибы полевой дороги, она растянулась едва ли не на десять верст. И это при том, что по приказу Деникина часть обоза оставили на подступах к Екатеринодару, весь лишний груз побросали. Армия, которая в любой момент могла встретиться с противником и начать бой, имела в своем распоряжении всего три десятка снарядов! В составе колонны находилась батарея из четырех орудий, пять других были брошены и остались на позициях с выведенными из строя затворами.

Когда колонна достигла окрестностей Медведовской, Деникин собрал всех командиров.

— Сейчас мы находимся в зоне повышенной опасности, — предупредил он. — Нам предстоит пересечь железную дорогу, которая находится в руках красных. Артиллерия и обоз смогут, как известно, двигаться только через железнодорожный переезд, который хорошо охраняется противником. По данным разведки, которые я только что получил, на станцию должны вот-вот прибыть эшелоны с красной пехотой. Не исключено, что подойдет и бронепоезд. Главная наша задача — прорваться. Прорваться во что бы то ни стало и сохранить армию. Примите все надлежащие меры, господа, к выполнению этой задачи. В авангарде прошу быть офицерский полк генерала Маркова.

Марков воспринял приказ с обычным воодушевлением.

«Если бы вся армия была такой, как Сергей Леонидович, мы бы справились с любым противником», — подумал Деникин, наблюдая за тем, как Марков вскочил на коня и скрылся в темноте, чтобы приступить к исполнению приказа.

Не прошло и десяти минут, как полк Маркова занял место впереди колонны. Марков напряженно всматривался в темноту и вдруг увидел неподалеку светящийся огонек.

Оказалось, что свет исходил от железнодорожной будки. Дверь Маркову открыл насмерть перепуганный сторож.

— Кто на станции? — с ходу спросил Марков.

Сторож испуганно тряс жиденькой бородкой, в ужасе таращил глаза и молчал.

— Отвечай!

— Красные... — прошептал сторож.

— И сколько их?

— Много... Не перечать...

— Что значит много? Да отвечай быстрее, не трясись, никто тебя не тронет!

— Аж два эшелона, — все так же испуганно ответил сторож. — Да еще бронепоезд...

— А далеко ли отсюда до станции?

— Не, недалече, с версту.

— Телефон есть?

— Вот туточки.

Марков стремительно прошел в соседнюю каморку, где на низком столике находился полевой телефон.

— Соедини меня с дежурным по станции, — приказал Марков.

Сторож соединил и протянул ему трубку.

— Алло, дежурный? — спросил Марков, стараясь говорить голосом сторожа. — Как на посту, желаете знать? Так это... Как сказать... Ежели с одной стороны поглядеть, так тишь да гладь, а с другой — черт его разберет... Говоришь, пришьлешь к переезду бронепоезд? А посылай, так-то оно будет спокойнее...

Марков вышел из будки и подозвал к себе одного из разведчиков:

— Скажите к генералу Деникину. Передайте мою просьбу: колонне спешным маршем прибыть к железной дороге и сосредоточиться в двухстах шагах от переезда. Соблюдать полнейшую тишину и скрытность!

Деникин, получив донесение, тут же вместе с Романовским и всем штабом поскакал к Маркову. Генералы, собравшись вместе, быстро разработали план действий.

Сам Антон Иванович о событиях, развернувшихся у станции Медведовская, писал так:

«Через несколько минут со стороны станции показалась какая-то движущаяся громада — бронированный поезд.

Медленно, с закрытыми огнями надвигается на нас; только свет от открытой топки скользит по полотну и заставляет бесшумно отбегать в сторону залегших возле полотна людей. Поезд уже в нескольких шагах от переезда. У будки все: генерал Алексеев, командующий армией со штабом и генерал Марков. Одна граната, несколько лент пулемета и... в командном составе армии произошли бы серьезные перемены.

Марков с нагайкой в руке бросился к паровозу: «Поезд, стой! Раздавишь, сукин сын! Разве не видишь, что свой?!»

Поезд остановился. И пока ошалевший машинист пришел в себя, Марков выхватил у кого-то из стрелков ручную гранату и бросил ее в машину. Мгновенно из всех вагонов открыли по нам сильнейший огонь из ружей и

пулеметов. Только с открытых оружейных площадок не уснели дать ни одного выстрела.

Между тем Миончинский, молодой полковник, блестящий офицер-артиллерист, продвинул к углу будки орудие и почти в упор под градом пуль навел его на поезд.

— Отходи в сторону от поезда, ложись! — раздался громкий голос Маркова. Грянул выстрел, граната ударила в паровоз, и он повалился передней частью на полотно. Другая, третья — по блиндированным вагонам... И тогда со всех сторон бросились к поезду марковцы. С ними их генерал. Стреляли в стенки вагонов, взбирались на крыши, рубили топорами отверстия и сквозь них бросали бомбы, принесли из будки смоляной пакли, и скоро запылали два вагона. Большевики проявили большое мужество и не сдавались: из вагонов шла непрерывная стрельба. Некоторые выскакивали на плотно и тут же падали на штыки. Было видно, как из горящих вагонов, наполненных удушливым дымом, сквозь пробитый пол обгорелые люди выбрасывались вниз и ползли по полотну.

Скоро все кончилось. Слышался еще только треск горящих патронов.

Горячо обнимаю виновника этого горячего дела.

— Не задет?

— От большевиков Бог миловал, — улыбнулся Марков. — А вот свои палят как оглашенные. Один выстрел над самым ухом — до сих пор ничего не слышу».

Оказалось, что личный состав бронепоезда состоял из матросов Черноморского флота. Марков был в восторге от их стойкости.

— Я ценю мужество, пусть даже это мужество проявляет мой враг, — взволнованно говорил он Деникину. — Представляете, ваше превосходительство, у горящего вагона прямо на меня набросился матрос. Хотел прикончить. А одежда на нем горит! Так я, прости меня, Господи, вместо того чтобы всадить в него пулю, бросился сбивать огонь подвернувшейся под руку плащ-палаткой! Вы уж не осуждайте меня, ваше превосходительство! Они ведь тоже люди и тоже исполняют приказ.

— Смотрите, чтобы такой гуманизм не обернулся против вас, — мягко сказал Деникин. — Мне уже доклады вали, как вы трех раненых пленных отпустили.

— Виноват, — смутился Марков. — Но посудите сами, ваше превосходительство, какой вред могут принести нам тяжелораненные красные?

— Нам вот предстоит оставить своих раненых, — сказал Деникин. — Что будет с ними? Если бы я был ранен и знал, что меня оставляют, — предпочел бы застрелиться.

15

Из записок поручика Бекасова

Итак, я пробирался на Кубань весной, тем временем года, которое особенно любила моя матушка, эмигрировавшая сразу же после революции во Францию. Наверное, и мне передалась эта ее любовь к весне: казалось, вместе с возрождением природы возрождаются и люди.

Правда, весна восемнадцатого года в России была совсем не радостной. Старая Россия рухнула, новая корчилась в муках, истекая кровью междоусобной войны, и чудилось, что войне этой не будет ни конца ни края. Я понимал, что те силы, которые не приемлют революции и того режима, который утвердился в результате прихода к власти большевиков, никогда не смирятся с переворотом и будут биться с Красной Армией не на жизнь, а на смерть.

И все же, несмотря ни на что, я радовался жизни. Еще бы: ведь я был молод и устремлен в будущее, не особенно даже задумываясь, каким оно предстанет передо мной. То было время, когда я еще не испытал горьких потерь и во мне жила наивная уверенность, что впереди меня ждет только счастье.

И потому меня вдруг обуял неведомый ранее дух авантюризма, желания головокружительных приключений. Я вдруг почувствовал себя человеком, способным влиять на ход истории. Там, на Восточном фронте, в общем строю, я был, в сущности, пешкой, там я был постоянно под неусыпным контролем старших начальников, и особенно комиссаров, которые всюду — где надо и где не надо — искали измену. Здесь же, если говорить возвышенным «штилем», на шахматной доске истории я был ферзем: сам получил возможность принимать решения и сам за них отвечал только перед собой. Душа моя переполня-

лась радостью от сознания того, что на данном участке фронта белые понесут поражение потому, что их очередной ход станет известен красным, — известен благодаря мне; я мог сделать и так, что поражение потерпят красные из-за вовремя не сообщенных им планов белых... Сознание всего этого делало меня в собственных глазах человеком особым, исключительным: я мог позволить себе откровенно смеяться и над теми и над другими. Меня огорчало лишь одно: все мои действия, какими бы хитроумными они ни были, не будут преданы огласке и будут тешить только мое самолюбие. Может быть, пытался утешить я себя, когда пройдут годы, вспомнят и о бойцах «невидимого фронта», и тогда на страницах новой истории появится и мое имя. Лишь бы только дожить до этих дней, лишь бы слава не пришла посмертно, когда тебе уже будет решительно все равно.

Такими сумасбродно-честолюбивыми мыслями была переполнена моя голова, когда я пробирался на Дон. Наверное, из-за того, что наш поезд на многочисленных остановках, словно племена дикарей, осаждали обезумевшие люди, что мне все время смертельно хотелось есть, что в любой момент во мне могли заподозрить недобитую контру и в лучшем случае на ходу выкинуть из поезда, я торопил время, чтобы поезд поскорее пришел в Ростов, в этот прекрасный южный город на берегу прославленного Дона.

Да, Ростов, Ростов! Зеленый, весь в бульварах и садах, уютно распластавшийся на высоком берегу Дона, он как бы устремлял свои взоры и на север, где в туманной дымке таилась Москва, и на юг, где гордо высились горы с их снежными вершинами, воспетыми великими поэтами России.

Я помнил Ростов прежних времен, когда был еще подростком, — меня очаровывало здесь все: и великолепный Дон, окаймлявший город, и неповторимый сладостный запах цветущих акаций на пороге жаркого кавказского лета, и музыка духовых военных оркестров в просторных парках, с их аллеями и фонтанами, и буйство зелени в центре и на живописных окраинах, где даже улицы зарастали травой.

Теперь же город стал совершенно другим, он как бы онемел, ожесточился, до неузнаваемости изменив свое

лицо. Стены многих домов в центре были изрешечены пулями, улицы пребывали в таком запустении, будто город навсегда покинули жители, а те из них, кто рехался выйти из дома, спешили так, словно за ними гнались. Даже запах буйно расцветших акаций, составлявших зеленое ожерелье улиц, казался сейчас не таким сладостным, как прежде.

Побродив по улицам, я, едва сгустились сумерки, направился на явочную квартиру, адрес которой мне дали чекисты еще в Москве. Селиться с гостинице мне было строжайше запрещено, так как там пришлось бы регистрироваться.

Нужный дом пришлось искать долго. Я почти час проплутал по темным улицам, благо, дождя в Ростове не было, видимо, давно и улицы были сухими. Наконец я оказался в небольшом переулке и с радостью разглядел искомый номер дома. Кирпичный дом, довольно старый и невзрачный, находился в глубине двора и был окружен большим садом, что придавало ему вид таинственный и сумрачный. В окнах, смотревших на улицу, не светилось ни единого огонька, и я вначале предположил, что в доме никто не живет и что моего появления здесь не ждут.

Но я ошибался. Едва я подошел к крыльцу и три раза дернул за ручку звонка, как массивная скрипучая дверь сразу же приоткрылась и из-за нее послышался негромкий, очень мелодичный женский голос:

— Кто там?

Голос этот был удивительно приятного певучего тембра, каким часто бывают наделены женщины-южанки. То, что открыл дверь не мужчина, меня очень насторожило: ведь на инструктаже было совершенно определенно сказано, что хозяин явочной квартиры — именно мужчина — Григорий Маркович. И я было подумал, что ошибся адресом, решив как можно скорее уйти.

Но не успел: женщина уже стояла на пороге. Скорее, не женщина, а еще совсем юная девушка. В темноте я слабо различил ее лицо, лишь белое летнее платье отчетливо проступало в проеме двери.

— Сегодня мы не ждали гостей, — негромко произнесла она, даже не поздоровавшись со мной.

Я вздрогнул: она произнесла те самые слова, которые должен был произнести хозяин явочной квартиры! И мне ничего не оставалось, как ответить словами пароля:

— А я как раз тот гость, которого вы ждете. — Это была лишь первая часть пароля.

— Вам нравится Ростов? — спросила девушка.

Я начал успокаиваться: все идет по разработанному сценарию. И ответил, как мне было предписано:

— Обожаю запах цветущих акаций!

«А они там, в ЧК, не лишены чувства лирики, недаром Дзержинский, говорят, очень любит поэзию», — подумал я, ожидая, что она мне скажет в ответ.

— Помните романс «Белой акации гроздь душистые»?

— Еще бы! — радостно ответил я: все в точности сходилось, я попал туда, куда надо.

— Входите, — приветливо пригласила она, и я переступил порог дома.

— Минуточку, я зажгу свечу, — предупредила девушка.

Вспыхнуло пламя свечи, и я вошел в комнату и огляделся. Обычная гостиная небогатого, но уютно обставленного дома. Прохлада, сразу ощутимая после дневной жары. Картина над громоздким диваном в тяжелой багетной раме. Гитара, висящая в простенке. Окна, закрытые ставнями. «Вот почему в них не светился огонь», — сообразил я.

Впрочем, это были только беглые наблюдения, потому что я тут же устремил любопытный взор на молодую хозяйку, приблизившуюся ко мне.

И обомлел: кажется, уже давно я не видел юную девушку столь ослепительной красоты! Красоты южной, дерзкой, вызывающей, как и все южное, трепетное чувство в душе и сладкую истому в теле. Поначалу я принял ее за цыганку: копна черных волос, жгучие глаза, которые, чудилось, светятся даже в полутьме, яркие, сочные губы, будто созданные для жарких поцелуев. Склонный к литературным ассоциациям, я мысленно окрестил ее Земфирой, той самой пушкинской Земфирой, в которую безумно влюбился Алеко.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — почти ласково

пригласила она, и первая грациозно опустилась в старомодное кресло. — Вы конечно же очень устали в дороге?

Естественно, я чертовски устал, но какой молодой человек будет в том признаваться юной девушке?

— Не беспокойтесь, — торопливо ответил я, — хотя дорога была и трудной, я вовсе не утомлен.

— И все же советую вам немного отдохнуть, прежде чем мы начнем беседовать по существу дела. Пойдемте, я проведу вас в ванную, вы сможете освежиться. Правда, горячей воды давно нет, да и холодная бывает редко. Водопровод не работает, я солью вам из кувшина. Зато вода прямо из колодца, ледяная!

Я согласился. Мы прошли в крохотную ванную, и, наклонившись над мойкой, я сложил ладони, ожидая, что хозяйка нальет в них воды.

— Думаю, что вам лучше раздеться хотя бы до пояса. — Я уловил в ее тоне легкую насмешку. — А вообще-то я, прежде чем идти сюда, искупалась бы в Дону.

Я смущенно молчал. Немного поколебавшись, снял рубашку: по натуре я был очень застенчив и стеснялся обнажаться в присутствии женщины.

— Да вы не смущайтесь! — послышался ее короткий смешок. — Неужто война не успела вытравить в вас чувство стыда?

Вопрос этот показался мне нескромным и неэтичным. «Кажется, из тебя война уже начисто вытравила все на свете», — с неприязнью подумал я. Мне никогда не нравились женщины с грубыми манерами, забывающие о том, что они женщины. И поэтому ничего не ответил.

— Обещаю вам быть такой же целомудренной, как и вы. — Теперь уже в открытую засмеялась она, чем привела меня в еще большее смущение. — Честное слово, на войне целомудренность дорого стоит, она столь редка, что все время поднимается в цене. И все же снимайте-ка свою рубашку, вымойтесь хорошенько, воды у меня хватит. Сразу почувствуете, что словно заново родились на свет.

Я повиновался. Она была права: я ожил под струями холодной воды и был благодарен ей за настойчивость.

— Обтершись мохнатым полотенцем, я хотел было уже выйти из ванной.

— Вы не снимете усталости, пока не вымоете ноги, — сказала хозяйка. — И чтобы не пробуждать в вас чувство стыдливости, оставляю вас одного и жду в гостиной.

Вернувшись в гостиную, я увидел уже накрытый стол. Тут не было деликатесов, зато было то, что я любил с детства: в тарелках оказалась самая настоящая окрошка!

— Да вы просто волшебница! — воскликнул я. — Так угадать мои желания!

— Да, я — волшебница, — с гордостью подтвердила она. — И в этом вы еще не раз убедитесь.

Мне так хотелось поскорее приняться за окрошку, что я не придал особого значения ее словам.

— Чувствуйте себя как дома, — пригласила она, и я без принятых в таких ситуациях церемоний быстро уселся за стол и взял деревянную расписную ложку.

— Нет-нет, так дело не пойдет, — остановила она меня. — Разве нет повода выпить за ваше благополучное прибытие?

С этими словами она достала из-под стола припрятанную там пузатую бутылку.

— Это — цимлянское, — пояснила она. — Конечно, многие считают, что ему далековато до французских вин, но что касается меня, то это мое любимое. Понимаю, что вам, как мужчине, хотелось бы чего-нибудь покрепче, но увь! Придется довольствоваться этим. Привыкайте к моим вкусам!

«Кажется, скоро она будет повелевать мной как своим рабом», — промелькнуло у меня в голове, но я был столь голоден, что тут же отбросил эту мысль, посчитав ее вздорной.

Хозяйка наполнила вином большие керамические кружки. Вино запенилось, возбуждая желание тотчас же попробовать его.

— Вы уж извините, что будем пить не из хрустальных бокалов. Наверное, вас это должно покоробить, ведь, насколько мне известно, вы — потомок старинного дворянского рода.

— Боже мой, какие нежности при нашей бедности! — небрежной шуткой отозвался я, не отвечая на вопрос и

стараясь манерой вести разговор подладиться к ней. — Ведь главное — не форма, а содержание, не так ли?

Теперь на мой вопрос не ответила она, и я немедленно, едва ли не залпом, осушил кружку.

— И вам не стыдно, поручик? — смеясь, спросила хозяйка. — Ведь мы с вами даже не чокнулись. А вы уж, разумеется, знаете, что древняя традиция — чокаться перед тем как выпить — не просто формальность. Наши предки были мудрыми, считая, что таким вот нехитрым способом они изгоняют из своих чарок злых духов.

— Прошу меня извинить! — воскликнул я. — Но льщу себя надеждой, что, если вы снова наполните наши кубки, я смогу исправиться.

— Это вас в какой-то степени извиняет, — миролюбиво проговорила девушка. — Однако мы общаемся с вами уже довольно продолжительное время, а еще даже не познакомились. Меня зовут Люба. А как прикажете величать вас?

«Однако даже война и чрезвычайные обстоятельства, в которых мы вынуждены находиться, не мешают тебе кокетничать», — уже с радостью подумал я: цимлянское давало о себе знать. Вскочив из-за стола, я по-офицерски уронил голову, обозначая поклон и уважение.

— Дмитрий Бекасов. Обычное русское имя. Можно просто Дима.

— Хорошее имя, — оценила Люба. — А в фамилии вашей звучит нечто тургеневское.

— Тургеневское? — удивился я.

— Конечно, тургеневское. Из «Записок охотника».

— Простите, но в этой книге...

— Понимаю, персонажа с фамилией Бекасов там нет. Но вот бекасы... Вы же не станете отрицать, что среди охотничьих трофеев Тургенева были и бекасы?

— Мне остается надеяться, что вы не отнесете меня из-за моей фамилии к разряду своих охотничьих трофеев? — я уже выпил третий «кубок» и становился, помимо своей воли, все развязнее. Однако это, похоже, не смутило ее.

— Кто знает, кто знает! — загадочно и с еще более заметным кокетством воскликнула Люба. — Разве мы обладаем пророческим даром предугадывать свою судьбу?

— Да, вы правы. — Я посерьезнел. — В наше время предсказание судьбы — занятие безнадежное. — Я внимательно посмотрел на нее и с тревогой подумал о том, что, наверное, долго не смогу забыть эту женщину. — Но вы же — цыганка? Не станете отрицать? А цыгане — прекрасные предсказатели.

— К сожалению, я не цыганка, хотя мне все говорят, что во мне есть что-то цыганское. Я — терская казачка.

— Марьяна из Старогладковской? — пошутил я, вспомнив «Казачков» Толстого.

— А вам не кажется, Дмитрий, что мы чрезмерно увлеклись литературными образами, — неожиданно охладила она меня. — Пора поговорить о деле.

— Я ждал этого, — поддержал я ее озабоченный тон. — Но прежде я хотел бы выяснить один крайне важный для меня вопрос.

— Какой же? — насторожилась она.

— В этом доме я должен был встретиться с женщиной. А встретил вас.

— Ничего удивительного, — поспешно ответила она. — Вам не следует тревожиться. Григорий Маркович вынужден был срочно выехать в Новочеркасск и все дела он переложил на мои хрупкие плечи.

— Понятно. — Я решил больше не задавать вопросов, которые сейчас могли быть неуместными.

— Я в курсе вашего задания, — продолжала Люба, и я поразился, насколько быстро она превратилась из обаятельной, кокетливой девушки в серьезного, делового агента. — На мою долю выпала задача облегчить вам его успешное выполнение. Хотите, я коротко обрисую вам обстановку, в которой вам предстоит работать?

— Безусловно, хочу, — поспешил заверить ее я, чувствуя, как хмель постепенно выветривается из моей головы.

— Так вот, слушайте. Вы, наверное, знаете, что, отправляясь на Дон, Деникин и другие генералы, прежде всего Корнилов, рассчитывали на активную помощь донского казачества. Прежде всего на генерала Каледина. Отсюда и избранный ими маршрут — Новочеркасск. Надеюсь, имя «Каледин» вам что-либо говорит?

— Конечно, — подхватил я. — Мне о нем много рассказывал отец. Ведь они вместе воевали на русско-гер-

манском фронте. Каледин сменил Брусилова на посту командующего Восьмой армией и особенно отличился во время известного наступления весной и летом шестнадцатого года. А когда Брусилов стал Верховным главнокомандующим, то тут же снял Каледина с должности. В июне прошлого года Донской войсковой круг избрал Каледина атаманом. Отец рассказывал, что он — человек завидного мужества. Чего стоит эпизод, когда Каледин в ходе ожесточенного боя спокойно сидел в Карпатах на горном утесе вместе с Деникиным. А ведь был жесточайший обстрел наших позиций противником!

Я намеренно рассказывал обо всем этом слишком странно, чтобы показать свои знания.

— Все, что вы рассказываете, — увы, уже в прошлом, — прервала меня Люба. — А значит, принадлежит истории, не более того. Нам же, вернее, прежде всего вам нужно в деталях знать о том, что происходит сегодня, и по возможности предугадать, как будут развиваться события завтра.

— Согласен и умолкаю. — Я изобразил из себя послушного подчиненного.

— Так вот, теперь уже можно сказать, что вожди Белого движения, мягко говоря, переоценили возможности донского казачества, как, впрочем, и кубанского, и терского, — с некоторой иронией произнесла Люба. — Казачество боится, что его втянут в новое кровопролитие. Большевизм, как зараза, въедается в казаков. И Каледин лучше всех понимает, что генералам и офицерам, бегущим на Дон, грозит смертельная опасность. Когда Деникин приехал наконец в Новочеркасск, Каледин, с одной стороны, был рад встрече со своим боевым сослуживцем, а с другой — откровенно предупредил его, чтобы тот, пока не прояснится обстановка, благоразумно переждал бы события где-нибудь на Кавказе или в кубанских станицах. Хотя и уверял, что на Дону приют ему обеспечен. Но, сами понимаете, Деникин приехал сюда вовсе не для того, чтобы искать место для отдыха, а для того, чтобы, собрав силы, воевать с большевиками. Каледин откровенно рассказал Деникину, что обстановка на Дону для организации Белого движения в настоящий момент крайне неблагоприятна. — Люба немного помолчала. —

Кстати, Деникин был поражен той переменой, которая произошла с Калединым. Он увидел человека, который словно враз постарел, осунулся и был придавлен страшным горем. Он рассказывал, что глаза у Каледина были усталые, потухшие. А причина была одна — он уже не верил, что можно преодолеть катастрофу и победить красные войска, которые идут на Дон.

— И что же Деникин? — нетерпеливо спросил я.

— К его чести, не затаил обиды. Вы же знаете его — он не держит зла, а ведь это прекрасное качество человека, недоступное многим. Он решил последовать совету Каледина и до приезда в Новочеркасск Корнилова перебрался с Марковым на Кубань. А в начале декабря, едва Корнилов появился в Новочеркасске, он со своими сподвижниками тотчас же вернулся назад. Вы что-нибудь слышали о Савинкове?

— Почти ничего, — слукавил я, давая ей возможность подробнее проинформировать меня о всех деятелях Белого движения.

— Авантюрист высшей пробы! — запальчиво воскликнула Люба, будто я противоречил ей, доказывая обратное. — Вы, наверное, не знаете о том, что в свое время он предлагал генералу Краснову сместить Керенского и возглавить Временное правительство? И в то же время заискивал перед Керенским. Белое движение едва начало делать первые шаги, как этот хищный ястреб, нет, скорее, черный ворон примчался в Новочеркасск. И тут же явился к генералу Алексееву, затем к Каледину. Он пытался доказать, а красноречия ему не занимать, что Белое движение обречено на неминуемый провал, если его будут возглавлять только генералы. Он утверждал, что такое движение народ не поддержит, ибо увидит в нем лишь контрреволюцию, решившую возратить прошлое. А вот если он, Савинков, и его соратники включатся в борьбу, разумеется при условии предоставления им высоких должностей, то это уже будет воспринято как движение демократическое.

— И что же генералы? — Я сгорал от нетерпения узнать все до малейших подробностей. У меня в голове уже вырисовывалось содержание того первого донесения, которое я отправлю в Москву.

— Неужели вам не понятно? — укоризненно спросила Люба. Кажется, в этот момент она стала разочаровываться во мне как в разведчике. — Генералы этого Савинкова на дух не переносят. И все же — ну не парадокс ли это?! — он таки поколебал Алексева и Каледина. Алексеев сказал, что считал бы полезным привлечь к организации движения людей левой ориентации. А Каледин даже решил, что участие таких людей уменьшит давление на него социалистов в среде казачества. И только Деникин выступил против. Он прямо сказал, что считает Савинкова человеком глубоко аморальным, не брезгающим ничем, когда дело касается его личной карьеры и личной выгоды. И что участие Савинкова и его группы правых эсеров в Белом движении не даст Добровольческой армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернет на стезю государственной деятельности ни одного донского казака, а лишь вызовет недоумение, а то и протест среди офицеров.

— С Савинковым все ясно, — прервал я Любу, почувствовав, что она уходит от главного. — Мне было бы куда интереснее и полезнее узнать, каково сейчас положение тех войсковых сил, которыми командует Деникин.

И сразу же почувствовал, что сделал промашку: Люба как-то удивленно посмотрела на меня.

— Впрочем, — решив смягчить ситуацию, добавил я, — я не могу и не хочу влиять на содержание тех сведений, которые вы сочтете возможным сообщить мне. Считайте это проявлением любопытства.

— Кажется, вы далеко уже не мальчик, — заставила себя улыбнуться Люба и посмотрела на меня уже чисто по-женски.

— Увы, — только и смог промолвить я.

— Скажу лишь, что вы зря не принимаете в расчет Савинкова. Тем более что он сыграл определенную роль и в вашей судьбе.

— В моей судьбе?! — Я был как громом поражен. — Каким образом?

— Об этом не сейчас, — отсекала она мой нетерпеливый вопрос. — Разумеется, вы вправе спросить о положении войск, которые противостоят большевикам. На весну этого года численность армии — около четырех тысяч человек, отборные, преданные белому делу люди. Армия все время

пополняется, исключительно на добровольных началах: каждый доброволец дает подписку прослужить четыре месяца, беспрекословно повинуюсь своим командирам.

«Господи, — моему удивлению не было предела, — и это говорит мне красивая молодая женщина, назначение которой — любить и быть любимой, а не излагать сухонным языком сведения, которые гораздо естественнее звучали бы из уст какого-нибудь хорошо осведомленного штабиста».

Люба продолжала все так же деловито и серьезно:

— Положение армии не из легких. С января этого года офицерам положен оклад сто пятьдесят рублей в месяц, солдатам — пятьдесят рублей. Хотя деньги совершенно обесценены и суммы эти — нищенские! С вооружением пока тоже плохо. У донских казаков на складах полно всякого оружия и боеприпасов, но попробуйте взять у них хоть одну винтовку! Тут надо действовать или с помощью обыкновеннейшего воровства, или же путем подкупа. Поначалу в армии не было ни обоза, ни полевых кухонь, ни теплых вещей, ни сапог. Не далее как два месяца назад добровольцы украли два трехдюймовых орудия в одной из дивизий, самовольно бросивших Кавказский фронт против турок. Да-да, отряд совершил набег верст за полтора от Новороссийска и силой отбил эти орудия. Два других орудия украли на войсковом складе у донских казаков. Одну батарею купили у вернувшихся с германского фронта казаков-артиллеристов. Это стоило командиру Георгиевского батальона полковнику Тимановскому десять бутылок водки и пять тысяч рублей.

— Безрадостная картина, — заключил я. — Выходит, большевики зря так опасаются Добровольческой армии?

— Не скажите, — горячо возразила Люба. — Армия растет и обещает постепенно превратиться в грозную силу. Если бы донские казаки пошли за Калединым и соединились с Добровольческой армией, она уже сейчас была бы способна прогнать красных со всего Северного Кавказа. Трагедия Каледина в том, что казаки, по существу, предали его. Вы, наверное, слышали, что Каледин застрелился?

— Да-да, до меня доходили эти слухи, но, честно говоря, я им не верил.

— Увы, слухи эти соответствуют действительности. — Люба произнесла эти слова с печалью.

— Было немало и таких фактов, — продолжала она, — когда казаки выдавали офицеров большевикам за приличное вознаграждение. Но, повторяю, армия растет, набирает силу. Она все время пополняется офицерской молодежью. Прекрасные юноши! Недавно один из таких юнцов старался изо всех сил доказать, что ему уже шестнадцать лет и что он имеет полное право служить добровольцем. Другой спрятался под кроватью, когда его пришли разыскивать родители. Оказывается, этот юнец вручил им фальшивое удостоверение, согласно которому он зачислен в один из батальонов.

Рассказывая обо всем этом, Люба не сообщала мне главного: каковы сегодня планы Добровольческой армии. Это меня настораживало, хотя я и понимал, что она могла этого не знать.

— В феврале Добровольческая армия вынуждена была покинуть Ростов, — снова заговорила Люба. — Кстати, знаете, какое письмо написал из Ростова генерал Алексеев своим близким?

— Любопытно узнать.

— Я запомнила несколько фраз, — похвасталась Люба. — Вслушайтесь в них, они звучат как музыка: «Мы уходим в степи. Можем вернуться, только если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы». Каково?

— Прекрасные строки! — Я постарался вложить в свои слова как можно больше искренности. — Что ж, по своему эти люди тоже любят Россию.

Люба задумчиво посмотрела на меня.

— Давайте еще по бокалу цимлянского, да пора и отдохнуть, — неожиданно предложила она. — Честно говоря, я устала от такого делового и, признаюсь, скучного разговора. Но Григорий Маркович велел мне ввести вас в курс дела, чтобы помочь как можно лучше выполнить вашу миссию!

— А каковы наши планы на завтра? — поинтересовался я.

— Утро вечера мудренее, — уклонилась она от отве-

та. — Вам следует отдохнуть перед дальней дорогой. Думаю, что вы будете спать богатырским сном.

— Разве можно говорить о сне, находясь рядом с вами? — Меня вдруг потянуло на комплименты, хотя глаза уже слипались: безумно хотелось спать.

— После такой дороги — можно. Устраивайтесь на ночлег в спальне, — распорядилась Люба.

— А вы? Я не стесню вас? Предпочел бы уступить вам спальню, сам же вполне могу устроиться вот на этом диване. Он такой широкий и удобный.

— Я не привыкла укладывать гостей на диванах, — улыбнулась Люба. — Вы что, забыли традиции кавказского гостеприимства?

«После такой улыбки мне, кажется, будет не до сна», — подумал я и пожелал Любе спокойной ночи.

Уже лежа в постели и вспоминая недавнюю беседу, я вдруг поразился одному обстоятельству, на которое во время разговора не обратил внимания. Люба рассказывала о Добровольческой армии и ее генералах совсем не так, как это должен был делать связной — тайный агент красных. Не враждебность, а сочувствие Белому движению — вот что отчетливо проявлялось во время нашей беседы... «Вероятно, это какой-то хитроумный трюк опытной разведчицы, предпринятый с целью моей проверки», — не найдя другого объяснения, решил я и заснул.

Не знаю, долго ли я спал, но что-то заставило меня пробудиться.

В комнате было темно, но в этой тьме колебалось светлое пятнышко. Я понял, что это был огонек горящей свечи. Я шире раскрыл глаза и вдруг увидел, что рядом с моей кроватью стоит со свечой в руке совершенно нагая женщина. В первый момент мне почудилось, что все это я вижу в прекрасном сне, но, взглядевшись попристальнее в лицо женщины, понял: да ведь это же она, Люба!

Увидев, что я проснулся, Люба поставила свечу на тумбочку, не погасив ее, и с негромким смехом сбросила с меня простыню, которой я укрывался. Откровенно скажу, что я привык спать нагишом, ночью меня стесняли даже трусы. Надо ли уточнять, что сейчас я предстал перед Любой во всей своей «красе».

Не произнеся ни единого слова, Люба стремительно легла в постель и очутилась в моих объятиях.

Я растерялся от неожиданности. Но мужское желание пробудилось во мне с такой яростью, что я не раздумывая схватил Любу в охапку, намереваясь опрокинуть ее на спину, как это и делается в таких случаях. И тут же ощутил Любино сопротивление, почувствовав, что эта девушка наделена поистине мужской силой.

— Не торопись, я сама хочу вести тебя, — задыхаясь, прошептала она.

Страсть ее была такой буйной и сумасшедшей, какой я еще никогда не испытывал, хотя мне уже приходилось иметь дело с женщинами. Она стонала, впивалась в мои губы зубами, как кошка, царапала мои плечи и спину ногтями. Весь поглощенный плотскими желаниями, я был в совершеннейшем восторге.

«Неужели она отныне будет моей? Будет навсегда?» — спрашивал я себя, уже страшась даже мысли о том, что она когда-нибудь покинет меня. Мне казалось, что без этой женщины я не смогу жить.

Мы забыли обо всем: о революции и о войне, о красных и белых, об опасностях, которые ждут нас впереди, о неизведанном будущем...

Очнувшись мы от любовных утех лишь на восходе солнца. Где-то совсем рядом прокричал петух, его задорное кукареканье вызвало на моем лице улыбку: это не заполюшная Москва с ее лязганьем трамваев по рельсам или туком копыт битюгов по булыжной мостовой, это Ростов — полугород, полудеревня, и как это чудесно, как сладостно веет от этого петушиного кукареканья детством, милым моим детством!

— Чего ты улыбаешься? — насторожилась Люба. — Наверное, смеешься надо мной? И осуждаешь?

— Восхищаюсь! — успокоил я ее, обняв так крепко, что она застонала. — Ты — само чудо, сама мечта!

— Все мужчины так говорят, — усмехнулась Люба.

«Сколько же у тебя было этих мужчин. — Я почувствовал, как во мне подспудно зарождается ревность, но тут же подумал: — Да если бы она не знала мужчин до встречи со мной, разве могла быть столь огненно-страстной?»

Мы долго лежали умиротворенные и счастливые тем, что доставили друг другу столько упоительного счастья. Наконец Люба заговорила.

— Скажи, Дима, — легко и свободно она перешла на «ты». — Зачем люди воюют? Разве можно уничтожить друг друга ради каких-то идей? Или из-за того, чтобы переделить богатство? Как было бы прекрасно, если бы люди просто жили — любовью, простыми человеческими мечтами, надеждами, восхищались прекрасным, принимали друг другу только радость!

Мне не хотелось философствовать, и я, лишь для того чтобы показать, что внимательно ее слушаю, изредка повторял:

— Да, да, ты права, права!

— Увы! Нам предстоит воевать и воевать. И как хорошо, что мы умудряемся еще и любить. Даже когда гремят бои.

Мне неприятно было слышать эти слова. Я вдруг увидел, как на поле боя, под свистом пуль Люба предается любви с каким-нибудь добровольцем, радуясь, что этим она бросает вызов ненавистной войне. И несколько и сам настроился на философский лад.

Утверждают, мысленно рассуждал я, что кроме людей искренних существуют еще и лицемеры. Ложь! Я утверждаю, что все человечество насквозь пропитано лицемерием. И если оно станет с негодованием отвергать это мое убеждение, то пусть ответит мне на простейший вопрос: почему оно, человечество, дикие оргии половой жизни, полные бесстыдства и звериной похоти, прикрывает для маскировки святым и чистым словом — любовью? Почему? Почему ставшая до наглости банальная фраза «Я тебя л ю б л ю», которой вопиют во все века все континенты земли, в переводе на простой житейский язык означает почти всегда «Я тебя х о ч у»?

Пусть ответит. Уверен, что ответа не будет, а я буду заклеен как злостный циник и законченный мизантроп.

Мне вдруг захотелось поделиться этими мыслями с Любой, но я вовремя остановил себя. Зачем? Все равно в этом мире ничего не изменится: ни Люба, ни я, ни война, в оборот которой нас ввергли люди, которым непонятно, что на свете нет ничего выше любви. Эта моя мысль

входила в явное противоречие с предыдущей, но разве вся наша жизнь не соткана из сплошных противоречий?

— В одном часе любви — целая жизнь, — слышался словно издали голос Любы, и она поцеловала меня. — Ты не презираешь меня за то, что я сама к тебе пришла?

— Я боготворю тебя! — Мое восклицание было совершенно искренним. — Кстати, ты прекрасно знаешь литературу. Ты только что произнесла фразу Бальзака, не так ли?

— Нет, это Бальзак позаимствовал ее у меня! — задорно пошутила Люба и, встав с постели, стала одеваться.

— Каковы наши дальнейшие планы? — поинтересовался я.

— Сейчас поедем в Егорлыцкую, — коротко и уже поделовому ответила Люба.

— Почему именно в Егорлыцкую? — Название этой станицы мне ничего не говорило.

— Тебе же надо к Деникину? Вот потому-то и в Егорлыцкую.

16

Из записок поручика Бекасова

Солнце уже садилось, когда мы вышли к берегу Дона, где нас должна была поджидать бричка с нанятым Любой казак. Она заверила меня, что казак этот надежный, стоит за красных и ни разу не был уличен в предательстве. После того что у меня произошло с Любой этой ночью, я полностью доверился ей.

Перед тем как выйти из дома, Люба велела мне переодеться в простую и изрядно поношенную крестьянскую одежду — длинную рубаху из грубого полотна и яловые сапоги, порыжевшие от времени. Сама тоже переделалась в старенькое ситцевое платьице, хотя и в нем она была все так же обаятельна. Это дало мне повод сказать ей шутливо: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Про себя же подумал, что для той роли, которую ей предназначили, она была слишком броской, а потому крайне уязвимой.

Люба благоразумно решила, что ехать мы будем только с наступлением темноты, а день переждать где-нибудь в степи, укрывшись в кустарнике или же в копне сена.

Это ее решение охотно одобрил рыжебородый казак, назвавшийся Лукой. Я сразу заметил, как жадно глянул он на Любу своими бесцветными водянистыми глазами, в которых сверкнул плотоядный огонек.

— Располагайтесь в ивняке, — посоветовал он. — Там холодок и можно скорониться от дурного глаза. А я туточки, под яром, в заводи с удочкой посижу. Авось и уху сварганим.

Место, в котором мы обосновались, было и впрямь скрытное. Берег порос густым ивняком. В этом месте Дон делал крутой поворот, словно ему надоело нести свои спокойные мощные воды напрямик. Берега здесь были очень живописны, крутояры отливали золотом. Волна лениво лизала прибрежный песок. Мы с Любой вволю накупались, пока не начали сгущаться сумерки. Купались нагишом и уже совершенно не стеснялись друг друга. Мне чудилось, что я знаю Любу и живу с ней много лет.

Наконец вернулся Лука. В руке он держал кукан из толстой ивовой ветки, на котором висел громадный сазан.

— Какое чудо! Ай да рыбак! — радостно воскликнула Люба, и казак снова посмотрел на нее таким взглядом, каким, вероятно, смотрит на желанную добычу хищник.

Лука сноровисто развел костер из сушняка, которого вдоволь валялось на берегу, воткнул в песок две рогатины, примостил на них ведро с водой.

— А ты, девка, — по-свойски обратился он к Любе, — давай чисть да потроши рыбину. Или не умеешь?

— Справлюсь! — пообещала Люба.

— Тады поспешай, пока вода не нагрелась, рыбу треба ложить в холодную воду. Вот тебе тесак.

Люба подошла к прыгавшему на траве сазану и принялась чистить сверкавшую серебром чешую. Сазан то и дело вырывался из ее рук, и она хохотала.

— Гарная казачка! — одобрил Лука. — Таперича сбегай к воде, сполосни его хорошенько.

Приняв из рук Любы вымытую рыбину, он порезал ее на крупные куски и положил в ведро. Потом очистил несколько крупных луковиц и опустил их в уже кипевшую воду.

— Дюже жаль — картошки нема, — сокрушенно произнес он. — Хорошо еще, сольцы с собой прихватил.

Вскоре уха была готова. От ее ароматного запаха у меня едва не закружилась голова.

— Хлебать будем из ведерка, — сказал Лука, — я с собой сервизов не вожу. А под ушицу у нас найдется?

— А как же! — задорно отозвалась Люба. — В Греции все есть!

— В какой такой Греции? — насторожился Лука.

— Страна такая есть, — пояснила, улыбаясь, Люба. На ее лице играли отблески костра.

— Та хай вона перевернется кверху днищем, та Греция! — весело сказал Лука. — Зато у нас Дон есть, и нам ничего больше и не треба!

Люба вытащила из сумки бутылку водки. Запасливая она была, Любушка!

Мы выпили из металлической кружки, передавая ее друг другу, закусили сочными солеными помидорами и принялись за уху. Она была прекрасна, да что там прекрасна — просто восхитительна! То ли потому, что мы успели изрядно проголодаться, то ли Лука был такой отменный мастер «сочинять» уху, то ли аппетит развился после доброй чарки...

— А таперича тронулись, — решительно сказал Лука, когда уже заметно стемнело и на небе зажглись звезды.

Лука запряг коней, которые паслись на прибрежном лугу. Мы сели в бричку на пахучее свежее сено. Лука громко чмокнул губами, кони с места пошли мелкой рысцой.

Над Доном всходила луна, вода в реке засеребрилась. Где-то в стороне города прогремели выстрелы. Потом все стихло.

— И кто ее, паскуду, просит светить? — возмущенно изрек Лука.

— Эх ты, Лука, — с укоризной сказала Люба. — Простая твоя душа. Ничего не смыслишь в красоте.

— Красотой сыт не будешь, — лениво отмахнулся тот.

Ехали мы долго, и я задремал, пока не почувствовал, что бричка остановилась.

— Дальше не поеду, — услышал я сердитый голос Луки. — Давеча в станице каких-то солдат видел. Переночуем в степу.

На все уговоры Любы ехать дальше он угрюмо молчал, давая понять, что он здесь хозяин и вопрос решен.

Когда к уговорам подключился я, пытаюсь доказать, что мы не можем терять время, так как очень спешим, он огрызнулся:

— На тот свет успеется. Опять же коням передых нужен, или как?

Я сразу догадался, что он лукавит, придумывая разные причины, чтобы заночевать в степи. Но делать было нечего, пришлось согласиться.

Луна поднялась высоко, и стало совсем светло. Лука быстро разыскал у лесополосы стожки свежескошенной травы.

— Лягайте, — почему-то усмехнулся он, кивая на стожок. — А я чуток в бричке сосну.

Мы с Любой повалились на сено. Я попытался сразу же привлечь ее к себе, но она сказала непривычно резко, отодвигая мои руки:

— Давай спать. Что-то я дюже притомилась.

«Что это она на казачий говорок перешла?» — подумал я, но подчинился. Мне и самому хотелось спать, тряска в этой чертовой бричке меня тоже утомила.

Не знаю, долго ли я спал, но внезапно пробудился, видя в этом луну, которая смотрела прямо мне в глаза. Я зажмурился и потянулся рукой к Любе. И сердце мое тревожно забилося: Любы рядом не было.

Страхнув с себя остатки сна, я сел на росистую траву и прислушался. Было тихо, спокойствие нарушал лишь монотонный стрекот кузнечиков. Неподалеку, привязанные уздечками к бричке, недвижно стояли кони.

И вдруг мне послышался тихий, но внятный стон. Я вскочил на ноги и стремительно обогнул стожок. И передо мной в лунном сиянии предстала ужасная картина: громадный Лука тискал лежавшую под ним Любу, задрал ей платье до самого лица. Он был так увлечен своим делом, что даже не услышал моих шагов. Люба извива-

лась под казаком почти так же, как еще совсем недавно извивалась подо мной.

В первый момент я пришел в такую ярость, что хотел было броситься на них и расправиться с обоими. Но рас-судок победил: без Любы я не попаду к месту назначения и провалю задание. Тогда еще для меня долг был превы-ше всего.

Я, мысленно проклиная себя, тихонько вернулся на свое место. Возня с другой стороны стога продолжалась еще долго, и я, нестерпимо мучаясь ревностью, придумывал разные варианты наказания, которыми покараю предательницу Любу за ее вероломство.

Заснуть я уже не мог, но сделал вид, что сплю, когда Люба вернулась и спокойно улеглась рядом со мной. Мне не терпелось наброситься на нее с упреками, но я сдер-жал себя...

Когда начало светать, Люба затормошила меня:

— Ты все спишь? Вот уж не думала, что ты такой ле-жебока!

«Она еще смеет подшучивать надо мной», — возму-тился я, но вслух ничего не сказал.

— У тебя плохое настроение? — осторожно осведоми-лась она.

— А почему оно должно быть хорошим? — не сдер-жался я. — Может, оттого, что ты, думая, что я сплю, ба-рахталась с Лукой?

Мой внезапный вопрос ничуть не смутил Любу.

— Да, барахталась! — воскликнула она весело и безза-ботно, будто совершила что-то такое, что должно было возвысить ее в моих глазах и чем я должен был несказан-но гордиться.

— Какая же ты, оказывается, дрянь! — не выдержал я. Глаза ее вспыхнули.

— Да, дрянь, и тем горжусь, — спокойно проговорила она. — А ты хочешь быть чистеньким? Хочешь нахо-диться в этой грязи, которую люди почему-то называют войной, и не замараться?

— Ты забыла слова, которые совсем недавно шептала мне там, в Ростове, — все более накаляясь, выпалил я. — Ты шептала мне на ухо, что чиста, как голубь! А ты, ока-зывается, просто змея.

— Да, я змея. — Она, кажется, решила всласть поиз-деваться надо мной. — Но неужели ты и впрямь дума-ешь, что мне было хорошо с этим Лукой точно так же, как с тобой? Ведь он взял меня силой.

— Я не хочу этого знать, бесстыжая тварь! — взревел я и с размаху ударил ее ладонью по щеке.

Она безропотно перенесла мой удар. Посмотрев на ме-ня как на злого ребенка, она тихо сказала:

— Спасибо тебе, Дима. Бей меня, казни, ну, ударь еще раз... Ты хочешь знать, почему я отдалась ему? — помол-чав, спросила Люба. — Причина только одна: я спасала тебя. Ведь Лука мог тебя убить. Он так и сказал мне: «Или ложись со мной, или я прикончу твоего хахала». А ты спал так крепко. Что же мне оставалось делать? Да ты не переживай, меня от этого не убудет. Все равно я никог-да не буду с другими такой, как с тобой.

В ее объяснении была своя земная и грешная логи-ка, а я все еще сомневался в правдивости ее слов. Долго ли ей было соврать, чтобы хоть как-то оправдать свой по-ступок?

— Ну прости меня, Дима, прости. — Она прильнула ко мне, и я ощутил ее слезы на своей щеке.

Во мне боролись противоречивые чувства: душила злоба и в то же время эту злобу пыталось перебороть чув-ство любви и нежности к этой непутевой, распутной жен-щине.

Видимо, чувствуя мое состояние, Люба принялась из-лагать мне свои житейские истины:

— Послушай, Дима. Ты согласен, что сама природа наделила нас желаниями, которые часто непреодолимы? И стоит ли противиться тому, что естественно?

— Ты лучше скажи, — не сдавался я, — ты лучше ска-жи, если ты отдалась ему не по своей воле, а лишь подчи-няясь грубой силе, почему ты так стонала? Выходит, те-бе было приятно?

— Дурачок ты, Дима. Ты бы посмотрел, что у него ви-сит между ног. Он же чистый жеребец. На моем месте ты бы не стонал, а визжал как резанный.

Эти слова уязвили мою мужскую гордость, и Люба, похоже, сразу же распознала мои мысли.

— Да ты не завидуй, Дима, тебя тоже природа не обде-

лила... Скажи, — уже игриво продолжала она, — ты читал Апулея? Ну, помнишь: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно процветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал»?

— Ну и что? — уставился на нее я.

— Уверена, что ты тоже «читал охотно Апулея» и, наверное, с восторгом. Все в нашем возрасте читают Апулея, только иные притворяются, что это мерзкое чтиво. А я много раз перечитывала, особенно одну новеллу.

— Какую же? — Я догадывался, что этими разговорами она пытается отвлечь меня.

— А помнишь, жена велела мужу почистить изнутри бочку для вина, тот залез в нее, а плутовка, склонившись над ней и отставив зад, давала ему всяческие советы, чтобы он делал это старательнее. И это в то самое время, когда ее любовник, обхватив ее сзади, выделял с ней все, что ему хотелось. Какая прелесть эта новелла!

— Снова убеждаюсь, сколь велики твои познания в литературе, особенно в такого рода, — грубо прервал ее я.

— Все равно мы с тобой будем вместе, так что принимай меня такой, какая я есть. А от пресной жены ты все равно сбежишь ко мне.

— В моих ближайших планах женитьба не предвидится, — резко ответил я. — Тем более после того, как я увидел, насколько коварными бывают женщины.

— Ты снова забыл, Дима, что я спасала тебя, — с неожиданной грустью произнесла она. — Ладно, хватит об этом, коль я тебя раздражаю. Но ты ведь знаешь пословицу: все, что Бог ни делает, все к лучшему. Зато теперь этот бородач доставит нас в Егорлыцкую быстрее, чем мы бы хотели. Вот увидишь, как он будет стараться.

Действительно, предсказание ее оправдалось. Лука гнал лошадей не жалея, был весел и негромко напевал казачью песню. Песня была грустной, а на бугристой физиономии Луки сияла откровенно наглая ухмылка. И, разумеется, песня его никак не гармонировала с его радостным настроением:

Тега-тега, гуси серые, домой.
Не пора ли вам наплаваться?
Не пора ли вам наплаваться?
Мне, бабеночке, наплакаться...

Вскоре, видимо поняв, что грустная песня противоречит его торжествующему состоянию, Лука запел другую:

Под горой, за рекой хуторочек стоит,
Молодая вдова в хуторочке живет...

Изредка, так, чтобы я не заметил, он ухмылялся и бросал многозначительные взгляды на Любу.

Мы уже подъезжали к Егорлыцкой, когда нас нагнали трое верховых в бурках.

— А ну стой, падла! — закричал один из них, загораживая конем дорогу бричке.

Лука натянул вожжи. Кони, брызгая пеной, остановились.

— Куда вас черт несет? — все так же громко, будто мы были глухие, заорал верховой.

Лука, не слезая с брички, широко осклабился, будто встретил своих хороших знакомых.

— Полковника Донцова знаешь? — негромко спросил он.

Что-то знакомое послышалось мне в этой фамилии, я попытался вспомнить, где и от кого я ее уже слышал. Верховые между тем ускакали.

Мы приближались к станице и вскоре подъехали к большому добротному дому на площади, окруженному пирамидальными тополями. Неподалеку спешивался эскадрон. «Вот они, добровольцы», — что-то радостное и в то же время тревожное екнуло в груди у меня.

— Ну вот, — сказала Люба, улыбаясь какой-то странной улыбкой. — Вот и конец нашему путешествию. Спасибо тебе, Лука, ты молодец, — похвалила она рыжебородого верзилу. — Надеюсь, мы еще поездим с тобой.

Лука заулыбался во весь свой шербастый рот:

— Мы что... Мы с превеликим удовольствием!

«Стерва! — во мне закипел гнев. — Бесстыжая стерва!»

Люба повела меня в дом, не обращая внимания на мое состояние. В прохладной горнице за письменным столом сидел массивный, чем-то похожий на Луку, только чернобородый мужчина с полковничьими погонами на широких плечах. У дверей застыл казак с винтовкой.

— Ваше превосходительство, задание выполнено, — четко, по-военному доложила Люба.

Полковник встал, сверля меня маленькими вьедливыми глазками, и улыбнулся Любе.

— Объявляю вам, ротмистр Клименко, благодарность от имени командующего, — с чувством произнес он, и я видел, как лицо Любы засветилось счастьем. — Отдыхайте, я непременно навещу вас вечером.

— Буду рада, ваше превосходительство! — радостно отозвалась Люба и, глянув на меня, вышла за дверь.

«Какой же ты идиот! — Я ругал себя самыми последними словами. — Попасться, сразу же так нелепо попасться! Так глупо, бездарно! Тупица, какая-то девка обвела тебя вокруг пальца!»

И тут меня осенило: «Донцов! Эту фамилию называл Петерс, когда инструктировал меня на Лубянке!»

Все прояснилось: едва добравшись до штаба Деникина, я тут же угодил прямо в лапы начальнику его контрразведки полковнику Донцову!

17

Из записок поручика Бекасова

Я сидел перед полковником Донцовым и смотрел на него глазами, в которых, как мне казалось, проступали смелость, чувство собственного достоинства и святая невинность обиженного ребенка. Еще бы: я был убежден, что легенда, придуманная для меня в ВЧК, достаточно надежна и абсолютно безупречна. Впрочем, я конечно же сознавал, что совершенства в природе не существует, но старался держаться так, что заподозрить меня в боязни вряд ли смог бы даже и сам начальник контрразведки.

Единственное, что страшно раздражало меня, так это то, что Донцов словно был близнецом Луки, которому просто-напросто выкрасили бороду другой краской. Сходство с Лукой злило меня по понятной причине: этот рыжебородый верзила теперь накрепко связывался в моих мыслях с изменщицей Любой, которой, как я был убежден, не было никакого оправдания.

— Ну-с, поручик Бекасов, — голос Донцова был визглив, — докладывайте, ангидрид твою в перекись мар-

ганца, все по порядку. Откуда вы, зачем к нам пожаловали, какое заданье получили и прочая, и прочая, и прочая. Я вас, ангидрид твою в перекись марганца, слушаю предельно внимательно, внимательнее просто не бывает.

Меня от его слов едва не взорвало, причем взбесили не вопросы, в которых я уже объявлялся заранее лицом подозреваемым, а вот это его омерзительное «ангидрид твою...», которое он вставлял едва ли не в каждую фразу. И я решил, что чем более резко и даже нагло я буду вести себя с этим Донцовым, тем выигрышнее будет мое положение.

— Господин полковник, — жестко и с явной иронией сказал я, — судя по вашей лексике, вы не иначе как окончили химический факультет.

— Забавно, очень даже забавно. — Донцов даже заерзал в кресле от неожиданности. — Кажется, вы решили, что именно я, а не вы есть лицо допрашиваемое. Впрочем, любопытно, на чем основаны ваши предположения?

Я возликовал: на этот раз он не вставил в свою речь этого «ангидрида».

— Ну как же, — слегка насмешливо ответил я, — если вы произносите словечко «ангидрид» с окончанием на букву «д», то вы имеете в виду химическое соединение, производное неорганических и органических кислот, к примеру серной и уксусной кислоты. И тогда каждый вправе заподозрить в вас химика. Но, паче чаяния, если вы говорите об «андигрите» с окончанием на букву «т», то это уже коренным образом меняет дело. Это уже минерал класса сульфатов, не так ли?

Терпеливо выслушав мое длинное объяснение, сильно смахивающее на фрагмент лекции по химии, Донцов посмотрел на меня весьма уважительно.

— Обожаю людей, начиненных знаниями. — Похвала послышалась в этих его словах. — И завидую. Однако спешу доложить, что в химиках никогда не ходил, а если говорить с полнейшей откровенностью, то в гимназии из всех предметов больше всего ненавидел именно химию. — Он помолчал, так и не согнав со своего широкоскулого лица приятной улыбки. — А вот в вас, поручик, вполне можно заподозрить химика. Впрочем, ангидрид

твою в перекись марганца, химичите вы в области, совершенно далекой от химии.

— Благодарю за комплимент, — учтиво ответил я.

— Впрочем, пора перейти к делу. Прошу вас, поручик Бекасов, говорить мне только правду и ничего, кроме правды. — Донцов поудобнее расположился на стуле. — Соответствуют ли истине имеющиеся у нас сведения о том, что вы сразу после революции перешли на службу к большевикам и воевали на Восточном фронте в армии, которую не так давно принял под свое командование Тухачевский?

— Все, что вы сказали, господин полковник, соответствует истине. Да, я действительно поручик, действительно окончил Александровское военное училище, действительно перешел к большевикам и воевал на Восточном фронте.

— И какую должность вам определили большевики?

— Я был командиром батальона.

— Не жирно, — с иронией прокомментировал Донцов. Мне показалось, что он был даже обрадован моим ответом. — Вы — поручик, и Тухачевский — поручик. Однако вы — командир батальона, а Тухачевский — командующий армией! Это разве, ангидрид твою в перекись марганца, справедливо? Это разве то самое равенство, которое обещали народу большевики?

— Не всем же командовать армиями, — пожал плечами я. — Вы же, господин полковник, не командуете Добровольческой армией, а занимаете гораздо более скромную должность.

— Так-то оно так. — Замечание несколько обескуражило Донцова. — Но бог с ними, с должностями, главное, чтобы мы служили России. Вернемся к нашим ба-
ранам.

— Тем более что я еще не успел в полной мере ответить на ваш вопрос, господин полковник. Я хотел бы добавить самую важную деталь. Да, я, как вы совершенно точно заметили, перешел к большевикам. Но лишь с единственной целью: подрывать, насколько это в моих силах, их боеспособность изнутри.

— И каким же образом?

— Я собирал и передавал ценные сведения нашим войскам. — Я сделал ударение на слове «нашим». — Сведения о численности, вооружении и состоянии той самой армии, в которой служил. Надеюсь, вы не будете отрицать, что такого рода деятельность тоже может расцениваться как служение России?

— Забавно, весьма забавно, ангидрид твою в перекись марганца! — восторженно воскликнул Донцов. — Прекрасные слова, поручик! Если бы не одно весьма существенное «но».

— Что вы имеете в виду?

— Это весьма существенное «но» означает, что вы вряд ли сможете представить мне доказательства такого рода деятельности.

— Вы можете запросить генерала Болдырева, — парировал я.

— «Запросить генерала Болдырева», — слово в слово повторил Донцов мою фразу с издевкой. — Это в наше-то время и в нашем-то положении! Да вы смеетесь, поручик!

— Придет время, и вы сможете убедиться в моей искренности, — вздохнул я.

— Однако сейчас против вас, поручик, оборачиваются те сведения, которыми мы располагаем. Смеею вас заверить, что сведения эти получены нами из проверенного и надежного источника. И по этим сведениям вырисовывается, увы, совершенно другая картина. Вы, поручик Бекасов, были отозваны с Восточного фронта в Москву, доставлены на Лубянку и получили задание от Чека проникнуть в наш тыл и по возможности снабжать красных разведывательной информацией.

— Я отказываюсь даже отвечать на эту гнусную клевету! — как можно возмущеннее воскликнул я. — Как можете вы предъявлять мне такие обвинения, мне, сыну русского офицера, который был другом Антона Ивановича Деникина!

Донцов тяжело заерзал на своем стуле.

— Видите ли, поручик, если бы мы не учитывали этого факта, вас давно поставили бы к стенке. В тех обстоятельствах, в которых мы сейчас вынуждены пребывать, разве есть время для долгих разбирательств? Но мы хотим выяснить истину. Докажите нам свою непри-

частность к Чека, и мы расстанемся с вами добрыми друзьями.

— Но как я еще могу вам доказать свою верность присяге? Как могу опровергнуть обвинения? — Все это я приносил по возможности искренне, поражаясь тому, что способен так лгать. — Мое главное алиби — это честное слово русского офицера. — Я внутренне содрогнулся от своих слов и подумал, что гораздо лучше было бы честно признаться во всем. Но, по правде говоря, я еще не был готов к такой исповеди.

— Честное слово! — сокрушенно вздохнул Донцов. — Когда-то оно, это честное слово, стоило многого, в него нельзя, просто невозможно было не верить. Но сейчас, в этой кутерьме, в этих Содоме и Гоморре, разве можно положиться только на честное слово? Тем более что наш человек сообщил, что видел собственными глазами, как вы входили в здание Чека на Лубянке. Как это прикажете понимать, ангидрид твою в перекись марганца? — снова завелся Донцов.

«Оказывается, разведка белых тоже не дремлет, — промелькнуло у меня в голове. — Кажется, этот Донцов вот-вот отправит тебя к стенке».

— Хотелось бы знать имя этого человека! — Я как утпающий хватался за соломинку. — Я бы хотел вызвать этого подлеца на дуэль!

— Элементарные законы следствия не позволяют мне называть имена, — сурово произнес Донцов. Он задумчиво пожевал толстыми губами, наморщил лоб и вдруг сказал: — Впрочем, поручик, была не была! Единственный раз в жизни позволяю себе такое. И то ради уважения к вашему покойному батюшке, которого, признаюсь, тоже знал и ценил как истинного русского патриота. Так вот, слушайте меня внимательно. Эти сведения о вас нам сообщили, думаю, небезызвестный вам Борис Викторович Савинков. Да-да, во время своего кратковременного пребывания в Новочеркасске.

— Савинков! — Услышав это имя, я почувствовал себя более уверенно. — Но как можно верить этому авантюристу, который из корыстных побуждений сдаст и белым и красным свою родную мать?!

— Если она жива. — Мне показалось, что Донцов ус-

нешнулся, и интуитивно почувствовал, что он вполне разделяет оценку, которую я дал Савинкову.

— Даже если бы я и входил в здание Чека, что выглядит полным абсурдом, то как бы могли Савинков и его агенты поручиться за то, какие разговоры там вели со мной? — Я решил не просто отбиваться от обрушившихся на меня вопросов, но своей логикой смягчать их удары, побуждая Донцова сомневаться.

— Хорошо, оставим пока все это на вашей совести, — миролюбиво произнес Донцов. Мне показалось, что ему уже изрядно надоел этот разговор. — Я задам вам вопрос, который должен был задать в самом начале. Как вы докажете, что вы действительно тот человек, за кого себя выдаете?

— Нет ничего проще! — Я почувствовал себя увереннее.

Я вытащил из своего вещмешка армейские ботинки, а из кармана брюк — перочинный ножик, вспорол стельку ботинка и извлек оттуда изрядно помятую фотокарточку. На ней были запечатлены трое: Антон Иванович Деникин, мой отец и я, правда еще в возрасте подростка.

Я протянул фотокарточку Донцову. Тот принял к ней, потом перевел пристальный взгляд на меня, как бы сравнивая, насколько похож я, нынешний, на того, преждего Диму Бекасова, и удовлетворенно вздохнул.

— Это веское доказательство. — Он посмотрел на меня почти приветливо. — И это избавляет вас от дальнейшего допроса. Пока. Конечно, сейчас все перевернулось вверх тормашками. Сын предает отца, отец предает сына... В подтверждение сего могу привести один из свежайших примеров. Отец — не буду называть фамилии — белый генерал, а сын — красный комбриг. Недавно обменялись любезностями. Отец обещал повесить сына на первой осине, а сын — расстрелять отца под звуки «Интернационала». Однако судьба распорядилась так, что духовой оркестр вынужден был играть не «Интернационал», а похоронный марш: сын попал к нам в плен и отец руководил его расстрелом. Каково, поручик? А вы говорите — честь! Какая, ангидрид твою в перекись марганца, честь, когда в один миг рухнула великая империя и мы барахтаемся под ее обломками!

— А почему бы вам не доставить меня к генералу Деникину; там все прояснится окончательно и станет на свои места, — проговорил я. — А если что — долго ли поставить меня к стенке?

Донцов широко ухмыльнулся, и я, кажется, распознал его мысли: чем черт не шутит, может, этот поручик и впрямь любимчик Деникина, так стоит ли проявлять излишнее усердие, стараясь доказать, что ныне этот Бекасов — перевертыш и вражеский лазутчик?

Донцов встал из-за стола:

— Вы правы, поручик. Я доложу командующему и сообщу вам о дне и часе приема, если, разумеется, генерал Деникин вообще захочет вас принять. А пока что, не взывайте, побудете, скажем так, под нашим наблюдением. В наше время, ангидрид твою в перекись марганца, ухо надо держать востро!

Я хотя бы на время смог передохнуть. И был очень рад, что Донцов наконец умолк: кажется, он совсем доконал меня этим проклятым ангидридом вместе с перекисью марганца!

18

Исключительная сложность положения Деникина состояла в том, что в тех обстоятельствах, в которых он оказался, ему приходилось быть не только военачальником, но и политиком, не только продумывать стратегию и тактику боевых действий, но и определять политическую линию, ибо если успешные боевые действия вели лишь к узко очерченной военной цели, к захвату новых населенных пунктов или новых территорий, то от правильной политической линии зависели многогранные, сложные и противоречивые отношения с народом. Тем более что народ во все времена человеческой истории представлял собой не нечто единое и цельное, а, как правило, нечто раздробленное, поклоняющееся разным идолам и разным верованиям.

Какой России хочет он, Деникин, и его армия? За какой идеей пойдет офицерство, тоже далеко не единое в своем составе? Какими идеями можно увлечь народ, про-

тивопоставив себя большевикам? Эти и многие другие подобные вопросы приводили к мучительным раздумьям, а поиски точного и единственно правильного ответа пока не давали результатов. Тем более что даже у генералов, шедших рядом с Деникиным, не было полного единства, особенно в вопросах будущего России. Под каким флагом сражаться? Это был, пожалуй, главный и далеко не праздный вопрос.

В Егорлыцкой, где располагался его штаб, Деникин решил изложить командному составу армии свои воззрения в области политики. Перед этим у него состоялся продолжительный разговор с Алексеевым, который был убежден, что нормальным ходом событий Россия должна прийти к восстановлению монархии. Правда, он оговаривался, что это должно быть не восстановление прежней монархии, которая целиком скомпрометировала себя, а создание монархии, в которую будут внесены существенные поправки. О каких поправках может идти речь, кажется, не представлял себе и сам Алексеев. Впрочем, разумная осторожность старого генерала давала о себе знать. Он полагал, что было бы преждевременным вести армию под монархическими знаменами, так как вопрос о поддержке самодержавия всем русским народом еще недостаточно изучен и что предварительное объявление лозунга реставрации монархии может лишь затруднить выполнение широких государственных задач.

Деникин был противником восстановления монархии. Он знал, что идеи монархизма сильны и в офицерской среде, но в то же время хорошо понимал, что, дав волю этим настроениям, армия рискует потерять всякую связь с народом, в том числе и с казачеством, которое не только не было склонно к одобрению монархической идеи, но даже враждебно относилось к ней.

Офицерский сбор в Егорлыцкой был очень широк: здесь собрались все офицеры, вплоть до командиров взводов включительно. Перед ними выступили Алексеев и Деникин. Алексеев уклонился от идеологических лозунгов и говорил главным образом об опасности немецкой колонизации России. Деникин же, напротив, все внимание сосредоточил на проблемах политических.

— Господа офицеры, — начал свою речь Деникин, — я намерен быть перед вами предельно откровенным. Прошу выслушать меня внимательно. Да, наше прежнее установление остается неизменным — армия не имеет права вмешиваться в политику, иначе ее ждет полное разложение и гибель как вооруженной силы, способной защищать свое отечество. Но мы и не вправе обходить вопросы политики, ибо они витают в той атмосфере, в которой мы живем и боремся, и потому должны жить и бороться с полным пониманием происходящего в стране и по возможности четко и сознательно представлять себе ее будущее.

Он передохнул и, взглянув на собравшихся, тесно сидевших в актовом зале реального училища, понял, что его слушают с жадным напряжением.

— Господа офицеры, вы знаете, что в России была сильная, могучая русская армия, которая умела и побеждать и умирать. Но когда каждый солдат стал решать вопросы войны и мира, монархии и республики, тогда армия развалилась. Наша единственная задача — борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если не помогают Белому движению, то и не мешают, начали активную борьбу против нас? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее вельмож, без вельмож русского народа?

— Без монархии нет и не будет России! — выкрикнул кто-то из присутствующих, и многие поддержали этот выкрик оглушительным шумом одобрения.

Это не смутило Деникина. Он продолжал, как бы вступающая в полемический диалог со сторонниками немедленного провозглашения монархической идеи:

— Хорошо — монархический флаг. Но за этим последует, естественно, требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносятся даже имя чужеземца — греческого

принца. Что же, этот вопрос будем решать поротно или разделимся на партии? Сразу скажу, чтобы не возникало кривотолков: лично я не буду бороться за форму правления. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что мнение армии расходится с моим, я немедленно оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту для себя возможными.

Он умолк, как бы собираясь с мыслями и решая, говорить ли офицерам самое сокровенное. И наконец решился:

— Господа офицеры, я обещал быть с вами предельно откровенным и хочу до конца сдержать свое слово. Может быть, кому-то мое откровение придется не по душе, что поделаешь? Правда — это мой неизменный принцип. Так вот это откровение: если, господа, я подниму республиканский флаг — уйдет половина добровольцев, если я подниму монархический — уйдет другая половина. А надо спасти Россию! С кем же ее тогда прикажете спасти? И уж если говорить о политическом лозунге, точнее, о девизе нашей армии, то вот он, господа: «Великая, единая, неделимая Россия!»

Оглушительные аплодисменты собравшихся были ему ответом.

— Еще раз со всей твердостью заявляю: армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам — пойдет с нами, кто не верит — тот может оставить армию — мы никого не ведем.

Несмотря на то что собрание офицеров в своем подавляющем большинстве поддержало Деникина, генерала не оставляли тяжелые раздумья. «Ну хорошо, допустим, Белое движение одержит победу. А что дальше? Неизбежно перед страной встанет вопрос о форме правления. Легко говорить, что эта форма правления станет отражением воли народа после того, как он освободится от рабства. Но какой она будет, эта воля? Ведь народ всегда идет за личностью, а какова будет эта личность? Задача со многими и многими неизвестными. И потому пока приходилось придерживаться тактики «непредрешенства» — тактики удобной, но непредсказуемой по своим последствиям.

А тут еще и сложная международная обстановка, в которой Россия оказалась в положении обделенной всеми сироты».

Особенно возмущал Деникина Брест-Литовский договор. Условия этого договора, этого мира, который даже главный большевик Ленин назвал позорным и похабным, наносили смертельный удар и по патриотическим чувствам, и по национальному самолюбию. Довести некогда могучее государство до таких неслыханных унижений, поставить его в полном смысле слова на колени! Под омерзительным листом договора изобразить завитушки подписей — и Россия из великой страны в один миг превратилась в обстриженную со всех сторон карликовую территорию, которую и государством-то назвать стыдно! Россия потеряла все, что приобрела еще при Петре Великом! У нее отобрали Украину, Крым, Прибалтику, Грузию, Батум, Карс. Украину оккупировали немцы, чтобы создать там марионеточное правительство, которое бы ползало на коленях перед Берлином. Марионетка нашлась быстро: гетман Скоропадский, как это ни нелепо — бывший генерал российской армии.

От единой и неделимой России не осталось и следа, она превращалась в колонию, из которой можно было выкачивать все: хлеб, нефть, уголь, металл...

Деникину было предельно ясно, что в этой обстановке Россия превратилась в плацдарм, на котором в жестоком поединке схватились интересы Германии и союзных держав. И разве горстка добровольцев, сплотившихся ныне под его командованием, может хоть как-то повлиять на ход этих катастрофических для России событий? Увы! И все же он сознавал, что иной силы, которая могла бы бороться за честь и национальные интересы России, сейчас не существует.

Неожиданно раздумья Деникина прервал неслышно вошедший адъютант:

— Ваше превосходительство, к вам полковник Донцов.

Деникину хотелось прилечь на диван и хотя бы полчаса отдохнуть, но он вынужден был сказать:

— Просите.

Донцов, несмотря на свою грузность, стремительно вошел в кабинет, всем своим видом изображая молодцеватость и рьяную активность. Следом за ним вошел молодой человек в простой поношенной одежде.

— Ваше превосходительство, позвольте представить вам перебежчика. Он называет себя поручиком Бекасовым и утверждает, что является сыном полковника Бекасова, воевавшего вместе с вами на русско-германском фронте. Чтобы не оставалось никаких сомнений, я, ваше превосходительство, осмелился побеспокоить вас...

Донцов не успел закончить фразы: Деникин порывисто встал из-за стола и, не отрывая глаз от пришельца, радостно воскликнул:

— Дима, да ты ли это?! Какими судьбами!..

Донцов смущенно переминался с ноги на ногу, мысленно ликуя: хорошо, что не поторопился поставить к стенке этого Бекасова! Вот что значит предусмотрительность!

— И вы проходите, садитесь, Виталий Исидорович, — пригласил Деникин. — У меня от вас секретов нет.

19

Из записок поручика Бекасова

Я вновь убедился, какая у Антона Ивановича цепкая зрительная память! Он узнал меня сразу, едва только увидел. Горница, в которой располагался кабинет Деникина, была светлой, залитой солнцем, и чудилось, что генерал тоже излучает солнечный свет.

— Ваше превосходительство... — начал было я рапортовать, но он тут же остановил меня:

— Бог с тобой, Дима. Для тебя я не превосходительство, а, как тебе известно, Антон Иванович. Я искренне рад, что вижу тебя.

— Спасибо за ваши добрые слова. — Я хотел добавить «Антон Иванович», но все же не решился. Как не решился сказать о том, что «оправдаю ваше доверие».

Деникин подошел ко мне, крепко обнял за плечи — объятие его было поистине крестьянским:

— Как ты возмужал! Впрочем, чему удивляться, мы

ведь давно не виделись. Садись, прошу тебя, почувствуй себя как дома. Поговорим, у меня выдалась свободная минута.

Я сел на табуретку у стола.

— Ну, рассказывай, как тебе удалось пробраться к нам. Ты из Москвы или из Петрограда?

Я коротко рассказал свою «легенду». Деникин смотрел на меня испытующе: он понимал, что революция перепутала все карты, и кто знает, кем она меня сделала?

— Каковы планы на ближайшее будущее? — спросил Антон Иванович. — Каковы твои цели? Прости за столь прямые вопросы, но сейчас по-другому нельзя.

Вот оно, самое трудное для меня, самое ненавистное: вместо правды — лгать, говорить с искренностью, в которую не веришь сам!

— Хочу воевать вместе с вами, других целей у меня нет, — ответил я и вдруг почувствовал, что краснею. Как ошибались чекисты, думая, что из меня может получиться настоящий агент: они совершенно упустили из виду, что я всегда краснел, когда пытался скрыть правду. Так было в детстве и в юности, так было и сейчас.

Хорошо еще, что я сидел спиной к окну и прямые лучи солнца не падали на мое лицо, и потому, кажется, Антон Иванович ничего не заметил.

— Думаю, что ты выбрал правильный путь. — В голове Деникина чувствовалось удовлетворение моим ответом. Кажется, даже лаконичность ответа произвела на него благоприятное впечатление, ибо он и сам не переносил многословия.

— Что же, будем считать, что нашего полку прибыли, — с прежним удовлетворением произнес Деникин. — Нашей Добровольческой армии сейчас дорог каждый офицер, каждый солдат. А чтобы тебе было легче начать новую службу, кратко обрисую обстановку, в которой мы формируем вооруженные силы Юга России. Прямо скажу, что мы — и Алексеев, и царство ему небесное, Корнилов, да и я тоже — переоценили те возможности, которые, казалось бы, должна была предоставить нам область Войска Донского.

— Но почему? — удивился я, стремясь вызвать Деникина на откровенность.

— Видишь ли, Дима. — Кажется, ему понравилось, как я живо интересуюсь обстановкой. — Казаки испугались того, что приток офицерства на Дон может послужить своеобразным магнитом, притягивающим нашествие красных. Да и возвращение казачьих войск в родные края принесло с собой с фронта пагубные идеи большевизма. И как результат — в среде казачества тоже началось разложение. Разве можно было представить себе раньше, что казаки станут отрицать авторитет стариков, отрицать власть, бунтовать и даже начнут преследовать и выдавать офицеров? Советская власть затмила им разум. Казаки поверили лживым обещаниям о том, что им будет гарантирована неприкосновенность казачьих прав и уклада жизни. Трагедия распада проникла и в казачьи семьи, где часто дети поднимаются против отцов, а отцы против детей!

— Я пытался ответить себе на вопрос: почему вы ушли с Дона, ведь можно было попытаться переломить казаков? — Я воспользовался тем, что Деникин сделал паузу. — Тем более что, кажется, и на Кубани такие же настроения?

— Сейчас я тебе объясню. — Деникин помолчал. — Одна из главных причин ухода в том, что на Дону офицерам грозила постоянная опасность. Расхожее мнение состоит в том, что казаки якобы встречают нас с распростертыми объятиями. Но это не более чем большевистская пропаганда. Своим прибытием на Дон мы поставили покойного ныне генерала Каледина в чрезвычайно тяжелое положение. Знаешь, ведь непрошенный гость хуже татарина. Конечно, существует старый казачий обычай: «С Дона выдачи нет». Но ныне все так круто повернулось, обычай тоже! Каледин вынужден был прислушиваться к голосу своих противников. И потому он даже просил генерала Алексеева вербовать добровольцев более конспиративно и перебраться за пределы Войска Донского, скажем, в Ставрополь или в Камышин. И мы решили перебазироваться на Кубань. Здесь для нас более благоприятная обстановка.

Деникин умолк, видимо полагая, что он уже и так сказал слишком много.

— Ну да что это я так разговорился, — посетовал

он. — Поди, утомил тебя серьезными вопросами. Ты и сам скоро поймешь, что к чему. Главное, что ты пришел к нам. И ты не одинок. Молодежь — офицеры, юнкера, кадеты, студенты, глубоко оскорбленные в своих патриотических чувствах, презирая опасность, стремятся к нам. Честно тебе скажу, Дима, — вдруг воодушевился он, — если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось молодежи, готовой идти на смертный бой с большевиками, готовой отдать свою кровь и жизнь за разрушенную родину, — я бы вынужден был отказаться от принадлежности к народу, к которому счастлив принадлежать.

— Мои чувства созвучны с вашими, — поспешил заверить его я, вновь содрогаясь от заведомой лжи.

— Спасибо, Дима, — прочувствованно произнес Антон Иванович. — Мы еще поговорим обо всем. Пока что я намерен прикомандировать тебя к своему штабу для разного рода поручений.

— Ваше превосходительство! — взмолился я. — Мне хотелось бы прямо в строевую часть, на передний край...

— Все в свое время, — прервал меня Деникин, и по тому, как голос его потеплел, я понял, что ему импонирует это мое желание. — А пока побудешь подле меня. Это поможет тебе лучше войти в курс дела.

Он подошел ко мне и снова обнял за плечи:

— Мне очень дорога память о твоём отце. — Эти его слова прозвучали особенно проникновенно. — И потому прошу тебя: будь мне как сын!

— Благодарю вас, Антон Иванович, это для меня высочайшая честь! — Впервые за все время беседы я назвал его по имени-отчеству.

Слова Деникина и впрямь растрогали меня едва ли не до слез: «И этого человека я должен буду предавать?!»

В этот момент в гостиную вошел генерал Романовский. Внешне он был спокоен, хотя я и заметил на его лице некоторую озабоченность. Он мельком взглянул на меня, и мне трудно было понять, узнал он меня или нет. Дело в том, что прежде я не раз видел его, когда он встречался с моим отцом. Я знал, что Романовский был сыном артиллерийского офицера, окончил кадетский корпус в Москве, Константиновское военное училище в Петербур-

ге, вышел подпоручиком в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду, позднее был принят в Академию Генерального штаба, где учился вместе с Марковым. Последней его должностью до революции была должность генерал-квартирмейстера в Ставке Верховного главнокомандующего генерала Корнилова.

Мне показалось, что с того времени, как я не видел Романовского, он заметно постарел и выглядел уже не таким стройным и подвижным, как раньше.

— Антон Иванович, — обратился Романовский к Деникину, но тот перебил его:

— Иван Павлович, представьте себе, какая неожиданная встреча! — Деникин кивком головы указал на меня. — Надеюсь, вы узнаете этого молодого человека?

Романовский теперь уже более внимательно посмотрел на меня.

— Очень знакомое лицо, — виновато произнес он, — но что-то...

— Не буду вас мучить догадками, — оживленно сказал Деникин, довольный, видимо, тем, что его зрительная память оказалась более надежной, чем память начальника штаба. — Это же Дима Бекасов, которого мы с вами знавали еще совсем юным. А теперь перед вами — поручик Бекасов.

— Сын полковника Бекасова? — В голосе Романовского прозвучали и удивление и радость. — Как же, как же, еще бы не помнить.

Он подошел ко мне, и я ощутил крепкое пожатие его руки.

— С большим трудом и риском для жизни добрался к нам, впрочем, как и другие добровольцы, — пояснил Деникин. — И я безмерно рад, что молодежь по зову сердца собирается под наше знамя. А, вы хотели что-то сообщить, Иван Павлович? Что-нибудь срочное?

— Да, Антон Иванович, дело, кажется, не терпит отлагательств. Со мной только что говорил генерал Краснов.

И он многозначительно посмотрел на меня, а потом и на Донцова. Я поспешно встал.

— Виталий Исидорович, голубчик, прошу вас, подействуйте в обустройстве нашего гостя, отныне уже пол-

ноправного добровольца. Ну, всякие там необходимые формальности. И посодействуйте, пожалуйста, с жильем. Впрочем, вы все это знаете лучше меня.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — отчеканил Донцов. — Не извольте беспокоиться, все будет сделано как положено. Разрешите быть свободным?

— Конечно, конечно, — поспешно произнес Деникин, вероятно его мысли уже были заняты предстоящим разговором. — А ты, Дима, сегодня хорошенько отдохни, а завтра прошу прибыть ко мне к восьми утра. Мы с Иваном Павловичем определим круг твоих обязанностей.

— Благодарю, ваше превосходительство! — Я был тронут заботой главнокомандующего: что ни говорите, в жизни бывает и так, что старые дружеские связи забываются, а порой сами обстоятельства как бы отодвигают их в область забвения. В моем случае все было по-иному, и я по достоинству оценил душевные качества Антона Ивановича Деникина.

20

— Какие же новые идеи обуревают Краснова? — с заметным оттенком иронии спросил Деникин у Романовского, который уже успел удобно устроиться в кресле у приставного столика, видимо полагая, что разговор будет достаточно продолжительным. — С того дня, как он стал Донским атаманом, его деятельность приняла прямо-таки взрывчато-опасный характер.

— Абсолютно точно, Антон Иванович, — согласился Романовский. — На этот раз он настаивает на немедленном свидании с вами в станице Манычской.

— Надо отдать ему должное, энергии Краснову не занимать. К тому же страсть как любит молниеносно осуществлять приходящие ему в голову идеи.

— К сожалению, часто сумасбродные, — заметил Романовский. — Чего стоит его прямо-таки патологическое стремление установить самые тесные отношения с немцами. Разве может себе это позволить истинно русский патриот?

— И чем же он объясняет это свое и впрямь антироссийское стремление?

— Причинами, которые на первый взгляд кажутся вполне логичными, — принялся объяснять Романовский. — Немецкие войска, как вы знаете, хозяйничают сейчас в Донской области. Вся западная ее часть до железной дороги Воронеж — Ростов в их руках. И самое неприятное, что немцы заняли Ростов и Таганрог. Вот Краснов и разводит руками, мол, что ему остается делать, находясь в оккупации, как не сотрудничать с оккупантами. Мол, силенок для того, чтобы дать им от ворот поворот, у него нет.

— Еще куда ни шло, если бы только это, — нахмурился Деникин. — Поступают сообщения, что новый атаман спит и видит, как бы ему сотворить из Донской области суверенное независимое государство! Но разве такие идеи не приведут к развалу великой России? Судя по фактам, Краснову совершенно чужда наша главная ориентация — единая и неделимая Россия.

— Именно так и обстоит дело, — подтвердил Романовский.

— В таком случае встреча с ним в ближайшие дни отвечает и нашим интересам, — решительно сказал Деникин. — Пора этому самостийнику сказать все, что мы о нем думаем. И не просто сказать, но и хорошенько дать по зубам.

— На открытый конфликт с ним идти не хотелось бы. — Романовский попытался несколько охладить воинственно настроенного Деникина. — Ведь какая-то часть казачества — за ним, и это не сбросишь со счетов.

— А вот встретимся — и разберемся, — все с той же решительностью заключил Деникин.

...Вскоре встреча состоялась. Деникин высказал желание, чтобы на ней присутствовал генерал Алексеев. И хотя тот чувствовал себя скверно из-за обострившейся болезни, все же дал согласие.

Не желая отдавать инициативу в руки Краснова, Деникин сразу взял, что называется, быка за рога:

— Открытая ориентация Краснова на немцев нами принята быть не может ни в коем случае. — За все время совещания Деникин ни разу не назвал Краснова генера-

лом, как и не обратился к нему по имени-отчеству. — До нас дошел даже такой факт, который иначе чем кощунственным я назвать не могу. Донской атаман составил план, по которому собирается овладеть Батайском, действуя вместе с немецкими войсками. Это позор для Белого движения!

Крупное лицо Краснова покрылось бурыми пятнами. Под крепкими скулами заходили желваки. Он тут же взорвался:

— Главнокомандующий, кажется, напрочь запамятовал, что генерал Краснов — уже давно не командир бригады, которая во время войны с немцами подчинялась Деникину. Генерал Краснов ныне — это представитель пятимиллионного казачества и не намерен выслушивать подобные обвинения! Да еще высказанные столь недопустимым на подобных встречах тоном!

Деникин едва заметно усмехнулся: всем было хорошо известно, что, во-первых, Краснов стал атаманом всего двенадцать дней назад и, во-вторых, выбран был лишь незначительной частью Донской области, той, что совсем недавно освободилась от большевиков. К тому же Донской круг, проголосовавший за Краснова, представлял собой крайне разношерстное сообщество и не мог быть изъяснителем воли всего донского казачества.

— Насколько мне известно, — включился в разговор Романовский, — население Донской области составляет не пять миллионов, а только четыре. И это включая иногородних, а их отношение к генералу Краснову должно быть ему самому хорошо известно. Так что не стоит преувеличивать.

Деникину вспомнилась его первая встреча с Красновым, не генералом, а подъяесаулом, в Сибирском экспрессе, которым они ехали на русско-японскую войну четырнадцать лет назад. Тогда Краснов был всего-навсего военным корреспондентом «Русского инвалида» — официальной газеты военного министерства. В салон-вагоне Краснов любил навязывать своим спутникам громкое чтение написанных им корреспонденций. И когда слушатели говорили о том, что в них слишком уж часто встречается, мягко говоря, вымысел, противоречащий истинным фактам, Краснов с воодушевлением доказы-

вал, что поэтический вымысел в ущерб правде имеет полное право на существование, особенно в обстановке военного времени, когда необходимо поднимать дух народа, а не повергать народ в уныние фактами, противоречащими мобилизации патриотического духа. Так и сейчас Краснов вновь обратился к столь любимому им «поэтическому вымыслу».

— Простим нашему оратору некоторые поэтические преувеличения, — остановил Романовского Деникин, заметив, что эта его фраза сильно задела Краснова. — Главное, ради чего мы здесь собрались, — наметить план дальнейших действий Добровольческой армии.

— Я готов высказать свои соображения! — тут же заявил Краснов, даже не дождавшись, пока Деникин предоставит ему слово. — Добровольческой армии следует незамедлительно отбросить всяческие намерения действовать на Кубани. Ближайшей целью ее должно стать овладение Царицыном. Вы спросите, почему, господа! Отвечая, не ожидайте ваших вопросов: на Волге вы найдете громадные запасы военного снаряжения, там, в Царицыне, есть и пушечный и снарядный заводы. Добровольческая армия перестанет быть в зависимости от казаков, станет поистине русской силой.

— У нас планы совершенно противоположного характера, — заговорил Деникин, когда Краснов замолчал. — В первую очередь мы должны освободить Задонье и Кубань. План же, который мы только что услышали от Донского атамана, равносителен самоубийству! Согласно этому плану мы вынуждены будем начинать свое наступление на Дону, то есть в тех областях, где хозяйничают немцы. А в ходе боевых действий армия может оказаться в критическом положении, ибо с запада ее заблокируют немцы, с севера — большевики, а на востоке мы упремся в Волгу, куда красные и пытаются загнать всех нас. А Волга, как известно, река широкая.

— А что вам даст освобождение Задонья и Кубани?! — яростно выкрикнул Краснов, теряя самообладание. — Казаки и сами справятся с этим!

— С помощью немцев? — охладил Краснова Деникин и сразу же продолжил: — В соответствии с нашим планом мы сможем взять под контроль всю южную границу Дон-

ской области. А это, как вы знаете, четыреста километров! Далее, у нас будет открыт путь к Черному морю, и мы сможем установить связь с союзниками через Новороссийск. Укрепившись на Кубани, мы более уверенно поведем наступление на север, имея конечной целью Москву.

Раскрывая свои карты, Деникин тем не менее высказал не все доводы, которые были в пользу именно его решения. Неужели Краснов не понимает, что при наступлении на Царицын в тылу Добровольческой армии осталось бы не менее ста тысяч красных войск? Деникин поднимал еще один важный вопрос:

— В соответствии с нашим планом считаю целесообразным, чтобы все части донского казачества подчинялись бы единому командованию.

Говоря это, он конечно же предвидел ответ Краснова.

— Этому не бывать! — снова взорвался Краснов. — Донские казаки будут подчиняться только мне, и никому более!

— Воля ваша, — развел руками Деникин. — Но этим решением вы наносите Добровольческой армии серьезный урон.

— Решение мое неизменно, — повторил Краснов. — Думаю, что на этом надо поставить точку и перейти к обсуждению следующего вопроса.

— Следующий вопрос нами уже определен. — Деникин помолчал. — Еще по соглашению с покойным Алексеем Максимовичем Калединым Добровольческая армия должна получить с Дона шесть миллионов рублей. Надеюсь, что эту сумму мы получим.

— Извольте! — вскинулся Краснов. — Извольте хоть сию минуту! М о й Дон... — он подчеркнул слово «мой», — мой Дон готов заплатить эти деньги. Но при одном непременном условии: Добровольческая армия должна перейти в подчинение истинного хозяина Дона — Донского атамана!

Теперь уже пришла очередь взорваться Деникину:

— Я хотел бы со всей определенностью заявить Донскому атану, что Добровольческая армия не занимается на службу. Она выполняет задачу общегосударственного масштаба и поэтому не может и не будет подчиняться местной власти.

— Ну что ж, выходит, результатом нашей встречи можно считать п ш и к! — съязвил Краснов.

— Мы готовы сотрудничать с Доном, — примирительно сказал Алексеев, до сих пор хранивший молчание, — если Дон передаст нам хотя бы часть снаряжения, которое он получает с военных складов на Украине.

— Да, из запасов бывшего русского Юго-Западного фронта, — вставил Романовский. — Правда, все это оружие, боеприпасы и снаряжение, как известно, захвачены немцами. Известно также, что Петр Николаевич получает у немцев это оружие.

Краснов изобразил на лице страдальческую обиду.

— Да-да, господа! — воскликнул он, уязвленный словами Романовского. — Добровольческая армия конечно же чиста и непогрешима. Честь ей и хвала! Но ведь это я, Донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, отмываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии. Весь позор этого дела лежит на мне!

«Какой болтун! — Деникина передернуло. — Снова «поэтический вымысел» в ущерб правде! Ведь оружие и боеприпасы немцы передают тебе не за красивые глаза! Кто в уплату за все это гонит в Германию донской хлеб, донскую шерсть, донской скот?»

Деникин располагал фактами: в ближайшем окружении Донского атамана было несколько надежных агентов, которые давали возможность Деникину быть в курсе всех дел, которые вел с немцами Краснов. Так, агентура донесла, что Краснов отправил два своих, написанных им лично, письма германскому императору Вильгельму. В этих письмах Донской атаман не только от имени Войска Донского, но и от имени выдуманного им несуществующего Доно-Кавказского союза высказывал свои просьбы и пожелания. Деникин располагал почти полными текстами этих писем. В одном из них Краснов просил Вильгельма «содействовать в присоединении к Донскому Войску по стратегическим соображениям Камышина и Царицына, Воронежа, станции Лиски и станции Поворино». Тут же он клялся Вильгельму в том, что «всевеликое Войско Донское обязуется за услугу Вашего Императорского Величества соблюдать полный нейтралитет».

литет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебных германскому народу вооруженных сил, на что дали согласие и атаман Астраханского войска князь Тундутов, и Кубанское правительство, а при присоединении — остальные части Доно-Кавказского союза.

Особенное возмущение Деникина вызвала исполненная ложного пафоса фраза Краснова: «Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами».

«Какой позор, до чего докатился атаман! — возмущался Деникин. — Ползает на коленях перед Вильгельмом! И в то же время без всякого стыда и совести втирает ему очки. А как предательски себя ведет! Толкает Добровольческую армию на Царицын и тут же заверяет немцев, что не допустит на свою территорию враждебных Германии вооруженных сил! Черт с ним, пусть лижет задницу Вильгельму, если это доставляет ему удовольствие, но продавать немцам русские земли — это уже слишком».

Как хотелось Антону Ивановичу сказать Краснову прямо сейчас эти слова, но он сдерживал себя, понимая, что еще не пришло время рвать с ним отношения и отталкивать от себя хотя бы часть донского казачества.

Что поделаешь, не все подвластно человеку, особенно тогда, когда обстоятельства оказываются сильнее его!

21

Из записок поручика Бекасова

Я вышел из штаба после встречи с Деникиным, испытывая крайне сложные и противоречивые чувства. Прежде всего, это была радость от сознания того, что мне сравнительно легко удалось достичь своей первоначальной цели. Я смог живым и невредимым пробраться на Кубань, без долгих проволочек попасть прямо к Деникину и сразу же вызвать у него доверие к себе.

Вместе с тем эта радость вступала в противоречие с со-

знанием того, что мне предстоит выполнять постыдную роль: выдавая себя за сторонника Белого движения, делать все, чтобы нанести этому движению хотя бы некоторый, а при удачном стечении обстоятельств и весьма существенный урон. А это означало, что я предаю и Антона Ивановича, как одного из главных организаторов и вдохновителей этого движения.

Но, как и прежде, я оправдывал свои будущие действия тем, что, помогая красным, я тем самым буду работать во спасение самого Деникина: он скорее поймет, что дело белых безнадежно, и предпочтет бессмысленной борьбе эмиграцию за рубеж, способствуя тем самым окончанию междоусобной бойни в России.

Омрачали мою душу и личные переживания. Я всю силу души ненавидел Любу, будучи убежденным в том, что она предала меня, предала дважды — и доставив меня сразу же в контрразведку, к полковнику Донцову, и там, в степи, с Лукой... И в то же время я ощущал дьявольское влечение к этой предательнице. Я пока не мог понять, какое чувство окажется сильнее — любовь или ненависть, какое из них победит. Самое страшное для человека — это состояние, когда борются в дикой схватке два совершенно непримиримых чувства и он не может решить, какое должно взять верх.

Полковник Донцов, вышедший вместе со мной, был оживлен и даже весел и старался изо всех сил произвести на меня самое благоприятное впечатление.

— Все складывается как нельзя лучше, — говорил он, то и дело лукаво поглядывая на меня. — Вам, Дима, — он почему-то считал возможным называть меня по имени, как называл меня Антон Иванович, хотя я бы воспринимал обращение «поручик» как наиболее подходящее, — я создам самые благоприятные условия, вы в этом скоро убедитесь. Жить будете в прекрасном доме, со всеми удобствами, хозяйка хоть и немного сварливая, зато как готовит обеды, каналья! Правда, неудобство нашей жизни состоит в том, что мы не задерживаемся в станицах более недели. Путешествуем, так сказать, по благодатной, черт бы ее побрал, Кубани! Правда, путешествуя эти дорогие нам обходятся: у красных силенок побольше, в каждой стычке несем потери.

— Война есть война, — философски заметил я. — Сколько еще испытаний, сколько потерь впереди!

Он испытующе посмотрел на меня. Так обычно смотрят люди его профессии, у которых в крови сидит неугащее ни на миг недоверие даже к тем, кому можно вполне доверять.

Тем временем мы приблизились к добротной казачьей хате, огороженной новым высоким плетнем. Солнечные блики вспыхивали в многочисленных цветных стеклах просторной веранды, обращенной на юг. За домом раскинулся большой фруктовый сад, а со стороны фасада был аккуратный палисадник с кустами смородины и цветами, среди которых я сразу же заметил мои любимые ирисы.

— Вот тут и разместитесь, — голосом доброго гостеприимного хозяина пророкотал Донцов. — И удобно, и до штаба недалеко.

— Очень признателен вам за заботу, господин полковник, — произнес я. — Вы извините меня за то, что я доставил вам столько хлопот. Уверен, что вас ждут более важные дела, а я, с вашего позволения, устроюсь теперь вполне самостоятельно.

— Вы попали в самую точку, Дима, — обрадованно сказал Донцов, и я подумал, что одним из этих «важных» дел было, наверное, стремление полковника побыстрее отправиться на свидание с Любой, которую он обещал навестить вечером. — Вы уж, если что не так, — сразу мне сигналчик. А то у нас знаете как бывает? Какой-нибудь, ангидрид твою... — Он осекся, проглотив остаток этой фразы, — какой-нибудь олух, не разбираясь, что к чему, начнет к вам придирааться.

— Да уж постараюсь постоять за себя сам, в случае чего, — сказал я сухо: мне неприятна была такая плотная опека.

— Я в этом не сомневаюсь, Дима. — Он посмотрел на меня почти с любовью. — И все же на мою помощь и поддержку вы можете рассчитывать в любой момент. Желаю приятного отдыха. — Донцов, откланявшись так, будто я был не поручик Бекасов, а сам генерал Деникин, отправился восвояси. Я не раз замечал привычку людей, подчиненных высокому начальству, изо всех сил улож-

дать тем, кто пользуется благорасположением этого самого начальника. Так уж заведено было в жизни...

Я взошел на широкое крыльцо, ожидая встречи с той самой сварливой хозяйкой, о которой мне говорил Донцов, и вдруг, к своему несказанному удивлению, увидел вышедшую мне навстречу... Любу! Красивое лицо ее сияло, будто встреча со мной была для нее лучшим подарком.

— Здравствуй, Дима! — В голосе ее слышалась радость. — Теперь я уж точно знаю, что родилась под счастливой звездой! Ты снова со мной!

От этих слов я даже потерял дар речи. В голове у меня теснились, обгоняя друг друга, десятки вопросов к ней, хотя главным был один-единственный: почему она так поступает, почему, говоря о любви, предает меня на каждом шагу?!

Однако Люба не дала мне задать этот, самый главный для меня, вопрос. Едва я попытался открыть рот, как она, крепко обняв, закрыла мне его горячим поцелуем. И за этот поцелуй я еще сильнее возненавидел ее!

У меня перехватило дыхание, я оторопело смотрел на нее, пытаюсь понять: нормальный ли она человек или же помешавшаяся на плотских желаниях психопатка?

— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Дима, — оторвавшись от моих губ, спокойно, даже отрешенно сказала она. — И знаю, о чем хочешь меня спросить. Сказать?

— Ты не женщина, ты — сам дьявол! — наконец смог выговорить я. — Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать! Я проклял день и час, когда встретил тебя!

— Нет! — Любин голос был полон решимости. — Нас свела война, и только война сможет нас разлучить. — В ее словах было что-то пророческое. — Ты любишь, хочешь меня, ты все равно не сможешь жить без меня.

Я молчал. Да и что я мог сказать?

— Пойдем, я покажу тебе твою комнату, — уже по-хозяйски, обыденно сказала Люба, и, странное дело, я пошел за ней с прямо-таки собачьей преданностью.

Мы вошли в светелку, где стояла широкая железная кровать с никелированными шарами на спинках. Кровать была накрыта одеялом, представлявшим собой мозаику спитых разноцветных лоскутов. В головах лежа-

ли огромные, пышно взбитые подушки. Я так устал и физически и морально, что готов был тут же повалиться на эту манящую к себе кровать. Но Люба усадила меня за стол, уставленный едой. Я заметил и отварную фасоль с молоком и красным перцем — национальное блюдо осетин, любимое мной еще в детстве; здесь же стояла тарелка с жареным сазаном, нарезанным крупными кусками. Сазан тут же некстати вызвал у меня неприятное воспоминание об ухе, которой нас потчевал Лука. Мне вдруг расхотелось есть.

— Да выкинь ты все из головы. — Люба словно разгадала мои мысли. — Главное, что мы с тобой живы и все идет хорошо. Ты пойми, Дима, я не предавала тебя. У меня и в мыслях этого не было. Хочешь, поклянусь? Неужели ты забыл, что было у нас в Ростове?

Я вспомнил ту первую ночь в Ростове, и — что делать — мне еще сильнее захотелось Любу, сильнее даже, чем тогда.

— Ты поешь, я же знаю, что ты голоден, — ласково продолжала она. — Не могу смотреть на голодных мужчин. Да, о чем это я начала с тобой говорить? — Она то ли впрямь забыла, то ли лукавила, чтобы услышать мою подсказку.

— Да все о том же самом, — стараясь показать, что я так и не простил ее, сухо ответил я. — Впрочем, я думаю, что ты не откроешь мне всей правды.

— Если ты вознамерился обидеть меня, то эти твои слова — самые подходящие. — Я почувствовал, что Люба действительно обиделась.

— Можно подумать, что ты не знала, что меня ждет, когда привезла прямо в контрразведку?

— Клянусь тебе, Дима, клянусь всеми святыми, я сделала это, чтобы спасти тебя.

— Чтобы спасти, ты предавала меня?

— Да, предавала, чтобы спасти!

От ее наглости у меня опять на время пропал дар речи. С трудом я произнес:

— Так объясни же мне все, наконец!

Люба посмотрела на меня чуть ли не с жалостью:

— Дима, ну неужели ты сам не понимаешь? Контрразведка случайно обнаружила, что Григорий Маркович,

хозяин, связан с красными, и решила использовать его дом для выявления засылаемых агентов. Ты прибыл первым. Но когда я тебя увидела, узнала, то не смогла поверить в то, что ты, офицер, дворянин, добровольно стал красным шпионом. Я решила, что, может быть, тебя заставляли угрозами, пытками... И я подумала, что Донцов с Деникиным во всем разберутся. И вот видишь, ты сумел доказать свою невиновность, тебе поверили.

Люба смотрела на меня сияющими глазами. В ее словах была конечно же своя логика. Но я подумал о том, что если бы не личная неприязнь Донцова и Деникина к Савинкову и не наивная вера Антона Ивановича в человеческую порядочность, то я бы сидел сейчас под арестом, в лучшем случае...

— Дима, не печалься. — Люба порывистым движением обняла меня. — Ведь все хорошо: ты с теми, с кем должен был быть с самого начала. А я с тобой, я тебя люблю. Может быть, я и плохая, но, поверь мне, ты первый мужчина, которому я это говорю.

Впервые за все время этой неожиданной встречи я пристально посмотрел Любе в лицо. Оно сияло такой радостью и любовью, что у меня невольно сжалось сердце.

«Господи, какие еще испытания ты мне готовишь, — подумал я, жадно целуя ее волосы, глаза, губы и не желая больше думать ни о красных, ни о белых. — Пусть все будет так, как должно быть!»

22

Первоочередной целью Деникина было взятие Екатеринодара — и не только потому, что это было важно со стратегической точки зрения. Деникин не мог не выполнить завет Корнилова.

Разумеется, он хорошо понимал, что задача эта была не из легких. Город защищали значительные силы хорошо вооруженных красных войск. По данным разведки, они имели до сотни орудий, много пулеметов, большой запас боеприпасов.

Задолго до наступления на Екатеринодар Деникин

принялся за структурную реорганизацию Добровольческой армии, которую считал необходимым разделить на три пехотные, одну конную дивизию и одну конную кубанскую бригаду. Конечно, дивизии эти были немногочисленны, но зато сильны своим кадровым составом, крепкой дисциплиной и приобретенным в боях опытом.

Деникин понимал, что для захвата Екатеринодара прежде всего нужно обеспечить собственный тыл. Одним из главных условий выполнения этой нелегкой задачи было взятие под контроль всего железнодорожного сообщения Северного Кавказа с Центральной Россией. Романовский днем и ночью работал над этим планом.

— Прежде всего нужно захватить станцию Торговая, — доложил он Деникину. — Второй важный пункт — станция Великокняжеская, что к северо-востоку от Торговой. После выполнения этой задачи следует сосредоточить все донские войска на Царицынском направлении.

— Согласен с вами, Иван Павлович, — одобрил Деникин. — Думаю, что армию следует повести вдоль железной дороги к станции Тихорецкой.

— От Великокняжеской до Тихорецкой сто пятьдесят верст, — уточнил Романовский. — Вы абсолютно правы, Антон Иванович, именно в Тихорецкой пересекаются две важнейшие железнодорожные магистрали: Царицын — Екатеринодар и Ростов — Владикавказ.

— Прошу вас, Иван Павлович, непременно предусмотреть обеспечение флангов, особенно после взятия Тихорецкой, если, конечно, Господь поможет нам ее взять.

— Я думал об этом, — сказал Романовский. — Чтобы фланги были надежно защищены, следует частью войск, находящихся на правом фланге, нанести удар по станции Кущевка, а на левом фланге — по станции Кавказская. Этим самым мы будем иметь двойной выигрыш: обеспечим фланги и намертво перекроем дорогу Ростов — Владикавказ. Пусть тогда большевики поломают голову над тем, как им перебрасывать пополнения и боеприпасы к Екатеринодару.

— Как вы мыслите себе нанесение завершающего удара по Екатеринодару? — нетерпеливо спросил Деникин.

— Думаю, что нам придется вспомнить о Каннах, — скупно улыбнулся Романовский.

— А что? — с воодушевлением подхватил Деникин. — У Ганнибала при Каннах сил было вдвое меньше, чем у противника, и все же римская армия Теренция Варрона была разбита в пух и прах.

— Думаю, что на Кущевку следует двинуть главные силы. Там сосредоточены крупные части красных войск, которыми командует Сорокин. Взять Кавказскую поручим генералу Боровскому, что же касается фронтального удара по Екатеринодару, то эту честь предоставим полковнику Дроздовскому.

— Что же, Дроздовский опытный офицер, — согласился Деникин. — Но, на мой взгляд, излишне жесток. Особенно с пленными. А это осложняет наши отношения с местным населением. Более того, отталкивает его от нас.

— Да, Дроздовский — человек суровый, в гневе бывает страшен, — подтвердил Романовский. — Но воевать он умеет, и я уверен, что он первым ворвется в Екатеринодар.

— Дай-то бог, — вздохнул Деникин. — И все-таки насчет пленных вы с ним поговорите.

Удар по Тихорецкой был внезапен и стремителен. Добровольцы захватили много оружия и боеприпасов, других трофеев. Но главным трофеем был штабной поезд красного командарма Калнина.

Зарождалось раннее утро, только-только взошло солнце, и день обещал быть прекрасным. Но он был бы прекрасным, если бы в этих краях воцарилась мирная жизнь. Сейчас здесь шел кровопролитный бой. Железнодорожная колея протянулась по степи и просматривалась едва ли не до самого горизонта. Рельсы еще сверкали капельками росы, пристанционные тополя стояли недвижно, устремив ввысь свои пирамидальные вершины.

«Райское место, — грустно подумал Деникин, — не было бы этой заварухи, поселился бы тут, ходил бы с рассветом на рыбалку. Река здесь тихая, будто уснувший младенец. Недаром же и станция называется Тихорецкой...» Он не любил бурных горных рек, зато обожал реки степные: тихие, как бы презиравшие суету жизни и сознающие свое предназначение — вносить в разгорячен-

ные злобой и непримиримостью души людей успокоение и сознание того, что в мире есть более высокие ценности.

Как только добровольцы увидели на путях небольшой состав из трех классных вагонов, стало ясно, что на станции, в тупике, стоит штабной поезд. Тут же батарея полевых пушек открыла огонь.

Вскоре добровольцы ворвались на станцию. Группа офицеров устремилась к поезду. Молодой щеголеватый поручик стремительно взбежал по ступенькам в салон-вагон.

Картина, представшая перед его глазами, была страшной. На полу, застланном дорогим ковром, лежал, разбросав руки, человек в военной форме. Из его виска сочилась кровь. А на диване неподвижно лежала молодая женщина. Поручик тронул ее за плечо и отшатнулся: огромное пятно крови расплывалось по ее белой, английского покрою, кофточке.

Спрятавшийся в последнем вагоне военный средних лет на допросе признался, что он — адъютант командующего армией Калнина, но местонахождение командира ему неизвестно. На вопрос об убитых ответил:

— Это начальник штаба Полетаев, бывший полковник. Перешел к большевикам. Когда вы заняли станцию, сказал, что не видит другого выхода, как пустить себе пулю в лоб. А перед тем как сделать это, застрелил жену.

— Собаке — собачья смерть! — воскликнул поручик, охваченный победой. — Мы не простим измены ни одному Иуде!

— Полетаев понимал, что вы уготовите ему страшную казнь, — проговорил адъютант.

— Страшную казнь, говоришь? А вот если тебе отрубить руки и ноги, вспороть живот, выколоть глаза, отрезать язык — какая это будет казнь?! Так поступают с нашими офицерами, захваченными в плен, твои красные собратья. И при том на весь мир кричат, что они великие гуманисты!

— Настоящие красные бойцы так не поступают, — неожиданно осмелел адъютант. — Это могли сделать бандиты, прикрывшиеся именем пролетарских бойцов. А что касается ваших добровольцев, поручик... По приказу полковника Дроздовского были расстреляны все взятые

в плен красноармейцы. И проделали с ними все то, о чем вы так живописно рассказали.

— Да, потому что полковник Дроздовский перед этим убедился в зверствах красных вояк. Как вы нас, так и мы с вас.

И, обращаясь к сопровождавшим его солдатам, приказал:

— Расстрелять к чертовой матери этого праведника! Немедля! На одну красную сволоочь станет меньше!

Много позже, уже в эмиграции, Антон Иванович Деникин признавался, что, несмотря на его неизменное требование не применять жестоких мер к пленным, подчиненные если и выполняли эти приказы, то чисто формально.

«Нужно было время, — писал он, — нужна была большая внутренняя работа и психологический сдвиг, чтобы побороть звериное начало, овладевшее всеми, — и красными, и белыми, и мирными русскими людьми. В Первом походе мы вовсе не брали пленных. Во Втором — брали тысячами. Позднее мы станем брать их десятками тысяч. Это явление будет результатом не только изменения масштаба борьбы, но и эволюции духа».

Наступление деникинских войск на Екатеринодар шло весьма успешно, в соответствии с разработанным планом операции. Однако на завершающем этапе Деникину пришлось пережить немало тревожных дней. На наступавшие части из Екатеринодара обрушилась Таманская армия красных, которой командовали Сорокин и Ковтюх. Они ставили своей целью обойти добровольцев с флангов и взять их, что называется, в клещи.

И все же Добровольческая армия сумела преодолеть натиск таманцев и 3 августа 1918 года вошла в Екатеринодар.

Такой триумфальной встречи, какую устроили Добровольческой армии в городе, не ожидал даже Деникин. Улицы, залитые жарким южным солнцем, были полны ликующих толп народа. Конечно, трудно было с ходу опередить, какие слои населения аплодировали победителям. На первом плане выделялись предприниматели, купечество и, разумеется, местная интеллигенция правого толка. Но было много и простого народа с окраин города.

Хотя если бы у Деникина было время приглядеться к лицам, он смог бы прийти к выводу, что выражения этих лиц были далеко не однозначны. Одни прямо-таки полыхали безудержным ликованием, на других отчетливо проступала ненависть, третьи были нейтральны и даже равнодушны. Но сейчас, в минуты своего торжества, Деникин видел только ликование, ему казалось, что все люди, стоявшие вдоль улиц, по которым шли добровольцы, едины в своем прославлении победителей. Это врезалось ему в память на всю жизнь. Еще бы! Это был первый город, отвоеванный у красных, доказательство того, что армия способна воевать и побеждать. Можно было не сомневаться, что после взятия Екатеринодара в армию волются новые потоки добровольцев: ведь все, даже самые колеблющиеся, всегда примыкают к тем, у кого сила и власть.

К тому же Деникину очень понравился Екатеринодар. И хотя он родился на польской земле, на которой даже лето бывало прохладным и часто дождливым, Антон Иванович любил юг, даже палящее солнце не изнуряло его, а, напротив, радовало и вселяло бодрость. Несмотря на то что добровольческие войска вошли в город, многие улицы которого были обезображены разрушенными домами, кучами неубранного мусора, — все равно город предстал перед Деникиным как олицетворение южной красоты, южного праздника природы. Ему приглялись по вкусу и добротные здания в центре, стремящиеся изысканной и порой вычурной архитектурой угнаться за домами российской столицы, и чистые, опрятные домики на окраинах в окружении садов с яблонями, абрикосами, сливами, вишнями, неизменным тутовником перед заборами. И люди, и дома, и улицы — все было пестрым, ярким, живописным, все переливалось буйными красками, кричало: это юг, юг, благословенный юг! И Антон Иванович был несказанно рад тому, что попал в этот город не зимой, не в весеннюю или осеннюю слякоть, а именно сейчас, в августе, когда природа радуется людям не только теплом, но и своими щедрыми дарами.

Деникин обосновался со своим штабом на городском вокзале. Здесь было удобно во всех отношениях: вокзал не был разрушен и нашлось достаточно помещений, что-

бы разместить весь штаб. Кроме того, вокзал был удобен и на случай внезапной эвакуации, если бы вдруг красные вздумали наступать.

Почти весь день Деникин не выходил из здания: правительство Кубани, окопавшееся в Тихорецкой, недвусмысленно дало понять генералу, что имеет приоритетное право первым войти в освобожденный город. Больше того, атаман Филимонов даже намекал на то, чтобы Деникин не спешил появляться в городе, якобы по той причине, что правительство должно располагать необходимым временем для устройства главнокомандующему официальной торжественной встречи. И еще для того, чтобы наступление Добровольческой армии в Екатеринодаре выглядело бы не будничным, рядовым событием, а приобрело характер исторического. Разумеется, Деникин сразу же раскусил истинные побудительные мотивы этой просьбы, более схожей с ультиматумом, но промолчал, решив, что пребывание его на вокзале не означает еще пребывания в городе.

И все же к вечеру его терпение иссякло, и, сев в поданный ему местной знатью автомобиль, он поехал в центр города. Но и там, на городских улицах, его не отпускало от себя негодование: «Ну и правительство, черт бы его побрал! Кто вам мешал, господа хорошие, первыми ввязаться в бой с красными, разгромить их да и войти первыми в город?! Так нет же, когда город взят Добровольческой армией, это правительство пожелало войти в Екатеринодар на правах победителя, под гром духовых оркестров!»

На следующий день в городском театре с пышностью и блеском прошла официальная церемония в честь генерала Деникина. Медоточивые речи лились рекой.

— Кубанские казаки, — торжественно возвестил Филимонов, — закончив освобождение родного края, будут продолжать борьбу за возрождение великой, единой и неделимой России!

В таком же духе вещали и другие ораторы, не скупясь на обещания продолжать борьбу и за пределами Кубани. Все как один восхваляли мужество и доблесть добровольцев, воздавали хвалу Деникину, как истинному русскому полководцу, способному одолеть красных и

триумфально войти в Москву точно так же, как теперь он вошел в Екатеринодар — столицу кубанского казачества.

Деникин воспринимал все эти дифирамбы с изрядной долей скепсиса, думая больше о том, что предстоит осуществиться в ближайшем будущем. Его занимали мысли о планах дальнейшего наступления, о том, что мало завоевать территорию — ею надо еще и управлять, иначе все, кто проживает на этих территориях, будут ввергнуты в хаос. Генерал понимал, что в вопросах управления краем ему неизбежно придется встретить пусть не прямое, но все же сопротивление Кубанского правительства, которое и в этих вопросах претендовало на самые первые роли. Деникин придерживался точки зрения, согласно которой составные части Российского государства должны иметь самую широкую автономию, при которой обеспечивается бережное отношение к вековому укладу жизни населения. В данном случае — кубанского казачества. Кубанское же правительство и Рада спали и видели, как Кубань становится суверенным, независимым от России государством. Некоторые горячие головы, еще не дождавшись полной победы, уже требовали, чтобы на международную конференцию, посвященную окончанию Первой мировой войны, были посланы делегаты от кубанского казачества. Были и такие, кто оголтело добивался выхода всех кубанских казаков из состава Добровольческой армии. Кубанская армия, утверждали они, должна подчиняться генералу Деникину лишь в оперативном отношении.

— Ишь, на что замахнулись! — делился своими мыслями с Романовским Деникин. — Они хотят, чтобы моя армия уменьшилась не менее чем наполовину, да к тому же еще и лишилась всей конницы! И это в то время, когда красные создают небывалую еще по численности конницу, которая ныне на поле боя будет иметь решающее значение. Вы слышали о некоем Буденном?

— Приходилось, — ответил Романовский. — Этот бывший вахмистр создает целую конную армию — ни больше ни меньше!

— Вот видите! — Деникин был необычайно взволнован, хотя и старался внешне не показать этого. — Давай-

те-ка соберемся вместе с кубанскими властями и выскажем им откровенно, без всяческих экивоков, все, что мы думаем.

— Решено, — коротко откликнулся немногословный Романовский.

Вскоре на встрече командования армии и представителей Кубанского правительства Деникин заявил:

— Не будем играть в прятки, господа. Мы ставим своей целью в первую очередь освободить Россию от большевизма, а потом уж думать, кому из нас властвовать, а кому подчиняться. А Кубанское правительство торопится делить шкуру неубитого медведя. Кое-кто, похоже, заблудился, что половина Кубани еще лежит под властью большевиков, что на полях сражений льется кровь добровольцев. И в это самое время кое-кто стремится развалить армию. Знайте же, господа, что я этого не допущу!

И тут же демонстративно покинул заседание.

Деникин отдавал себе отчет в том, что освободить Екатеринодар — это еще не значит освободить всю Кубань. И потому он развивал наступление таким образом, чтобы выйти к Черному и Каспийскому морям. Уже в середине августа Добровольческая армия захватила Новороссийск. Таманская армия красных была вынуждена отходить к Туапсе, чтобы затем повернуть на восток для соединения с армией Сорокина.

Теперь предстояло сражаться за восточную часть Кубани.

23

Из записок поручика Бекасова

Екатеринодаром я был восхищен не меньше, чем Антон Иванович. Я попал в родную, милую сердцу еще с раннего детства стихию. Город этот был схож с Ростовом, Майкопом, Пятигорском, Владикавказом — короче, со многими городами Северного Кавказа. Но было и то, что отличало его от всех других кавказских городов: красавица Кубань — совершенно особенная река, с особым характером, река, которую невозможно было не любить. В ней не было дикого своеправия Терека и

слишком подчеркнутой безмятежности Дона. Она соединяла в себе, казалось, несоединимое: неукротимую волю к свободе и трогательную покорность. В этом сочетании проступало сознание величавого и в то же время скромного достоинства, эта прекрасная река как бы говорила: да, я своенравна и дика, потому что родилась высоко в снежных горах, крестилась в мрачных ущельях и теснинах; да, я спокойна и ласкова, потому что стремлюсь породниться со степями края, которые в мою честь названы кубанскими; да, я не похожа на другие реки, и потому вам остается только одно: восхищаться мною!

Я и в самом деле не уставал восхищаться Кубанью, и восхищался ею уже не в гордом одиночестве: со мною рядом была Люба. И самое удивительное состояло в том, что именно на берегу Кубани Люба сказала мне с улыбкой:

— Этой ночью я думала знаешь о чем? Нет, по твоим удивленным глазам я вижу, что тебе ни за что не догадаться!

— Я попробую! Тебе хочется прыгнуть с обрыва в Кубань?

— А что? Пусть бы она понесла меня в море.

— В Азовское? — Кажется, я не мог выдумать вопроса глупее: в какое же море может еще впадать Кубань?

— А мне все равно в какое. Лишь бы в морскую пучину. И знаешь, я горжусь этой рекой. Хотя бы уже за то, что ее прародитель — сам Эльбрус. Она же начинается на его склонах.

— Полюби ее еще и за то, что длина Кубани — без малого тысяча километров, что она взяла в плен много притоков. Да еще каких! Теберда, Уруп, Лаба, Белая!

— Ты так и не угадал, о чем я думала ночью.

— Тебя, наверное, потянуло в театр? Кажется, вчера приехала оперетка из Ростова.

— Да, оперетта — моя любовь! — воскликнула Люба. — И мы с тобой обязательно сходим, надо успеть, пока мы не ушли из города. Но ты снова не угадал. Да и не старайся — все равно ничего не выйдет.

— Может, ты хочешь разбогатеть? И чтобы война кончилась?

— Хочу. Очень хочу! И разбогатеть, и чтобы война поскорее кончилась. Но у меня свое представление о богатстве.

— И какое же? — живо поинтересовался я.

— Мое главное богатство — один человек, единственный во всем мире.

— И как его зовут? — насторожился я.

— Его зовут Дима.

— Вот уж не думал, что могу представлять собой такую ценность.

— А это уж мне судить, — произнесла она. — Сейчас я тебя изумлю, только не падай в обморок.

— Не переживай, я не из слабонервных.

— Вот мое желание: пока мы с тобой еще в Екатеринодаре, давай обвенчаемся!

Я и впрямь растерялся от нее слов. Конечно, я часто думал о нас обоих. По своей природе я был однолюбом, и после того как судьба свела меня с Любой, остальные женщины перестали для меня существовать. Но никогда не думал, что первой о женитьбе заговорит именно Люба. Воспитанный в старых консервативных традициях, которые требовали от женщины скромности и ненавязчивости, я в первый момент посчитал ее неожиданное предложение за дерзость. И потому даже покраснел, хотя, наверное, покраснеть должна бы была Люба. Покраснел и замолчал, и молчал, наверное, дольше, чем полагается в таких ситуациях. И увидел, как улыбка на ее лице стремительно погасла: так бывает, когда солнце внезапно скроется за тучу.

— Пойдем отсюда, — отчужденно сказала она и первая двинулась от берега реки к городскому пару. — Считай, что это была дурацкая шутка.

Я вмиг опомнился. Нет, я не могу потерять ее, нет, ни за что на свете!

— Люба! — крикнул я ей вдогонку. — Подожди!

Она даже не обернулась. Босая (туфли она держала в руке), Люба стремительно шла по высокой траве, будто куда-то очень спешила.

— Земфира! — Я звал ее так в минуты особой нежности и восхищения.

Люба остановилась.

— Что скажешь, Алеко? — На ее лицо снова сияла солнечная улыбка, глаза смеялись. — Испугался? Да, если я уйду, то уйду навсегда!

— Земфира, — повторил я это имя, звучавшее для меня пленительной музыкой. — Я счастлив! Я, как никогда, счастлив! — Я и в самом деле будто лишь сейчас осознал, что моя мечта может сбыться. — Мы обвенчаемся! Сегодня же!

Она пристально посмотрела на меня, словно хотела убедиться в моей искренности.

— А я думала, что мои слова сразили тебя наповал, — с легкой грустью произнесла она. — Видишь, какая я непугатая, разве нормальная женщина может первой предлагать себя в жены?

— Ты — чудо! — Восторг обуял меня, и я не мог уже утихомириться, если бы было можно, я б прямо сейчас повел Любу в церковь, чтобы обвенчаться. — А я — круглый идиот!

Люба подошла ко мне вплотную и обняла за шею.

— Ты всю жизнь будешь помнить, что первый шаг сделала я, — уже серьезно сказала она. — Ну и пусть! Это сам Бог свел нас, нам остается только покориться его воле. Но кто нас благословит?

Я на минуту задумался, но тут же меня осенило:

— Как — кто? Антон Иванович, кто же еще?

— Антон Иванович? — удивилась Люба. — А если он откажется?

— Вот увидишь, он будет рад! — воскликнул я.

— Ты так уверен? — с некоторым сомнением спросила она, и мне почудилось, что кроме сомнения в ее голосе прозвучало что-то еще.

— Безусловно! Он же еще при первой встрече назвал меня своим сыном!

— Ну что ж, — раздумчиво сказала Люба. — Антон Иванович, значит, Антон Иванович, так тому и быть.

Это были минуты, когда я напрочь забыл о красотах Кубани, о том, что идет война, что сейчас не самое подходящее время для свадеб, но желание всегда обладать Любой, считать ее своей собственностью затмило все остальное. Я был на вершине счастья, считал Любу «гением чистой красоты» и не только простил ей все прегрешения, но даже пороки перевел в разряд достоинств.

На другой день с утра пораньше мы решили попросить Деникина принять нас. Но Люба вдруг сказала:

— А давай нагрянем к нему внезапно!

— Идея! — подхватил я.

И вскоре мы предстали перед Антоном Ивановичем. Когда я, взволнованно, спотыкаясь едва ли не на каждом слове, излагал Антону Ивановичу свою просьбу, он сидел молча и, казалось, избегал прямо смотреть на меня и Любу. Было похоже, что он не без каких-то тайных мыслей обдумывает свой ответ.

Потом как бы враз очнулся и, подойдя к нам, тепло улыбнулся:

— Дети мои! Это же прекрасно — обвенчаться именно теперь, в Екатеринодаре. Это глубоко символично! Благословляю вас, дети мои!

И Антон Иванович широким жестом перекрестил нас. Мы попросили его быть с нами в церкви во время венчания.

— Обязательно! — пообещал он. — Лишь бы красные мне не помешали!

Все, что происходило потом в церкви, воспринималось мной как нечто нереальное: и благообразное, полное таинства лицо священника, и иконы святых, испуганно глядевшие на нас, и серьезный, даже торжественный вид Антона Ивановича, и даже строгое лицо Любы, которая в момент венчания до неузнаваемости преобразилась, потеряв свой обычный лукавый вид и став на удивление скромной и тихой, — все эти картины происходящего воспринимались мной как в тумане, а в душе вдруг проявилось ранее неведомое чувство ответственности — за женщину, которая отныне становилась моей женой.

«Теперь она твоя, теперь ты в ответе за ее жизнь и судьбу», — будто кто-то из святых, сошедших с иконы, внушал мне это, вызывая в душе и радость и страх.

Наша первая брачная ночь прошла не столько в плотских утехах, сколько в долгой, то умиротворенной, то бурной беседе. Было странно, что в эту ночь в Екатеринодаре не раздалось ни единого выстрела, будто некие высшие силы решили сделать все, чтобы нам было покойно, чтобы мы могли говорить и говорить...

— Для меня первой брачной ночью была та ночь в Ростове, — призналась Люба, прижимаясь ко мне. — Теперь откроюсь тебе: тогда, ночью, я решила, что ты будешь моим мужем. И отдавалась тебе уже как мужу. Не веришь?

— Верю, верю, — ответил я. — Тогда я тоже решил, что ты будешь моей женой. Только ты, и никто больше. И что ты будешь принадлежать только мне.

Люба, кажется, поняла тайный смысл моих слов: она знала, что я, как всякий мужчина, ревную ее к любовным приключениям в прошлом.

— Пусть эта ночь будет для нас исповедальной, — проникновенно сказала Люба. — Я не хочу, чтобы у меня от тебя были тайны.

— Это и мое желание, — растроганно сказал я и тут же подумал о том, что имею в виду лишь тайны личной жизни, но вовсе не тайну, связанную с заданием, полученным на Лубянке.

— Так вот, слушай, — начала Люба. — До тебя у меня были мужчины. Сколько? Скажу честно: немало. Хотя смотря как к этому подходить — ведь все в этой жизни относительно. Я просто не считала. Потому что это были не мужчины, а так, человеки в штанах. Да ты не улыбайся. А то, что они не затронули сердца, ну, ты понимаешь...

— Свежо предание... — с глуповатым смешком протянул я, даже не предполагая, что эта фраза, которой я не придавал ровно никакого значения, столь жестоко обидит Любу.

Ни слова не говоря, она оттолкнула меня и вскочила с постели. Даже не видя ее лица, я понял, что в ней клокочет ярость.

— Любка! — Мне нравилось так ее называть. — Что с тобой, я же пошутил, вот те крест!

Она не ответила. В комнате было не совсем темно — в окошко заглядывал молодой, только что народившийся месяц, и я заметил, что она начала стремительно одеваться.

Я порывисто бросился к ней, обнял за дрожащие плечи. Она не вырвалась, но глухие рыдания сотрясли ее вдруг похолодевшее тело.

— Клянусь тебе, я пошутил! — снова повторил я, стараясь успокоить ее: нет ничего более невыносимого, чем женские слезы, особенно когда они вызваны обидой, нанесенной любимым человеком.

Она долго не отвечала, потом тяжело опустилась на стул и локтем вытерла слезы, совсем так, как это делают простые казачки.

— Никогда не шути так, Дима. — Голос у нее был слабый. — Очень прошу, никогда больше так не шути. Слишком много для меня значит... Значишь ты... — Она опять помолчала, словно собираясь с силами, и почти прошептала: — Если меня вдруг не станет, Дима, ты горько пожалеешь о том, что так беспощадно шутил.

Тут уж едва не заплакал я. Обняв ее, я говорил самые ласковые, самые нежные слова, ругая себя за глупую шутку, иступленно заверял Любу, что такое никогда не повторится.

На следующий день нам с Любой довелось быть в городском театре, где открылась Краевая Рада. Главным оратором был Аягон Иванович Деникин.

Я впервые видел его не в боевой обстановке, не в воинском строю, а на трибуне. И сразу же пришел к выводу, что для публичных выступлений он мало подходит: дело было даже не столько в том, что в нем не было ничего от записного оратора, умеющего даже своим видом и манерами «показать» себя. Просто он не был создан для того, чтобы витийствовать с трибун, как для этого были изначально созданы, скажем, Керенский или Ленин. Деникин гораздо лучше, а главное, естественнее смотрелся на поле боя или просто в окружении офицеров и солдат.

С трибуны его голос звучал глуховато, вовсе не зажигательно, без излишней патетичности.

— Командование Добровольческой армии верит, что на Кубани нет предателей, что, когда придет час освобождения, вольная Кубань не порвет связи с Добровольческой армией и пошлет своих сынов в рядах ее в глубь России, в смертельном томлении ждущей освобождения...

Произнося такие фразы, он делал длительные передышки, как бы желая удостовериться, слушают его или нет, а убедившись, что слушают внимательно, продолжал:

— Разве возможна мирная жизнь на Кубани, разве будут обеспечены ваши многострадальные станицы от нового, еще горшего нашествия большевиков, когда красная власть, прочно засев в Москве, отбросит своими полчищами поволжский фронт, сдавит с севера и востока Донскую область и хлынет к вам?

Наконец голос его зазвучал более решительно:

— Большевизм должен быть раздавлен! Россия должна быть освобождена, иначе не пойдет вам впрок ваше собственное благополучие, станете игрушкой в руках своих и чужих врагов России и народа русского. Пора бросить споры, интриги и местничество!

Я понял, что ему очень хотелось предостеречь и даже напугать слушателей, а через них и все казачество, которое испытывало колебания и часто металось между белыми и красными, а то и просто выжидало: кто кого одолеет, чья возьмет?

— Борьба с большевиками далеко еще не окончена, — продолжал Деникин. — Идет самый сильный, самый страшный девятый вал! И потому не трогайте армии. Не играйте с огнем. Пока огонь в железных стенах, он греет, но когда вырвется наружу, произойдет пожар. И кто знает, не на ваши ли головы обрушатся распатанные вами подгоревшие балки...

Такие фразы, рассчитанные на восприятие простонародного сознания, мне пришлось по душе. Это звучало куда более убедительно, чем голая патетика.

— Не должно быть армий Добровольческой, Кубанской, Сибирской, должна быть единая русская армия с единым фронтом, с единым командованием, облеченным полной мощью и ответственным лишь перед русским народом в лице ее будущей законной верховной власти.

Я не только слушал Деникина, но и старался уловить реакцию зала. Она была далеко не однозначной. Об этом можно было судить по репликам сидевших неподалеку от меня. Диапазон этих негромких реплик был довольно широк: от «Настоящий вождь!», «Какой ум, какая голова!» до «Да это же ни много ни мало — царь Антон!», «Господа, вы видите — народился новый диктатор», «Да он все под себя гребет!».

Общее же восприятие деникинской речи было восторженным и бурным. Особенно когда в конце выступления ему подали телеграмму (видимо, так было предусмотрено сценарием, а может, явилось простым совпадением), которую он тут же зачитал. Это была телеграмма о взятии Ставрополя белыми войсками. Тут уже в зале началось невообразимое: гром овадий, крики «ура!», возгласы: «Слава Деникину!»...

Вечером мы с Любой обсуждали речь Деникина. У нас не было разногласий: мы пришли к единому мнению, что он выступил на редкость удачно и что его авторитет после этого поднимется еще выше.

Как-то незаметно перешли на разговор о самом Антоне Ивановиче, и в частности о его личной жизни.

— Мне кажется, — сказал я, — что Деникин слишком одинок. Ведь нельзя же жить одними служебными заботами, лишь одной войной. Я ни разу не видел его рядом с женщиной. Тебя это не удивляет?

— Ничуть, — сразу же откликнулась Люба. — Он, как и мы с тобой, — однолюб. Ты разве не знаешь, что он женат?

— Я в полном неведении, — чистосердечно признался я. — А где же его жена, кто она? Ты знаешь?

— Я знаю все! — немного заносчиво воскликнула Люба.

— По слухам? Или из надежных источников?

— Этот источник — сам Антон Иванович!

Я не мог скрыть своего изумления:

— Он с тобой говорил на эту тему?

— А ты можешь понять состояние уже немолодого человека, правда еще и не старого, человека, занятого боями и походами и начисто лишеного женской ласки, женского внимания? Нет, нет, не говори, ты не можешь этого представить, потому что ты, Дима, — молод, потому что ты — баловень судьбы. — Она лукаво взглянула на мое обиженное лицо. — Да ты не сердись, ведь я говорю правду. В тебя влюбляются красивые женщины, даже такие разборчивые, как я! — Она снова лукаво и победно улыбнулась. — А Антон Иванович корпит ночами над топографическими картами, неделями не вылезает из окопов или меряет версты в походе вместе со своими солда-

тами и офицерами. При этом, будучи человеком глубоко порядочным, не позволяет себе любовных интрижек с дамами, хотя мог бы это себе позволить, как позволяет, скажем, генерал Май-Маевский. И не только потому, что такие его поступки могут отрицательно повлиять на его авторитет среди офицеров и подать им дурной пример, но, главное, потому — и я ему вполне верю! — что любит только одну женщину на свете — свою жену.

Ее рассказ крайне заинтересовал меня.

— А какая же она — его любимая женщина? Наверное, такая же красавица, как ты?

— Не хочу сравнивать ее с собой, ты подумаешь, что я — большая задавака. Не скажу, что она из особых красавиц, но очень миловидна и по-своему интересна. Очень обаятельна и, судя даже по первому впечатлению, — человек с доброй, отзывчивой душой.

— Ты встречалась с ней?

— Да, когда она жила в Ростове. А до этого в Новочеркасске. Антон Иванович говорил мне, что Новочеркасск стал его любимым городом. А знаешь почему? Там он обвенчался с Ксенией Васильевной — так зовут его жену. Антон Иванович рассказывал, что обвенчались они в январе, сразу после Рождества. В церкви шло венчание, а в городе шла страшная стрельба. Стояли жуткие холода, в церкви изо ртов присутствовавших шел пар. Скромная, очень скромная была свадьба! Чтобы не привлекать внимания, священник даже не зажигал паникадила. Не было церковного хора. А приглашенных было всего четверо. Шаферы — генерал Марков, полковник Тимановский и два адъютанта. Даже когда атаман Каледин попытался устроить небольшой прием в честь новобрачных, Антон Иванович горячо поблагодарил его, но отказался.

— Она — ростовчанка, Ксения Васильевна? — поинтересовался я, все более проникаясь уважением к Антону Ивановичу. Передо мной проявлялся его поистине рыцарский характер.

— Нет. Не ростовчанка, — ответила Люба. — Антон Иванович познакомился с Ксенией еще в Польше, до революции. Очень романтическая история! Антон Иванович служил в городе Бела и там сдружился с семьей Ва-

силия Ивановича Чиж, офицера-артиллериста. К тому времени Чиж вышел в отставку и был податным инспектором. И слушай, какое совпадение! Его дочь Ася родилась в тот год, когда Антон Иванович был произведен в офицеры. Представляешь?

— Выходит, у них большая разница в возрасте?

— Что ты меня перебиваешь? Так вот, когда Асе было три года, Антон Иванович подарил ей на Рождество куклу, у которой открывались и закрывались глаза. Представляешь? А теперь эта самая Ася — его жена! Она сама рассказывала мне об этой кукле, да так восторженно, что мне самой захотелось поиграть.

— А ты у меня еще совсем маленький ребеночек, Любка-голубка! Хочешь, я куплю тебе куклу?

— Как бы я была счастлива снова превратиться в ребеночка! — воскликнула она. — Так вот, Антон Иванович души не чает в своей Асе и ждет не дождется того дня, когда свидится с ней.

— Как я понимаю его! — произнес я. — Мне трудно даже представить, что хотя бы на один день расстанусь с тобой.

— Война, Дима, — с неожиданной грустью сказала Люба. — И в обычной мирной жизни не обходится без разлук, а война и разлука — родные сестры.

Я вздохнул, со страхом представляя себе, что мы вдруг разлучились с Любой.

— И все-таки как же он обходится без женщин столь продолжительное время? — Это уже был вопрос любопытного мужчины.

— А он и не обходится.

— Значит, у него есть женщина, любовница? — Ее ответ побудил меня к еще более настойчивым расспросам.

— Конечно, есть!

— И кто же?

— Одна из тех, кто однажды помог ему справиться с одиночеством, это была я.

Если бы на меня неожиданно сбросили сверху камень, я бы, наверное, не ощутил такого удара, как ощутил его от слов, произнесенных Любой.

— Ты, разумеется, шутить? — пробормотал я онемевшими губами.

— Какие могут быть шутки, Дима? — удивилась она. — Я же тебе поклялась, что у меня не будет никаких тайн. О той жизни, которой я жила до тебя.

Я долго молчал, язык не повиновался мне, меня трясло.

Люба села ко мне на колени, обняла за шею. Мне хотелось сбросить ее с колен, как я, наверное, сбросил бы очутившуюся у меня на коленях жабу. Но на это у меня сейчас не было сил.

— Дима, будь мужчиной, — сдержанно произнесла Люба. — Разве ты не понимаешь, что полководцу для того, чтобы побеждать, нужны положительные эмоции? Если хочешь знать, я совершила это ради нашей победы. И разве я могла ему отказать?

— Кажется, ты никому не можешь отказать, — глухо проговорил я. — И у тебя всегда есть оправдания.

— По крайней мере я не лгу и не стараюсь прикидываться чистюлей и паинькой. Если любишь, то люби меня такую, какая я есть.

Сейчас я готов был задушить ее.

— Хочешь знать, как это было? — Она, кажется, решила всласть поиздеваться надо мной. — Поздно вечером меня послал к Антону Ивановичу Донцов. С какой-то срочной телеграммой. Я пришла. Антон Иванович был один, кроватка была уже расстелена, — видимо, он собирался ко сну. Он был в хорошем настроении, предложил мне вина, потом долго рассказывал про свою жизнь. Много говорил о Ксении, о своей любви. Я слушала его исповедь. И когда он сказал, — ты бы слышал, как жалко и обреченно он произнес это, — что уже полгода, как лишен женской ласки, я сама...

— Молчи! — Я зажал ей рот ладонью. — Молчи, или я убью тебя!

— Убей, — покорно согласилась она. — И ты больше никогда не узнаешь, что такое моя любовь.

Сейчас во мне неистово боролись два чувства: хотелось задушить ее своими руками, чтобы она перестала мучить меня, и в то же время я жаждал всегда обладать ею, проствив ей все, даже еще неизвестные мне «грехи».

— Успокойся, милый, — прошептала она, прижимаясь ко мне. — Я же поклялась, что отныне, после нашего

венчания, ни один мужчина, кроме тебя, не прикоснется ко мне. Если мы проживем с тобой много лет, ты сам убедишься в этом. И если я вдруг нарушу свой обет — стрелай в меня, режь меня, жги меня!

— Проклятая моя Земфира! — вскричал я, и все повторилось сызнова, как это было у нас в ту, первую, роетовскую ночь...

24

Если бы Антон Иванович Деникин не верил глубоко и искренне в высокие нравственные и политические устои русской армии, с которой сросся воедино всей своей жизнью, то вряд ли даже какой-либо мудрый провидец смог бы предсказать, что, несмотря на всю силу революционного взрыва, разрушившего государственный строй, складывавшийся в России веками, он останется верным своей военной судьбе и не изменит той армии, которая его вырастила и вывела в генералы. Скорее всего, такой провидец предположил бы, что он, как и многие другие генералы и офицеры старой русской армии, взвесив все «за» и «против», положив в основу своих действий принцип личного благополучия, перешел бы на службу к новой власти, которая спешно создавала военную силу для своей собственной защиты. И в самом деле, даже генералы, которым было что терять, которым надо было полностью менять те идеологические ценности, которым они поклонялись всю свою жизнь, — шли в ряды армии, сразу же названной большевиками Красной. Деникин, которому терять в этой жизни было абсолютно нечего — у него не было ни имений, ни накопленного предками богатства, ни счетов в иностранных банках — и все имущество которого умещалось в нескольких походных чемоданах, Деникин, который не имел никаких аристократических корней, не был выходцем из дворян, а был сыном крепостного крестьянина, которого при Николае I на двадцать пять лет забрали в солдаты, — этот самый Деникин исключительно по зову сердца, по велению собственных убеждений остался верен долгу истинного русского патриота.

Несмотря на то что Деникин рос и формировался как человек, преданный монархическому строю, он не мог не чувствовать, что пришла пора перемен и что эти перемены неизбежны, так как общество в основе своей жаждет народовластия. И в то же время он был убежден, что пока существует монархия, армия призвана охранять тот государственный строй и тот общественный порядок, который существует, что армии незачем вмешиваться в политику, а следует лишь беспрекословно и точно исполнять свой долг и приказы своих командиров. Деникин был уверен, что, если армия поступает иначе, значит, она губит сама себя и вместе с собой губит государство, которому служит.

Антон Иванович был яростным противником всяческих революций, какие бы цели эти революции ни ставили перед собой, ибо любая революция, как он полагал, — это прежде всего пожар, разрушение, своего рода «гибель Помпеи», нечто вроде урагана, сметающего на своем пути и правых и виноватых, несущего с собой миллионы жертв исключительно ради того, чтобы доказать главенство и необходимость идеологических постулатов, придуманных наивными и бесплодными мечтателями или же — что наиболее соответствует истине — тем, кто с помощью революционных потрясений вознамерился взобраться на вершину власти.

В жарких спорах с не разделявшими его мнений Деникин часто повторял один и тот же пример:

— Взгляните хотя бы на наш Петроград — это изумительное «Петра творенье». Да, в нем, как и во всей России, уйма социальных контрастов, которые не могут не потрясать душу, — роскошь и нищета, дворцы и хижинки, подвалы, в которых ютится и страдает бедный люд. И вот ради того, чтобы все жители города — абсолютно все — жили во дворцах, революция решает взорвать этот город, сровнять его с землей, и на этом месте построить совершенно новый, в котором все живут как самые настоящие богачи — и те, кто трудится в поте лица своего, и те, кто проводит дни в праздности, и те, кто ворует и грабит. А между тем жители взорванного и сожженного города превратились в бездомных страдальцев, в беженцев, которым негде преклонить головы. Они мрут от го-

лода и холода, от болезней и эпидемий, они прокляты Богом и судьбой. А кто остался в живых, с мольбой и надеждой устремляют свои взоры за горизонт: когда-то там воздвигнут новый город, в котором все будут жить одинаково хорошо. Но до этого блаженного момента могут пройти века, а между тем разгорятся неизбежные войны этих жителей друг с другом за передел того имущества и богатства, которое принадлежало одним, а было отдано другим. И вдруг те, кому посчастливилось дожить до заранее предначертанного срока, с ужасом убеждаются, что нового города нет и никогда не будет...

— И что же, вы предлагаете, чтобы все в мире оставалось по-старому? Чтобы сохранялся строй насилия и эксплуатации? — спрашивали его озадаченные собеседники из «левых». — Так не бывает. Изменения происходят в обществе неизбежно, как это происходит и в природе.

— Согласен, — отвечал Антон Иванович. — Перемены; безусловно, необходимы, они вызываются самой жизнью, самим временем, но эти перемены надлежит производить без революций, без великих потрясений. Вернемся к тому же Петрограду. К чему разрушать его до основания, чтобы на его месте строить заново? Не разумнее ли было бы постепенно и продуманно сносить пришедшие в негодность дома, строить новые и переселять в них тех, кто живет в подвалах, кто за свою жизнь натерпелся от наводнений нашей своенравной Невы, — иными словами, не разрушать, ибо для этого ума не надобно, а строить, ремонтировать и исправлять.

— Дома-то новые построить — не велика затея, хотя и это предприятие осуществимо лишь в том случае, ежели государственная казна не пуста. Но вот кто перестроит человеческие души? Тут без революции, без революционной идеологии не обойтись! — не сдавались «левые» спорщики.

— Ну почему же? — не соглашался Деникин. — Умы человеческие тоже не надо взрывать так, чтобы летело все вверх тормашками. Не надо в голову человека закладывать фугасы. Надобно, чтобы все люди руководствовались лишь единственной идеологией — идеологией разума и чести.

— А кто без революции отдаст свои богатства, да еще добровольно? — следовал ехидный вопрос.

— А не надо ни у кого отбирать богатства, если они нажиты честным путем, если богатство — не результат грабежа и махинаций. Надо принять такие законы, чтобы это богатство могло быть использовано не на пользу отдельных личностей, но во благо всему обществу.

— Да кто же в России будет исполнять такие законы? — Тут уж Антона Ивановича пытались поднять на смех, и разговор постепенно заходил в тупик. Получался замкнутый круг: и с революцией плохо, и без революции не обойтись.

Деникин хорошо понимал, что в новых революционных условиях, перейди он на сторону восставшего народа, ему была бы обеспечена карьера на новом военном поприще, как обеспечили ее себе такие военные, как, скажем, Тухачевский или Сытин. Но, раздумывая над выбором пути, Деникин всякий раз отвергал такую возможность, прежде всего потому, что всегда презирал перевертышей и перебежчиков.

Особенно его трясло на фамилии Сытин. Еще бы! Деникин знал, что Павел Павлович Сытин был выпущен подпоручиком, впоследствии прошел курс Академии Генерального штаба. Воевал с японцами и германцами. На русско-германском фронте командовал бригадой. Как это схоже с военной карьерой самого Деникина! А в революцию переметнулся к большевикам! Взвесил все на весах совести (впрочем, Деникин очень сомневался, что у Павла Павловича она имелась в наличии), пригляделся к тому, что творится вокруг, — и стал ловить царский генерал Сытин свою фортуна, как любил изъясняться Антон Иванович, «в кровавом безвременье». И поймал! Стал, пусть и не на продолжительное время, главноком Южного фронта, да оскандалился во время наступления на белых на Балашовском направлении...

В своем походном дневнике Деникин разделил несколько чистых листов толстой общей тетради на две половины: в правой графе он записал фамилии тех генералов, кого хорошо знал лично и которые остались верны своему долгу и присяге. Здесь были: Колчак, Кутепов, Романовский, Дроздовский, Корнилов, Алексеев, Кале-

дин, Май-Маевский, Лукомский, Марков, Мамонтов, Шкуро, Улагай, Плющевский-Плющик...

Левая половина страницы была отведена тем представителям командного состава, которые перешли в лагерь большевиков: Брусилов, Тухачевский, Сытин, Каменев, Егоров...

25

Из записок поручика Бекасова

Как это ни странно, но даже во время войны нас с Любкой нередко тянуло в городской театр, по крайней мере в те дни, когда мы стояли в Екатеринодаре. Шли бесконечные бои, казачьи станицы то и дело переходили из рук в руки, не было, по сути, ни одной ночи, которая обходилась бы без яростной стрельбы, но молодость с ее желаниями, порой даже сумасбродными, брала свое.

Откровенно говоря, мне нравились провинциальные театры. Сравнивая их с театрами российских столиц — Петрограда и Москвы, — я обычно отдавал предпочтение театрам провинциальным, хотя многие не принимали их всерьез или же издевательски потешались над игрой их актеров — игрой, в которой трагические коллизии преувеличивались порой до гротеска, а комедийные ситуации выглядели шутовскими, балаганными. Естественно, в провинциальных театрах не было роскошных декораций, не было той торжественности, какая ощущается в театрах столичных (при этом мне приходило на ум «театр уж полон, ложи блещут...»), и, главное, здесь не выступали театральные труппы, уже прославившие себя как в России, так и за ее пределами, не звучало громких имен артистов, которых принято считать звездами сцены. Зато здесь, на провинциальной, часто бедной и даже убогой, сцене все было, на мой взгляд, человечнее, бесхитростнее, проще, и даже чрезмерная наивность, банальность, а иной раз и чрезмерная пошлость, рассчитанная на непритязательный вкус, тем не менее притягивали к себе чем-то земным, таким, как это и было в подлинной жизни. Здесь не было постоянной труппы, одни заезжие актеры сменяли других, и это тоже приближало театр к

реалиям человеческой жизни, в которой тоже, уж не знаю, на радость или на беду, все меняется с большой скоростью, таит в себе атмосферу непостоянства и причудливой смены чувств.

Вот и в этот тихий летний вечер мы с Любой сидели в театре, где давали «Севильского цирюльника». Я слушал божественную мелодию увертюры, мелодию, с которой можно было возноситься на небеса, идти в атаку и испытывать сладостное чувство счастья, даже сознавая, что жить тебе осталось лишь какой-то миг...

С чувством страха и обиды я думал о том, какой огромный контраст пролегает между этой музыкой чистоты и целомудренности, возвышенности устремлений и дум и тем, что сразу же вслед за ее последним аккордом происходит в нашей реальной жизни: наши поступки на грани пошлости, а то и сама не прикрытая ничем пошлость; наши слова на грани косноязычия, полные цинизма; наше притворство и наша ложь, выдаваемые за правду и искренность; наше стремление выглядеть благопристойно, вполне совместимое со стремлением скрывать даже от любимых нами людей истинное состояние души, истинные мысли и поступки.

Такие мысли лезли мне в голову до тех пор, пока не распахнулся занавес и я случайно не взглянул на лицо Любы. Каким ожиданием сияло оно в предчувствии того, что через миг произойдет на сцене! И я, отбросив свою навивную «философию», вновь порадовался тому, что повел ее в театр.

В антракте, когда мы выходили из партера, Люба шепнула мне:

— Посмотри, кто в ложе.

Я взглянул вверх: в ложе, подперев лицо ладонью, сидел Деникин. Позади него виднелось лицо Донцова. Мне стало неловко: ведь именно я и должен был сопровождать Антона Ивановича, но он не сказал мне о том, что намерен побывать в театре. Какая тактичность — он не захотел разъединять меня с Любой, узнав еще днем, что мы собираемся в театр. Мысленно я поблагодарил его за проявленное рыцарство.

Когда мы прогуливались с Любой в фойе, я неожиданно обратил внимание на невысокого мужчину в штат-

ском костюме. У него было задумчивое, настороженное лицо, на котором выделялись рыжеватые усики и стреляющие по сторонам глаза. Он привлек мое внимание к себе тем, что то и дело попадался нам навстречу и всякий раз как-то странно оглядывал меня, как это бывает, когда смотрят на человека знакомого, но так и не могут вспомнить, кто это и как его зовут. Это вызвало у меня смутное беспокойство, от которого я не мог отделаться даже тогда, когда мы вернулись на свои места. Я несколько раз оглянулся вокруг, стараясь увидеть этого странного незнакомца, но так и не обнаружил его.

Я так увлекся тем, что происходило на сцене, что вскоре позабыл о таинственном незнакомце. Мне снова стало покойно и уютно на душе.

Однако, когда представление окончилось и мы с Любой вышли из театра на улицу, в толпе людей я вновь, к своему неудовольствию, увидел этого человека. Спускаясь по каменным ступенькам, он старался держаться поближе ко мне, видимо опасаясь, что я исчезну из его поля зрения.

— Пойдем побыстрее, — негромко сказал я Любе. — Что-то я проголодался.

— Правда? — удивилась она. — А я еще вся там, в театре. Какая восхитительная вещь этот «Цирюльник»!

— Я тоже в восторге, — отозвался я. — Но, согласись, кроме духовной пищи есть еще и материальная.

— Тебя не спасли даже бутерброды в буфете?

— Они такие крошечные! И колбаса нарезана такими тонюсенькими ломтиками, что сквозь них все видно.

Люба хотела что-то сказать в ответ, но тут ее окликнули. Кажется, это была ее подруга — сестра милосердия из полкового лазарета.

— Подожди минутку, — сказала мне Люба. — Я мигом.

Она перебежала на другую сторону улицы. Я замедлил шаг, и тут меня кто-то тронул за руку. Я обернулся. Рядом со мной стоял тот самый незнакомец. Он смотрел на меня в упор и слегка улыбался.

— Простите, но чем обязан? Мы, кажется, не имели чести... — Говоря это, я пытался как мог скрыть охватившее меня волнение.

— Вам привет от полковника Дягилева из Москвы, — негромко произнес незнакомец.

Я все понял: согласно данному мне на Лубянке инструктажу, именно такую фразу должен был произнести связник при встрече со мной.

Откровенно говоря, все, что происходило со мной в последнее время, — мучительные переживания в те дни, когда я пробирался на Дон, встреча с Любой и бракосочетание с ней, беседы с Деникиным, участие в боях с красными, — все это как бы приглушило в моей памяти сознание того, что я должен, пробравшись в деникинскую Ставку, выполнять роль агента ЧК. Тем более что длительное время никто не пытался со мной связаться. Я не раз подумывал о том, что в сумятице гражданской войны обо мне попросту забыли. Но не тут-то было!

В этот период моей жизни я еще не принял решения, зачеркнув прошлое, начать новую страницу своей биографии, а именно — остаться с Антоном Ивановичем и не возвращаться в Москву. Но в то же время чувствовал, что где-то подспудно, в глубине моего сознания, это решение постепенно вызревало. Вызревало, сталкиваясь с внутренним противодействием, с аргументами «за» и «против», и даже с сиюминутным настроением. Деникин, вопреки тому карикатурному образу, каким рисовали его на Лубянке, вызывал у меня все большую симпатию и твердыми убеждениями, и верностью долгу, и тем, что он не умел и не хотел приспосабливаться к обстоятельствам. Очень импонировало мне и его истинное, а не показное бескорыстие и его истинный, а не показной патриотизм.

И потому неожиданное появление связника вызвало у меня смятение и растерянность.

Сейчас у меня был выбор: ответить связнику условленной фразой или же сделать вид, что я совсем не тот человек, за которого он меня принимает. И тут какой-то бес словно подтолкнул меня, шепнув на ухо: «Ты не предашь, ты не способен на предательство!»

И я тихо, но ясно произнес отзыв на пароль:

— Я искренне рад привету моего старого друга.

Люба уже спешила ко мне, лавируя между прохожими, и связник поспешно бросил:

— Завтра в девять вечера жду вас в парке, за эстрадой...

Я в знак согласия кивнул головой.

— Еле отвязалась от подружки, — запыхавшись, сказала Люба, подойдя ко мне. — Ты не сердисься?

— Ничуть, — бодро ответил я, увлекая ее в темноту переулка.

Придя к себе, мы долго не могли утихомириться. Люба без умолку говорила о театре и даже напевала обрывки арий, потом, когда она накрыла на стол, ее сильно удивило полное отсутствие у меня аппетита. Тогда она едва ли не силком увлекла меня в постель.

Я был молчалив, а Любу, кажется, обуял вихрь красноречия. То, что она говорила, казалось мне странным, я плохо вникал в ее слова, думая о своем.

— Мне не хочется тебя обижать, — между тем продолжала говорить Люба, — но в тебе слишком много романтики. Наверное, слишком много для мужчины. Это опасно, потому что рано или поздно приводит к краху иллюзий. Ты обожаешь женщин, а это всегда обрачивается разочарованиями. — Она помолчала немного. — Ты должен понять, что мы, женщины, несмотря на нашу красоту и обворожительность, в сущности своей — стервы. Стервы, понимаешь? А красота, обворожительность — лишь маска, приманка для мужчин. Особенно для таких романтиков, как ты. Кто-то из мудрых сказал: когда мужчина ближе присмотрится к своей богине, она становится простой женщиной.

Я никак не мог понять, к чему она затеяла этот разговор. К тому же я впервые встретил женщину, которая была бы столь безжалостна к самой себе.

— Ты, кажется, совсем не слушаешь меня, — обиженно сказала Люба.

— Нет, почему же, слушаю, — возразил я. — Ты говоришь, что я романтик. Но я не могу быть иным. И женщина для меня — богиня. Для меня ты, что бы там ни было, богиня — на всю жизнь.

— Так не бывает, — кажется, без огорчения произнесла Люба. — Прости меня за назойливые ссылки, но не станешь же ты отрицать то, что по этому поводу говорил Байрон?

— А что он говорил? Убей меня, не помню.

— А говорил он вот что: «Думаете ли вы, что, если бы Лаура была женой Петрарки, он писал бы ей сонеты всю свою жизнь?»

— Байрон, конечно, гений, но ведь и гении порой ошибаются, — возразил я. — Если бы я был Петраркой, то писал бы сонеты Лауре, нет, не Лауре — Любе всю жизнь.

Люба прижалась ко мне, обхватив руками, будто спасая меня от страшной опасности.

— Счастье — это только то, что мы испытываем в этот миг. Миг между жизнью и смертью, — с горечью произнесла она и вдруг заплакала. — Вчера ночью мне приснилось, что я потеряла тебя навсегда.

Успокаивая и лаская ее, я старался не думать о связнике...

26

Августовское утро едва начиналось, а генерал Петр Николаевич Врангель, покинув свой салон-вагон на станции Кавказской, уже скакал в окружении свиты в станицу Темиргоевскую, чтобы принять под свое начало дивизию, командовать которой не далее как два дня назад в Екатеринодаре благословил его Антон Иванович Деникин.

Солнце неспешно, как бы сознавая свою волшебную значимость, подымалось над степью, и травы на курганах, вымахавшие в полный рост, все еще зябко вздрагивали от ночной прохлады. Степь, лениво пробудившись на утренней заре, словно кошка ластилась к теплу.

По обеим сторонам полевой дороги нескончаемо тянулись неубранные кукурузные поля, бахчи с арбузами и дынями; застыли, нетерпеливо ожидая солнца, созревшие шапки подсолнухов. На взгорках, где уже пригрело и успела подсохнуть трава, стрекотали кузнечики. В стойком мареве на горизонте призрачно выявлялись очертания казачьих станиц.

Казалось, не было никаких причин для беспокойства, а тем более для тревоги, но Врангель все еще был под впечатлением своей недавней встречи с Деникиным.

Деникин принял Врангеля так, как будто уже давно знал и верил, что тот непременно явится к нему и встанет под его знамена. Врангель всегда завидовал этому непостижимому спокойствию, железной выдержке Деникина, хотя в душе и не любил людей подобного склада: ему нравились люди типа его самого — взрывчатые, динамичные, неудержимо рвущиеся к своей цели.

Врангеля раздражал взгляд Деникина — настороженный, цепкий, нацеленный как в момент выстрела. Этот взгляд уже с первых мгновений не предвещал ничего доброго для их будущих отношений, ибо был пронизан откровенным недоверием и подозрительностью.

— Безмерно рад, милейший Петр Николаевич, вашему прибытию и желанию вашему послужить нашему делу. — Слова, которые Деникин произносил внешне спокойно, плохо вязались с искренностью, поскольку тон, которым они произносились, входил в явное противоречие с их сутью. — Прекрасно знаю ваши способности как военачальника, не раз раздумывал над тем, как их употребить с максимальной пользой, учитывая наши ограниченные в смысле наличия высоких должностей возможности. Вы же, надеюсь, не хуже меня осведомлены, что войск у нас пока маловато, и потому выбор крайне велик.

Врангель насторожился: дурные предчувствия его не обманули: вместо того чтобы занять соответствующий своему военному таланту высокий пост, он, кажется, будет у Деникина на побегушках. Он заговорил, стараясь произносить слова с горделивым достоинством:

— Думаю, ваше превосходительство, вы прекрасно знаете, что в семнадцатом я командовал кавалерийским корпусом. Вполне возможно, что вы, как человек, целиком поглощенный спасением России, могли и запомнить, что в четырнадцатом я был всего лишь эскадронным командиром. Льщу себя праведной надеждой, что с того времени военные способности мои не настолько потускнели, чтобы мне не могли доверить все тот же эскадрон.

Врангель произнес все это не переводя дыхания, внимательно следя за тем, как реагирует на его слова Деникин. Он понимал, что эта тирада не может быть расцене-

на иначе чем выпад человека, претендующего на достаточно высокую должность.

Слушая его, Деникин основательно встревожился. «Этот ради своей карьеры пойдет на что угодно», — недобро подумал он, пытаясь скрыть неприязнь, которую вызывало у него по-лошадиному удлиненное породистое лицо Врангеля.

— Ну уж и эскадрон! — усмехнулся Деникин, но острые, с отблеском стали глаза Врангеля тут же погасили не к месту прозвучавший смешок. — Скажете тоже, Петр Николаевич, — с укоризной добавил Деникин и закончил уже сухо и кратко: — На дивизию согласны?

— Ваше предложение, дорогой Антон Иванович, делает мне честь. — В словах Врангеля прозвучала явная лесть. — Буду счастлив сражаться под вашим командованием!

Однако по тому, как впалые щеки Врангеля запылали жарким румянцем, Деникин понял: наверняка рассчитывал не менее чем на корпус. Деникин воспринял лесть без воодушевления: он слишком хорошо знал ей цену.

— Попрошу вас, Петр Николаевич, нанести визит Ивану Павловичу Романовскому. Он введет вас в курс дела, — поднялся, показывая, что аудиенция закончилась, Деникин.

Врангель, во всех случаях жизни стремившийся быть хорошо осведомленным, заранее многое узнал о Романовском. Правда, биографические данные начальника штаба его мало интересовали. Более всего привлекало то, что Романовский был не просто сподвижником, но и любимцем Деникина. Это вызывало раздражение и зависть.

Известно было Врангелю и то, что когда контрразведка Добровольческой армии получила сведения о том, что левые эсеры готовят покушение на Деникина, тот написал завещание в форме приказа войскам: в случае своей смерти главнокомандующим назначал генерал-лейтенанта Романовского. Разумеется, Деникин надеялся, что это завещание останется тайной за семью печатями, но вскоре убедился, что нет такой тайны, которая не стала бы явью. Несмотря на то что приказ хранился в его сей-

фе, а о существовании приказа знали лишь два человека — сам Романовский и генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик, — слухи о нем разнеслись среди офицерства. Сам того не желая, Деникин дал повод своим конкурентам сосредоточить огонь интриг на своем любимце: молва неистово чернила Романовского в глазах офицеров, подрывая его авторитет и создавая худую славу. В результате все победы командиры дивизий засчитывали себе, а все поражения и неудачи списывали на Романовского.

Все это Врангелю было известно, и он отправился к Романовскому как человек, который знает всю подноготную своего вышестоящего начальника, на словах будет изображать полнейшую лояльность, но поступать будет так, как посчитает нужным, а не так, как от него будет требовать этот «любимчик» главнокомандующего.

Начальник штаба, интуитивно чувствующий все это, говорил с Врангелем, стараясь избежать его настырного взгляда. Тон его был заметно смущенным.

— В состав вашей дивизии, — вводил Врангеля в курс дела Романовский, — входит Корниловский конный полк, Уманский и Запорожский полки, Екатерининский, Первый линейный и Второй Черкесский полки, а также первая и вторая конно-горные батареи и третья конная батарея. Сейчас дивизия ведет наступление на станцию Петропавловскую.

Врангель слушал эти перечисления рассеянно: он думал о том, каким бы более значительным был бы он, Врангель, на посту начальника штаба армии и как умело бы разрабатывал планы сражений, которые неизменно вели бы к успеху.

— Заранее скажу, — продолжал между тем Романовский, — что дивизия ваша испытывает немалые трудности: нет телефонной и телеграфной связи, недостает оружия. То, чем вооружены казаки, к сожалению, поступает не из войсковых складов, а из их собственных станичных подвалов.

«Хотел бы я знать, кому же Деникин презентовал винтовки и пулеметы, присланные союзниками? — Этот ехидный вопрос так и вертелся на языке у Врангеля, но он принудил себя промолчать. — Небось вручено это ору-

жие любимчикам вроде Маркова». — Крамольные мысли одолевали Врангеля.

...В Петропавловскую Врангель поспел как раз в тот момент, когда части его дивизии входили в станицу. Едва поздоровавшись с офицерами, он приказал наступать на станицу Михайловскую: на ее окраине, в излучине реки Синюхи, окопались красные.

На этом рубеже и началась кровавая схватка, выиграть которую пытались белые, но всякий раз откатывались назад под мощным огнем противника.

— И это называется дивизия, которую принял под свое начало барон Врангель! Да если бы я знал, что здесь воюют не орлы, а зайцы, ни за что бы не принял предложения главкома! — Врангель метался по горнице казачьей хаты, с гневом выслушивал сбивчивые, виноватые доклады подчиненных ему офицеров и кричал: — Подумаешь, Михайловская! Это что — неприступная крепость? Азов? А может, Верден? Извольте атаковать, атаковать, атаковать! Главные силы — на левый фланг! Приказываю взять эту красную сволочь в клещи и прорваться к линии Армави́ро-Туапсинской железной дороги! Кто первый придет ко мне с докладом об отступлении — расстреляю как предателя!

Приказывать было легко и даже сладостно, приказывать было любимым занятием Врангеля. Подчиненным же было тяжело: лобовые атаки казаков то и дело захлебывались, и они несли большие потери убитыми и ранеными.

Наконец удалось прорваться на левом фланге. Казаки обогнули противника с востока и вышли к линии железной дороги. Но это не привело к отходу красных, дрались они отчаянно. Бронепоезд ураганным огнем обрушился на конную лаву казаков и рассеял ее по жаркой степи. Наступление волей-неволей пришлось остановить.

А Деникин и Романовский, не принимая во внимание никаких оправданий, требовали от Врангеля победоносных действий. Ему ставили в пример боевые успехи дивизии Покровского, которая штурмом взяла Майкоп и вышла на рубеж реки Лабь. Ничто не могло так взвинтить и озлобить Врангеля, как подобные примеры. Пригласив к себе командира соседней дивизии полковника

Дроздовского, он принялся разрабатывать совместный план действий. Было решено, что Дроздовский сменит полки Врангеля на правом берегу Лабь и на рассвете атакует красных с фронта. Врангель своей дивизией и офицерским конным полком ударит в тыл красных в районе станицы Курганной, чтобы отрезать им пути отхода между реками Чамлык и Лабь.

Южная ночь была темной. Полки Врангеля едва ли не на ощупь устремились вперед, чтобы охватить правый фланг красных. Передовой дозор уже приближался к железнодорожному переезду, как вдруг непроглядную тень вспорол слепящий луч прожектора, загудели рельсы: приближался бронепоезд. Орудия батареи полковника Иванченко снялись с передков и открыли огонь. Бронепоезд нехотя дал задний ход. Врангель приказал взорвать железнодорожное полотно.

В стороне Михайловской стоял страшный грохот: то вели огонь артиллеристы Дроздовского.

А на рассвете начался поединок конницы. Молниями сверкали сабли, неистово ржали кони, потерявшие своих седоков. Конная лава красных катилась к мостовой переправе через Чамлык.

Врангель бросил в бой свой последний резерв — четыре сотни Корниловского полка. Слово черной тучей конная лава накрыла степь и тут же попала под сильнейший огонь красных.

Врангель понял, что бой проигран, тот самый первый бой, который он во что бы то ни стало обязан был выиграть — цена его была слишком высока: репутация нового командира дивизии. Кажется, впервые в жизни Врангель испытал отчаяние. Еще немного — красные захватят мост через Чамлык, и в их руках окажется едва ли не вся артиллерия дивизии. И если это произойдет — придется с позором отступать. Вот уж порадуется Деникин, теперь и эскадрона не предложит.

Худшие опасения Врангеля оправдались: пришлось отходить снова в Петропавловскую, куда через несколько дней нагрянул Деникин. Рядом с ним был, как всегда, Романовский. Деникин не скрывал своего недовольства. Руку Врангелю подал с такой неохотой, будто оказывал монаршую милость. Как всегда, был скуп на слова, при-

казал построить дивизию и провести смотр. Врангель уже приготовился к тому, что Деникин снимет его с должности, но вдруг в тот момент, когда происходил смотр Корниловского полка, главному вручили телеграмму. Деникин молча прочел ее и тут же протянул телеграфный бланк Романовскому. Тот, как по эстафете, передал ее Врангелю.

В телеграмме сообщалось, что двадцать пятого сентября скончался основатель и верховный руководитель Добровольческой армии генерал Алексеев.

— Скорбь о смерти нашего вождя, ваше превосходительство, смягчается лишь тем, что он имеет достойного преемника, — с вдохновенной печалью произнес Врангель, возвращая телеграмму.

Деникин с удивлением посмотрел на Врангеля. «Какая, однако, у барона длинная шея», — не к месту подумал Антон Иванович, а вслух спросил:

— И кто же, по-вашему, должен стать преемником покойного?

— Я знаю лишь одного такого человека! — Врангель яростно щелкнул шпорами, издавшими малиновый звон. — Я имею в виду вас и только вас, ваше превосходительство!

Антон Иванович пристально взгляделся в него, как бы желая понять, насколько искренен этот порыв, и вдруг, приблизившись к Врангелю, крепко обнял его за костлявые плечи: то была не столько благодарность за признание, сколько горькая печаль по скончавшемуся Алексею. Однако Врангель почувствовал себя на седьмом небе от счастья: кажется, грехи ему отпущены и дивизия остается за ним...

Сама судьба, бросившая в общий огненный котел двух русских генералов — Антона Ивановича Деникина и Петра Николаевича Врангеля — и вознамерившаяся соединить их, так и не справилась со своей задачей, ибо самой же судьбой было предопределено этим двум военным находиться в постоянном неприятии друг друга и в вечном противостоянии. Как мог барон Врангель, вынужденный формально, повинувшись требованиям субординации, признавать свою зависимость от Деникина, подчиняться ему фактически? Мог бы выходец из аристократов по во-

ле каких-то нелепых обстоятельств подчиняться главному — явному простолудину, сыну заштатного майора? И разве мог он, барон Врангель, человек в высшей степени амбициозный, веровавший в свою непогрешимость и в свою военную удачу, всерьез подчиняться Деникину с его основательностью крестьянского мужика, простоватостью, с его искренностью, привыкшему исповедовать принципы житейской мудрости, а не те этические нормы, которые присущи аристократам? Кроме того, Деникин не признавал авантюрных решений и действий, более того, презирал людей авантюрного склада. Естественно, при столь глубоких различиях между ними Врангель не только не мог по-настоящему подчиниться Деникину, но и не хотел подчиняться даже внешне. Он, постоянно ощущая свою зависимость от старшего начальника, довольно легко создавал впечатление, что готов исполнить любой его приказ, и, стремясь войти в доверие, порой с наигранным восторгом подхватывал мысли и планы Деникина, восхищаясь его действиями.

Деникину всегда претила лесть: большой и суровый жизненный опыт научил его отличать искренность от по добострастия. Он умел интуитивно, причем очень быстро и почти всегда безошибочно, «раскусить» человека, разгадать, что у него на уме, а не то что на языке.

Врангель умело выбирал моменты, когда его лесть, обращенная к Деникину, выглядела как нельзя более естественной и даже понятной. Обычно это бывало, когда они вместе входили в помещение, где их уже ожидали собравшиеся офицеры, или когда они посещали представления в Екатеринодарском театре. Едва Деникин показывался в дверях, как собравшиеся бурно приветствовали его криками «ура!» и оглушительными аплодисментами. Нередко звучали и здравицы в честь главнокомандующего.

В такие минуты Врангель, не теряя времени, поспешно, насколько позволял его высокий рост, наклонялся почти к уху Деникина и произносил:

— Антон Иванович, какой ошеломляющий прием! Какой любовью вы пользуетесь у офицеров! И не только у офицеров: народ приветствует своего освободителя! Ваш авторитет растет не по дням, а по часам!

Деникин в ответ лишь хмурил густые брови. Однажды он, выбрав удобную минуту, оставшись с Врангелем наедине, смущенно произнес:

— Петр Николаевич, вы так часто говорите о том, как меня любят, как растет мой авторитет. Но надо ли придавать этим внешним, порой стихийным проявлениям человеческих чувств такое большое значение? Не скрою, мне приятно, что встречают меня приветливо, но нельзя забывать, что в природе существуют некие законы инерции, да и в обществе тоже. Одна маленькая искорка способна возбудить большой пожар.

— Сколько я знаю вас, дорогой Антон Иванович, столько и поражаюсь вашей скромности. Иной раз даже приходит мысль, что вы лукавите.

— Вот уж не мог и подумать, Петр Николаевич, что у вас может появиться такая мысль, — ответил Деникин. — В чем, в чем, а в лукавстве и тем более в лицемерии я себя упрекнуть не могу. Это явно не моя черта характера.

— Извините, Антон Иванович, я вовсе не хотел вас обидеть, — поспешно заверил его Врангель. — Вы уж не сетуйте на мою откровенность — я никогда не таю своих мыслей от людей, которых в высшей степени уважаю, если не сказать больше — люблю.

Деникин не переваривал приторности изъяснений и потому мрачно насупился. Врангель тотчас же уловил это изменение в настроении главкома и внес нужные коррективы:

— Зная ваш честный, не приемлющий похвал характер, Антон Иванович, множество раз я старался удержать себя, но вы же сами видите, что проявление к вам доверия придумано не мною. Да если сказать честно, такие проявления необходимы не столько вам, сколько нашей доблестной армии. Чего стоит армия без авторитета командующего, без почитания, пусть даже и восторженного?

— Сие мне ведомо, — уже миролюбиво отвечал Деникин. — Но ведомо и другое. Приведу вам, Петр Николаевич, пример, свидетелем которого был лично. Думаю, вы помните о том, что в тысяча девятьсот одиннадцатом году происходили царские маневры войск под Киевом? Участвовал в них и полк вашего покорного слуги. Так

вот, я был свидетелем небывалого, могу сказать, даже мистического энтузиазма, который вызвало и у военных и у штатских лиц появление царя. Крики «ура!» звучали безостановочно, я видел лихорадочный блеск глаз у собравшихся людей, я видел, как в руках солдат дрожат ружья, взятые «на караул». Думаю, и вы не раз были очевидцем подобного ликования. И что же? Именно так, как я рассказал вам, приветствовал царя тот самый народ, который всего лишь через несколько лет сбросил своего обожаемого монарха с престола, а потом расстрелял и его, и всю его семью.

Врангель с удивлением посмотрел на Деникина: он и представить не мог, что «старик» — так за глаза он называл Деникина, хотя «старик» было только сорок шесть лет, — вдруг пустится в подобные воспоминания.

— Все течет, все изменяется, как утверждают господа материалисты, — сказал Врангель. — Впрочем, виной тому — большевистский переворот, принесший в головы людей неслыханное умопомрачение. Впрочем, и государь император своим безволием и малодушием к тому руку приложил.

— Не нам судить, — уклончиво произнес Деникин: даже и сейчас, когда государя императора уже не было на свете. Он не считал этическим пускать стрелы в его адрес. — Я к тому, Петр Николаевич, что ликование толпы в определенных условиях еще не есть точный показатель ее искренности и приверженности тем или иным идеям. К тому же настроение толпы непредсказуемо изменчиво: от любви до ненависти — один шаг. Простите за банальность, но это истина, которая подтверждена всей историей человечества, начиная с библейских времен.

— В грустные, отнюдь не располагающие рассуждения мы с вами пустились, дорогой Антон Иванович. Так недолго и беду на свои головы накликаешь. Что касается меня, то я верю в то, что армия уверенно идет за бывшим командиром легендарной «Железной» бригады.

Врангель сделал точный ход: упоминание о бригаде, с которой Деникин воевал в Карпатах во время мировой войны, было Деникину дорожке любой лести. И тотчас же понял, что не ошибся: Деникин опять ударился в воспоминания:

— Да, помню, в феврале тысяча девятьсот пятнадцатого года «Железная» бригада была переброшена на помощь сводному отряду генерала Каледина. Было то у местечка Лутовиско, в направлении на Ужгород. Сильнейший мороз, снег — по грудь. Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. А живые, утопая в снегу, идя навстречу смерти, продвигались вперед. Бригада таяла с каждой минутой... Полковник Носков, однорукий герой, шел впереди полка, вел солдат в атаку прямо на отвесные ледяные скалы...

Деникин умолк, съезжился, будто снова почувствовал себя в том страшном бою.

— Да, были люди в наше время, — задумчиво произнес Врангель, стараясь попасть в унисон настроению Деникина. — Была б у нас с вами такая вот «Железная» бригада, мы бы уже были не в Екатеринодаре, а в Первопрестольной.

— А мы будем там. — Голос Деникина зазвучал твердо и решительно, будто он уже отдал приказ о последнем броске на Москву. — И у нас немало героев, их надобно только воодушевить, зажечь идеей.

— Тот-то, что идеей, — подхватил Врангель. — «Железная» отчего так доблестно сражалась? Защищала Россию-матушку от иноземного врага. А мы идем против своих же братьев, хотя и отравленных большевизмом. Придет время — одумаются, да будет поздно.

Деникин будто не слышал этих слов, произнесенных Врангелем, сидел задумавшись.

— А было еще, — вдруг оживился он, — в тех же Карпатах, только годом ранее... Я вам не надоел, Петр Николаевич, своими рассказами?

— Что вы, что вы, весьма польщен вашим доверием...

— Так вот, представьте, ноябрь, снежный буран. А Брусиллов... Извините, но мне приходится произносить это имя, которое сейчас и произносить-то не хочется: проданся старик большевикам! Но факт есть факт. Сей бывший генерал приказал двум корпусам перейти в наступление, чтобы овладеть Бескидским хребтом. А как прикажете выполнять? Дорог решительно никаких. Ледяные тропинки по крутым склонам гор.

— Представляю себе, — подхватил Врангель, — по таким тропинкам разве что диким козам ходить. Знакомая картина. — Ему вдруг захотелось прервать Деникина и рассказать боевые эпизоды из своей собственной жизни, но он не решился: «Обидится старик, что перебил».

— Да-да, это вы точно подметили — разве что дикие козы... — Деникин вдруг начисто позабыл, о чем хотел рассказывать, и мучительно искал потерянную нить. — Да-да! — наконец обрадованно воскликнул он. — В Карпатах, именно в Карпатах! — Деникин был рад, что памятное происшествие вновь ожило в его голове. — Представьте, за стрелками шли лошади... — Врангель поморщился: он терпеть не мог, когда «серая пехота», игнорируя традиции кавалеристов, обзывает коней лошадьми. — На лошадях, — не заметив неудовольствия своего собеседника, продолжал Деникин, — мешки с патронами и сухарями. Нам удалось перевалить через Карпаты, вторгнуться в Венгрию, прямо в тыл австриякам. Подождите, подождите, какой же городок мы тогда взяли? — задумался Деникин, напрягая непослушную память. — Такое, знаете ли, затейливое названьице, дьявол его заберит! Ну да бог с ним! Короче говоря, захватили более трех тысяч пленных, девять орудий, много оружия и трофеев.

— Слышал, слышал, как же! — восторженно откликнулся Врангель. — Сей героический факт непременно войдет в историю военного искусства. Помнится, Брусиллов вам поздравление прислал?

— Что было, то было — прислал. Телеграмму. Бригаду мою назвал молодецкой. Слал низкий поклон, благодарил от всего сердца. Но разве теперь, когда сей генерал показал свое истинное лицо, есть резон хвастаться его телеграммой?

— И тем не менее боевые удачи всегда сопутствовали вам! — не без зависти воскликнул Врангель.

— Смотрите, не сглазьте! — испуганно отозвался Деникин, осенив себя крестным знаменем, и вдруг радостно вскричал: — Вспомнил!

— Что вспомнили? — Врангель даже вздрогнул от неожиданности.

— Название того городка вспомнил: Мезо-Лаборч! Мезо-Лаборч, Петр Николаевич!

— Да какое это имеет значение? — подивился радости Деникина Врангель. — Если бы вы, Антон Иванович, паще чаяния, и не припомнили — экая беда! Будущие военные историки все равно раскопают сей героический эпизод, больно он выигрышный для того, чтобы оживить сухие, казенные исторические трактаты!

27

Специальный поезд председателя Реввоенсовета Льва Троцкого прибыл в Курск, когда уже совсем рассвело. Свирепый мороз сковал все вокруг ледяным панцирем. Приземистые купеческие дома, припорошенные густым инеем, увешанные, словно гирляндами, множеством огромных сосулук, представляли перед человеческим взором сказочными дворцами.

Паровоз все еще сипло и возбужденно дышал горячим паром, когда из салон-вагона появился Троцкий. Духовой оркестр простуженно взревел встречным маршем, в громе которого яснее и оглушительнее всех звучали звенящие, трескучие удары барабана. Троцкий по-юношески стремительно спрыгнул со ступенек и резкими, нервными движениями стал пожимать протянутые руки встречавших его местных начальников.

Не задерживаясь у поезда, Троцкий стремительно вышел на привокзальную площадь в сопровождении многочисленной свиты и деловито уселся в подкатившую к подъезду машину. Она тут же рванула к центру города.

Едва машина остановилась у здания бывшего дворянского собрания, как Троцкий выскочил из нее и не пошел, а буквально ворвался в распахнутый перед ним подъезд, а затем и в полутемный зал, до отказа заполненный делегатами объединенного собрания Курского губернского и городского комитетов партии. В холодом зале, как сразу же увидел наметанный глаз Троцкого, не было ни единого свободного стула, во всех проходах плотной стеной стояли люди, жаждавшие увидеть и услышать самого председателя Реввоенсовета. Поднявшись на сцену и заняв место за длинным столом, покры-

тым кумачовой скатертью, Троцкий почувствовал духоту: сотни глоток уже успели «съесть» едва ли не весь кислород.

Первое, что бросилось в глаза всем собравшимся, — это острая козлиная бородка столичного гостя, сверкавшие стекла пенсне, торс, туго скованный кожаной курткой, добротные хромовые сапоги и особенно горячечный взгляд, устремленный куда-то поверх голов собравшихся людей.

Троцкий взмахнул рукой, призывая ко вниманию, и вот уже первые его слова заворожили делегатов: ураганом эмоций, фейерверком выпущенного на волю темперамента, страсти и необузданным полетом мысли. Даже суховатый анализ международного положения Советской России в его устах звучал как увлекательный, причудливый своей парадоксальностью сказ, которому жадно внимали делегаты, мысленно отсеивая и даже отбрасывая непонятное и принимая на веру простые истины и лозунги. Когда же Троцкий прибег к живым примерам, зал замер в восхищении.

— В самом конце мая, — многозначительно начал Троцкий, — ко мне еще в Комиссариат иностранных дел приехал германский посланник граф Мирбах. И вот мы с ним стоим и разговариваем в глубине кабинета, около камина. Окна открыты — к нам доносятся звуки военного оркестра. Посланник спрашивает: «Разрешите взглянуть?» Я приглашаю его к окну. Как ходят, вернее, как ходили наши красноармейцы еще до недавнего времени — не мне вам рассказывать, вы знаете лучше меня. У одного винтовка на плече, как полагается, у другого — болтается под мышкой, у третьего — черт его знает где. Посланник поворачивается ко мне и с ехидной улыбочкой замечает: «Как я вижу, господин народный комиссар, музыка у вас превосходна, но ни дисциплиной, ни выучкой своих войск вы похвалиться не можете».

На что, не менее любезно, я ему отвечаю: «Господин посланник, могу вас уверить и успокоить. Когда придет время нашим войскам маршировать по улицам Берлина, то и выучка и дисциплина будут у них на должной высоте».

Ответом на эти слова были оглушительные аплодисменты зала: не лыком шит наш председатель Реввоенсовета, не клади ему палец в рот, мировая буржуазия!

— А теперь — о положении нашей партии. К сожалению, оказалось, что там находится еще много таких слюнявых интеллигентов, которые, как видно, не имеют никакого представления, что такое революция. По наивности, по незнанию или по слабости характера они возражают против объявленного партией террора. Революцию, товарищи... — здесь голос Троцкого вознесся до самой высокой ноты, — революция такого социального размаха, как наша, в белых перчатках делать нельзя! Прежде всего это нам показывает пример Великой французской революции, который мы ни на минуту не должны забывать!

Большинство сидевших в зале солдат, матросов, крестьян и рабочих понятия не имели о какой-то французской революции, да еще почему-то Великой, однако магнетизм слов Троцкого был столь мощным, что ему верили не раздумывая: никогда и ни за что нельзя забывать об этой французской революции! Хотя чего забывать-то: ставь к стенке любую контру, и делу конец!

— Каждому из вас должно быть ясно, — продолжал Троцкий столь же пламенно, — что старые правящие классы свое искусство, свое знание, свое мастерство управляют получили в наследство от своих дедов и прадедов. А это часто заменяло им и собственный ум, и собственные способности. Что можем противопоставить этому мы? Чем компенсировать свою неопытность? Запомните, товарищи, — он резко вздернул палец к потолку, — только террором! Террором последовательным и беспощадным! Уступчивости, мягкотелости история никогда нам не простит. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти. Предупредить, подорвать воз-

можность противодействия — в этом заключается задача террора.

Троцкий сделал длительную паузу, ожидая бурных аплодисментов, взрыва революционного экстаза, но, к его глубокому разочарованию, зал ответил лишь жидкими хлопками замерзших ладоней. Аплодировали лишь те, кто сидел в президиуме, да еще часть зала в передних рядах. Люди, слушавшие Троцкого, вдруг ощутили, что и сами они, призванные разнести пламя террора по всей губернии, по всей России, стоят на краю бездны, в которую могут угодить, навсегда распроставшись с жизнью и с возможностью попасть в светлое царство социализма. Коль нет времени и возможности выискивать действительных врагов, то кто поручится за то, что эти люди, сидящие в зале, даже те, кто считал Троцкого своим кумиром, — кто поручится, что и они не угодят в могилу, которая, как клятвенно заверил председатель реввоенсовета, должна обязательно зарости чертополохом?

Глаза Троцкого, сверкавшие фанатичным блеском, стали злыми — он чувствовал, что его речь не воспринимается или, того хуже, отвергается теми, кто его слушал. Но надо было продолжать, надо было довести свою линию до конца. Пусть не соглашаются, пусть сомневаются — тем хуже для них!

— Есть только одно возражение, заслуживающее внимания и требующее пояснения, — продолжил Троцкий еще более энергично, желая во что бы то ни стало сломить молчаливое сопротивление аудитории. — Это то, что, уничтожая интеллигенцию, мы уничтожаем и необходимых нам специалистов, ученых, инженеров, докторов. К счастью, товарищи, за границей таких специалистов избыток. Найти их легко. Если будем им хорошо платить, они охотно приедут к нам. Контролировать их нам будет значительно легче, чем наших. Здесь они не будут связаны со своим классом и с его судьбой. Будучи изолированными политически, они поневоле будут нейтральны.

После тех слов, которыми Троцкий прославлял террор, этот пассаж показался делегатам совершенно безобидным, хотя у многих и вызывал естественный вопрос: неужели надо уничтожить столько ученых, инженеров,

докторов, чтобы после этого везти их из-за границы на смену расстрелянным? Но долго размышлять оратор не давал: он уже излагал другую тему:

— Патриотизм, любовь к родине, к своему народу, к окружающим, живущим именно в этот момент, жаждущим счастья, самопожертвование, героизм — какую ценность представляют из себя все эти слова-пустышки перед революционной программой, которая уже осуществляется и проводится в жизнь?

Не до всех дошла сразу страшная откровенность этих слов, но тем, кто понял их истинную сущность, стало абсолютно ясно: террор тяжелым катком «проутюжит» Россию, и от них, делегатов, сейчас уже ничегошеньки не зависит!

Затем Троцкий перешел к более глобальным проблемам:

— Сейчас, после поражения Германии, Советская Россия оказалась один на один с военно-политическим блоком мирового империализма. Никогда еще наше положение не было таким опасным, как теперь. На нас готовится поход объединенных империалистов всех стран, нас ждут новые битвы и новые жертвы. — Троцкий не замечал, что повторяет слова Ленина. — Центр тяжести борьбы переносится с Востока на Юг, где все активнее проявляют себя войска Деникина. Интервенты располагают здесь большим флотом, Юг — это районы, богатые нефтью, углем, железом и хлебом. Мы перехватили письмо белогвардейского генерала Щербачева, которое он отправил Деникину из Бухареста. В нем сообщается: «Для оккупации Юга России союзниками будет двинуто 12 дивизий, которые захватят, кроме Одессы и Севастополя, Киев, Харьков с Криворожским и Донецким бассейнами, Дон и Кубань». Там же он подтверждает, что на Юг России союзниками направлены военно-стратегические материалы, оружие, боеприпасы, железнодорожные и дорожные средства, обмундирование и продовольствие. Вы знаете, что уже двадцать третьего ноября англо-французская эскадра высадилась в Новороссийске, двадцать пятого ноября десанты интервентов высадилась в Севастополе, двадцать седьмого ноября — в Одессе...

— Мы им покажем кузькину мать! — выкрикнул кто-

то из зала, перебивая оратора. Троцкий таких вольностей не терпел.

— Шапкозакидательство! — ядовито прокомментировал он выкрик. — Легкой победы не ждите! В Черном море начинает действовать объединенный англо-французский флот. Это — двенадцать линкоров! Это — десять крейсеров! Это — десять миноносцев! Мы — в огненном кольце! Колчак, Деникин, Юденич, интервенты — мы их непременно разгромим, но для этого нужно сжаться в кулак и этим кулаком ударить по их каменным лбам, по их буржуазным мордам! Вы должны знать, что генерал Деникин объединил под своим командованием многочисленные белые отряды, сколотил несколько крупных конных частей и перешел в наступление против наших войск. И не мы их разгромили, а они нас! — Голос Троцкого приобрел зловеший тон. — Я требую от вас, — Троцкий ткнул пальцем в зал, — да, я требую от вас немедленного ответа: кто виноват в том, что Деникин загнал наши войска в безводные астраханские степи? Почему в красных частях царит анархия, произвол, почему красные бойцы превратились из орлов в трусливых зайцев? Кто мне ответит? Почему многие командиры, вместо того чтобы штурмовать вражеские позиции, грызутся между собой, как презренные шакалы? Всех их ждет суровая, беспощадная кара — именем революции они будут расстреляны! Точно так же, как расстрелян презренный враг трудового народа бывший командующий нашими армиями на Северном Кавказе мерзавец Сорокин! Это он вероломно убил двадцать первого октября председателя ЦИК Северного Кавказа товарища Рубина и члена Реввоенсовета товарища Крайнего! Почтим их память минутой молчания и вставанием!

Зал гулко встал, морозный пар шел из глоток.

— Конечно, у нас есть примеры самоотверженной героической борьбы, — продолжал Троцкий, когда все сели на места. — Назову хотя бы товарища Епифана Иовича Ковтюха, командующего легендарной Таманской армией. Героические таманцы, будучи со всех сторон окружены, с непрерывными кровавыми боями прошли вдоль Черноморского побережья до Туапсе, повернули в горы и, пройдя их, у станицы Лабинской семнад-

цатого сентября соединились с нашими главными силами. Вот пример, повторения и приумножения которого требует от вас революция!

...Речь Троцкого была прелюдией к главному действию — красному террору: судам военных трибуналов, приговорам, расстрелам...

28

Из записок поручика Бекасова

В отличие от Антона Ивановича Деникина, свято верившего в идеалы Белого движения, генерал-лейтенант Владимир Зенонович Май-Маевский, как мне казалось, не верил ни в идею, ни в Бога, ни в дьявола. Он совершенно искренне полагал, что все происходящее в жизни — рождение и смерть людей, возникновение и гибель империй и государств, революции и войны — совершается на нашей земле не по воле и разумению человека, а единственно лишь волею рока, по некоему мистическому предначертанию. Круговорот людских желаний и поступков определялся фатальным везением или невезением, как это происходит, например, в карточной игре или же игре в рулетку. Именно поэтому Владимир Зенонович никогда не приходил в состоянии эйфории, если одерживал победы на фронте, так же как и не позволял себе бросаться в омут отчаяния, если терпел поражение. По натуре своей он был неистребимым реалистом и хорошо понимал, что сегодняшняя победа завтра может обернуться поражением, и наоборот. Так к чему же отдаваться во власть паники или возноситься до небес от гордыни? Не лучше ли на все, что происходит, смотреть спокойными глазами и продолжать строить свою жизнь так, будто ничего и не произошло, а если и произошло, то потому, что это предопределено свыше.

Вот этими-то качествами он прежде всего и отличался от Деникина, который, несмотря на внешнее спокойствие, все воспринимал душой и сердцем: поражения — болезненно, вина в них прежде всего самого себя, победы — радостно: они придавали ему энергии.

Справедливости ради должен сказать, что у Владими-

ра Зеноновича были и такие качества, которые отличали его в выгодном свете от некоторых других деятелей Белого движения. Главное — он был, несомненно, честным и порядочным человеком, не признающим интриг и подковерной борьбы. Не раз я был свидетелем его прямоты, хотя прямота эта, в отличие, скажем, от хамоватой прямоты Шкуро или нагловатой прямоты Врангеля, была гибкой, дипломатичной и потому не приводила к обидам, а тем более к конфликтам.

Май-Маевский, несомненно, был честолюбив, ибо люди, лишённые этого качества, редко стремятся посвятить себя военной службе, а если и попадают в армию, то влачат в ней жалкие роли или вовсе уходят из нее, и даже не всегда по собственному желанию, а по той причине, что армия сама как бы отторгает их, указывая на то, что они занялись не своим делом. Владимир Зенонович пошел в армию, чтобы дослужиться до высокого чина, но не с помощью протекций, а благодаря своему труду и знаниям. И в этом плане он отличался от Врангеля, который рвался к власти любой ценой. К тому же Врангель и не пытался скрывать своего карьеризма, и потому у него редко складывались нормальные человеческие отношения с военачальниками, равными ему по должности, а если иной раз и складывались, то лишь в те периоды, когда это соответствовало его личным интересам.

Антон Иванович благосклонно относился к Май-Маевскому, ценил его за честность и прощал генералу его дурные качества и даже пороки, что вызывало осуждение в среде высших офицеров. А дурные качества Владимира Зеноновича были широко известны по всей армии, от генералов до поручиков. Не прибегая к дипломатии, скажу прямо: Владимир Зенонович был самым обыкновенным почитателем зеленого змия. Выпить стакан водки, едва он спускал ноги с кровати, пробуждаясь ото сна, было для него таким же пустяком, как выпить стакан воды. И что примечательно — он никогда не пьянел, напротив, приходил в прекрасное расположение духа и принимал наиболее верные военные решения от тактических до стратегических. При этом мог запросто «повторить», становясь еще более энергичным и деятельным.

Как-то мне довелось переночевать у него в кабинете.

Генерал спал на походной кровати, я — на диване. Едва забрезжил рассвет, как Владимир Зенонович пробудился, сладко потянулся, видимо с удовольствием вспоминая вчерашний банкет, отбросил одеяло и бодро подошел к столу, на котором стоял штоф с водкой. Он особенно обожал сей напиток, настоящий на лимонных корочках. Разлив водку в два стакана, он протянул один мне. Я вздрогнул.

— Владимир Зенонович, умоляю, избавьте! — взмолился я. — Поверьте, еще ни разу в жизни я не пил водку с утра, натошак, клянусь вам! Вот перед обедом готов разделить с вами компанию с превеликим удовольствием!

Генерал изобразил на своем рыхлом лице неподдельное удивление.

— Дорогой Дима, — наставительно, но мягко произнес он, — должен заметить, что ты ведешь себя не по-мужски, пройдет время, и ты об этом пожалеешь. Ну какой из тебя мушкетер? Мужчина, а тем более воин, должен быть закаленным во всем. — Видя, однако, что я с ужасом смотрю на стакан, наполненный водкой, он мягко добавил: — Впрочем, не в моих правилах прибегать к насилию. Даже дам в постели я никогда не беру силой, можешь мне поверить. Нет ничего привлекательнее, когда они отдаются сами, уж я испытал это не раз, Дима.

Не поверить ему было нельзя: другим из его известных всем пороков (впрочем, можно ли это оценивать как порок?) было непреодолимое, едва ли не повседневное влечение к женщинам. И тут было чему удивляться. Я никак не мог взять себе в толк, чем мог привлекать, нет, даже не привлекать, а просто притягивать к себе женщин этот грузный, тучный мужчина с заметно выпирающим брюшком, с массивной головой, будто сработанной небрежной рукой каменотеса и посаженной почти что прямо на туловище, кажется, вовсе без участия шеи. Что-то слоновье, малоподвижное было в нем, и это, как мне казалось, не могло не отталкивать, однако же не отталкивало! Думаю, естественно предположительно, что источником его притягательности было некое мужское обаяние, его располагающая к себе добрая улыбка, кото-

рая в выигрышном свете преображала его лицо, отнюдь не привлекательное. Но факт остается фактом — дамы липли к нему как мухи к меду, и я был наслышан, что они отдавались ему вдохновенно и без особых раздумий, цючитая это за величайшее счастье. До меня доходили их тайные разговоры после того, как они побывали в интимных отношениях с Владимиром Зеноновичем и были основательно разогреты шампанским. Иначе как душкой и непревзойденным мастером плотской любви они его не называли. Я пару раз имел возможность наблюдать, как после бурной ночи с Владимиром Зеноновичем женщины на рассвете покидали его спальню с сияющими, восхищенными лицами, ничуть не стесняясь, что о них может пойти дурная слава: ведь большинство из них были женами офицеров, и я уверен, что мужья были в той или иной степени осведомлены об их любовных похождениях. Но я не помню случая, чтобы кто-то из этих рога носных мужей вздумал возмутиться, вызвать распутного генерала на дуэль или же, на худой конец, хорошенько проучить свою неверную спутницу жизни. От Владимира Зеноновича всецело зависело продвижение офицеров по службе, и стоило только жене того или иного офицера побывать в объятиях командующего армией, как едва ли не на следующий день издавался приказ о повышении мужа этой особы в звании или в должности, на груди его появлялся новенький орден и в придачу к нему кругленькая сумма денег. Какая уж там дуэль после этого! Тем более что в условиях дикой войны, развернувшейся на просторах России, нравственность резко упала в цене, более того, стала, скорее, предметом насмешек даже со стороны женщин. Прелюбодеяние во всех его самых извращенных проявлениях становилось обыденным. С его помощью снимались нервные стрессы, ослаблялся страх смерти, оно было предметом особой гордости. В офицерской среде хорошо знали: Владимир Зенонович не пропускает красивых женщин, чему же тут удивляться? А жены? А что жены: уж пусть лучше отдаются генералу, командующему армией, от этого есть прямая выгода, чем солдату или, на худой конец, поручику. И потому почти все делали вид, что ничего не замечают, и относились к любовным играм генерала до-

вольно терпимо, даже добродушно, с таким казарменным юморком. В ходу была шутка, состоявшая в том, что Владимир Зенонович поставил своей целью «настрогать» как можно больше мальчишек — «май-маевичков», чтобы впоследствии было чем пополнять российскую армию. Так что страсть генерала к плотским утехам расценивалась даже как забота о будущем военном могуществе отечества.

Возможно, я немного утрирую, но суть того, о чем я решил поведать в своих записках, от этого ничуть не меняется, а если и меняется, то в очень незначительной степени.

Надо сказать, что Владимир Зенонович пытался и меня просветить в любовной сфере, давая мне некие «отеческие» советы. При этом его голубые глаза источали лукавство и игривость.

— Милый Дима, — мне казалось, что он всецело доверяет мне и испытывает при этом добрые чувства, — настоятельно рекомендую: не теряйте в этой жизни ни единого мига! Как часто молодые люди ошибочно полагают, что молодость вечна! Да, и у старика может быть юная душа, но во всем остальном он бессилён. Ему уже чужды истинные радости любви, ведь ему ничего не остается, как лишь любоваться женщинами — и только! Отчего старики часто бывают так злы и переполнены ядом? Да оттого, что жизнь их уже неполноценна, они просто тлеют, как головешки, а не горят. Так вот, помните: лучшая пора жизни пронесется как ураган, как след молнии! Говорю вам банальные вещи, но не забывайте об этом. Не откладывайте радости жизни на после войны, иначе потом будете горько раскаиваться!

И все это говорил мне уже далеко не молодой человек: Май-Маевскому в это время исполнилось пятьдесят два года.

Владимир Зенонович был убежденным монархистом и даже мысленно не мог и не хотел представить себе иного образа правления в такой огромной дикой стране, какой была и, наверное, еще не одно столетие останется Россия. Даже хрустальная мечта лидеров Белого движения — поскорее овладеть Москвой и сбросить с трона власти большевистский режим — не очень-то его при-

влекала. Как-то в минуту откровенности, изрядно выпив, он сказал мне:

— Дима, меня постоянно терзают сомнения! Пока мы воюем — все понятно, все видно как на ладони, собственно, мы, офицеры и генералы, и созданы лишь для одного — для войны. Но представьте себе, что будет, когда мы, если нам, разумеется, повезет, под звон колоколов войдем в Москву? Ну понятно, недели две, а то и больше будем поднимать заздравные чаши, опохмеляться и снова пить, облобызаем друг друга до посинения, потом передеремся в борьбе за высокие посты, доказывая свое превосходство и величие своих заслуг на поле брани. А что дальше? Царя-то у нас и на примете нет! А без царя Россия — что человек без головы. Знаете, всякие там демократии способны лишь разваливать, растаскивать и балагурить! Вот Антон Иванович верит, что все решит народ. Блажен, кто верует! Да что способен решать этот темный, забытый Богом народ, эта дикая, гремучая смесь славян с азиатами — монголами и татарами?! Русской нации уже давно нет, а то, что от не осталось, — лишено способности думать, оценивать, решать и подчиняется лишь необузданным, пещерным инстинктам. Кто громче позовет, кто слаще пропоет да вывалит полный короб пустых обещаний — за тем и пойдут, да что там пойдут — валом повалят. Со временем протрезвеют, ах — поздно! Поверьте, Дима, будущего у России нет и быть не может. Она вечно будет корчиться в муках и судорогах — помяните мое слово, слово старого идиота!

— И все же нам ничего не остается, как верить в победу, Владимир Зенонович, верить, что все образуется... — Я вдруг заговорил с почтенным генералом так, как может говорить человек на правах старшего. Я знал, что расслабленный водкой генерал не воспринимает обид, как, впрочем, редко реагирует на них и когда бывает трезвым. — К тому же до меня дошло, что после взятия Москвы вас ждут большие дела.

— Какие еще дела?! — удивился Владимир Зенонович.

— Насколько я осведомлен, вас планируют на пост военного и морского министра.

— Военного да еще и морского министра? — Пенсне его сверкнуло, тяжелый подбородок возмущенно дернулся. — Избави меня Бог от такого назначения! Штаны протирать в министерском кресле? И изображать, будто ты все решаешь, от тебя все зависит, а на самом деле ты — фикция? Да еще и рюмашку не пропустишь — тут же на всю Россию ославят! Нет уж, увольте меня от сей перспективы, я уж это креслице лучше Петру Николаевичу уступлю! С превеликой радостью! По мне привлекательнее, как возьмем Москву, прихватить плетеное лукошко да в лесную чащу за грибами — подальше, подальше от этих шакалов!

Владимир Зенонович произносил сии сентенции в таком безостановочном порыве и с такой силой экспрессии, будто ему уже предложили этот пост и, более того, настаивали, чтобы он его принял.

От встреч с Май-Маевским у меня осталось в памяти многое. К примеру, те две, когда штаб Добровольческой армии находился на станции Иловайская. Я сопровождал Деникина в его поездке к Май-Маевскому. С нами были Романовский и Врангель. У меня в ушах все еще слышатся звуки встречного марша, который грянул тотчас же, как Деникин вышел из вагона.

Подходя с рапортом к Деникину, Май-Маевский ступал тяжело, грузно, однако же выказал строевую выправку и, как оказалось, был совершенно трезв.

— Ваше превосходительство, — у Владимира Зеновича был приятный, бархатного тембра, баритон, — незначительный бой идет в районе Харцызска. На остальных направлениях без перемен.

Деникин уважительно поздоровался с Май-Маевским, затем — с почетным караулом и пригласил генерала в свой салон-вагон, представлявший собой две небольшие комнаты, обставленные мягкой, теплых тонов мебелью и устланные персидскими коврами. В одной комнате по стенам были развешаны оперативные карты, в другой были два стола, на которых торжественно белели скатерти. Глядя на них, казалось, что вокруг нет никакой войны, царит мир и благоденствие. Сейчас столы уже были накрыты. Я сразу обратил внимание, что закуски, расставленные на столе, были изысканными, а водка в што-

фах отдавала лимонным цветом: Антон Иванович предусмотрительно распорядился поставить на столы именно настоящую на лимонных корочках водку, столь любимую Владимиром Зеноновичем. Я заметил, что Владимир Зенонович, увидев штофы, сглотнул слюну. Надеюсь, что он при этом вполне оценил жест своего начальника: это был добрый знак, характеризующий их взаимоотношения.

Праздничный стол в этот день не был случайным: только что Деникин подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Май-Маевского командующим Добровольческой армией. По этому поводу Антон Иванович произнес тост:

— Дорогой Владимир Зенонович! Я безмерно рад поздравить вас с новым высоким назначением. Мы восхищены вашей доблестью, честностью и самоотверженностью, которую вы проявляете в боях за возрождение единой и неделимой России! В том, что войска Юга России удерживают сейчас весь Донецкий бассейн, есть огромная ваша заслуга. Вы проявили себя в этой борьбе как истинный полководец, и сейчас Родина повелевает верить вам судьбу Добровольческой армии. Я убежден, что отсюда вы поведете нашу доблестную армию по победной дороге на Москву! За ваши победы, за ваше здоровье, дорогой Владимир Зенонович, я поднимаю этот бокал! Ура в честь нового командующего Добровольческой армии!

Выпив бокал до дна, Деникин крепко обнял Май-Маевского, они расцеловались троекратно. Произносились все новые тосты, за столом стало оживленно, разговор принял хаотический характер. Деникин говорил с Май-Маевским в основном на деловые темы.

— Антон Иванович, — Май-Маевский выглядел озабоченным, — вы лучше меня знаете, что положение на фронте крайне сложное. Красные бьются отчаянно, мои орлы дерутся не хуже, но им крайне тяжело: пополнение почти не поступает, обмундирования и оружия катастрофически не хватает.

— Владимир Зенонович, мы все делаем, чтобы поправить положение. Могу вас обрадовать: на днях прибывает несколько транспортов с обмундированием и снаряже-

нием. Больше того, прибывают — только не падайте в обморок! — танки! Да-да, англичане дают нам танки! Вы даже представить себе не можете, какой потрясающий психологический эффект они могут произвести. Какую панику вызовут эти стальные и грозные чудовища! Под прикрытием танков мы введем в бой конницу Шкуро, и успех будет обеспечен!

— Танки? — У Май-Маевского пенсне поползло кверху по крупному мясистому носу. — Но у нас нет специалистов, чтобы пустить их в дело!

— И это предусмотрено. Управлять танками на первых порах будут англичане. Они подготовят наших танкистов, и тогда мы их сменим.

— Это хорошо. Танки — это, конечно, сила! Представляю себе, какой ужас охватит большевичков при виде танков и как они будут драпать!

Они долго говорили на эту тему, предвкушая грядущие победы. Потом Владимир Зенонович затронул аграрный вопрос.

— Надо бы больше привлекать на свою сторону крестьян, — озабоченно сказал Май-Маевский. — Тут надо признать, что большевики нас обскакали. Обещают беднякам манну небесную, да и зажиточных крестьян успешно перетягивают на свою сторону.

Врангель моментально вклинился в разговор.

— Пока мы не дойдем до седых стен Кремля и не услышим звон колоколов Ивана Великого, ни о каком аграрном вопросе не может быть и речи! — как всегда громко и с изрядной долей патетики воскликнул он, будучи только от него и зависело, решать этот вопрос или не решать.

— Как бы не прозевать самый ответственный момент, — возразил Май-Маевский. — За то время, какое уйдет на взятие Москвы, большевистская зараза окончательно собьет мужика с истинного православного пути. Мужик не пойдет за нами, если мы не дадим ему землю.

— А рабочим — фабрики и заводы?! — ехидно выпалил Врангель. — На-кося выкуси! — И он сунул увесистую дулю едва ли не в нос Май-Маевскому.

— Это вы мне? — от души рассмеялся Май-Маевс-

кий. — А я всегда считал вас, любезный Петр Николаевич, человеком изысканных манер.

— К черту изысканные манеры! — Врангель был уже изрядно «на взводе»: назначение Май-Маевского бесило его, вызывая зависть. — С этим быдлом не церемониться надо, как это изволите делать вы, Владимир Зенонович, а вешать, вешать и еще раз вешать! Вот тогда-то они и пойдут за нами как миленькие!

— Господа, призываю вас к спокойствию, — вмешался Деникин. — Всеу свое время. Решим и земельный вопрос. А пока самое главное — решительное наступление! Только вперед!

Направить разговор в другое русло помог Романовский.

— Владимир Зенонович, — сказал он, — Антон Иванович разрешил вам формировать Белозерский полк, правда, без удерба для остальных частей. И еще: очень просим вас подтянуть Шкуро, он совсем распоясался.

— А как его подтянешь? — улыбнулся Май-Маевский. — Разве вы не знаете его анархистский характер? Нажму на него, а вдруг он перекинется к Махно или Петлюре?

— Ничего, найдем управу и на Шкуро, и не таких обламывали, — пообещал нахмурившийся Деникин. Он помолчал, видимо что-то припоминая. — А вообще-то нынешним нравам приходится только удивляться. Мой отец прогрубил при Николае Первом два года. И дослужился... до прапорщика! А этот Шкуро в считанные месяцы норовит в генералы!

— Так в те времена, ваше превосходительство, — тут же среагировал Владимир Зенонович, — даже чин прапорщика обеспечивал получение дворянства!

— Прапорщик — это знаменосец, — поспешил высказать свою осведомленность Врангель.

— А помните, как писалось в «Учении о хитрости ратного строения пехотных людей»? — Деникин задумался. — Я наизусть помню: «Та рота гораздо устроена, когда капитан печется о своих солдатах, а поручик мудр и разумен, а прапорщик весел и смел». Каково! Прекрасное наставление!

— А нынче капитан печется главным образом о себе,

поручик пьянствует напрапалу, а прапорщик издевается над солдатами, — зло ввернул Врангель. Что касается упоминания о пьянствующем напрапалу поручике, то конечно же это был прозрачный намек на «художества» Владимира Зеноновича.

— Ну, бывают досадные исключения, — смягчил оценки Врангеля Деникин. — В основе своей наши офицеры, несомненно, следуют старым заповедям.

— Вы, Антон Иванович, во всей армии известны своей чудотворной добротой и мягкосердечием. — Врангель сказал это не столько в похвалу Деникину, сколько в осуждение...

29

— В чем наша беда? Я бы даже сказал, не беда, а трагедия? — На этот раз Деникину изменило обычное спокойствие. — В том, что мы — не единое целое, чем должны быть, чтобы одержать победу. Мы, по существу, каски! Добровольцы, донцы, кубанцы, кавказцы! И каждый тянет одеяло на себя, презирает другого и ставит ему палки в колеса! Как объединить эту разношерстную массу, как ее сцементировать! Я не знаю средства.

— Лучшее средство — хорошая дубинка в крепкой руке, — хмуро отозвался Романовский.

— А что делать с нашим высшим командным составом? И тут — лютая зависть, стремление напакостить друг другу. Врангель ненавидит Май-Маевского, Шкуро — Мамонтова, черт знает что! Чует мое сердце, что скоро одна Добровольческая армия останется со мной, остальные разбегутся кто куда.

— Такая опасность существует, — подтвердил Романовский, понимая, что Деникину надо было бы сказать нечто противоположное, утешительное. — Кавказская и Донская армии спят и видят, чтобы отмежеваться от нас и остаться лишь в оперативном подчинении главкому. И все же, Антон Иванович, мы должны усиливать свое влияние и не позволять центробежным силам добиваться исполнения их желаний.

— Да, вы правы, Иван Павлович, — пожал плечами

Деникин. — Паниковать пока не будем. Давайте-ка определим главные направления наших наступательных действий.

Они склонились над картой.

— Несомненно, приоритетные направления — это Харьковско-Курское, Воронежское и Царицынское. Последнее особенно важно тем, что дает в перспективе возможность соединиться с армиями адмирала Колчака. На этих участках фронта у нас пока полуторное превосходство в пехоте и четырехкратное — в коннице.

— Считаю, что первоочередные удары следует нанести по красным на правом и левом крыле, — убежденно сказал Романовский. — Девять дивизий мы можем бросить на Екатеринослав и Харьков, семь — в северную часть Донской области, где они смогут соединиться с казаками верхнедонских станиц.

— И все же нам особо следует подумать о Царицынском направлении, — озабоченно произнес Деникин.

— За Царицын пока беспокоиться не стоит. — Романовский поспешил успокоить Деникина. — На этом направлении у нас двадцать шесть дивизий, в том числе семнадцать конных. Царицын нами охвачен с юга и с запада. Красные отступают. Инициатива действий на всем более чем полуторатысячном фронте в наших руках.

— Великолепно. — У Деникина даже разгладились морщинки на лбу. — Но успокаиваться рано. Красные умеют мобилизоваться. Ленин объявил Южный фронт главным фронтом республики.

— Пока все идет по плану, — продолжил Романовский. — Генерал Врангель со своей Кавказской армией восстановил мосты на железнодорожной ветке Царицын — Великокняжеская, подтянул резервы, бронепоезда и авиацию и бросил в прорыв между Царицыном и излучиной Дона третий Донской корпус генерала Мамонтова, планируя обойти Царицын с запада. Десятая армия красных отрезана от главных сил фронта. В результате она оторвалась от соседней Девятой армии почти на двести километров.

— Надо, чтобы Врангель прижал красных к Волге и разгромил их в районе Царицына, — жестко произнес Деникин. — Напомните ему об этой главной задаче, Иван

Павлович. В дальнейшем он должен прорваться к Саратову и соединиться с войсками Александра Васильевича Колчака. Тогда вся Нижняя Волга станет нашей.

— Барон Врангель каждый божий день бомбит штаб телеграммами. — В голосе Романовского отчетливо слышалась стойкая неприязнь к строптивому генералу. — Не далее как вчера потребовал срочно прислать ему офицерские пехотные части и танки. Да вот, полюбоществуйте.

Романовский протянул Деникину телеграфный бланк. Строки телеграммы почти угрожали:

«Доколе не получу всего, что требуется, не двинусь вперед ни на шаг, несмотря на все приказания... Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может».

Деникин задумался. Как ни относиться к этому авантюристу, а резон в его требованиях есть.

— У нас остался лишь один резерв, — поспешно сказал Романовский, словно догадавшись о мыслях главнокома. — Это седьмая пехотная дивизия генерала Тимановского, да еще танковый дивизион, ведущий бои на Харьковском направлении.

— Пошлите этот резерв Врангелю, — устало произнес Деникин. — И предупредите, что это — все. Пусть вспомнит Кутузова, который на все требования о подкреплении при битве у Бородина отвечал одной и той же фразой: «У меня подкреплений нет».

...Тридцатого июня Врангель прислал восторженное донесение о том, что штурмом взял Царицын.

— Поздравьте Петра Николаевича. — Деникина крайне обрадовало это сообщение.

— Генерал Врангель в своем амплуа, — поспешил сообщить Романовский. — Посчитал ненужным доложить о своих потерях. Между тем у меня есть данные, правда пока что не проверенные, что за две недели боев под Царицыном его войска потеряли убитыми, ранеными и пленными до десяти тысяч солдат и офицеров. Если мы так будем штурмовать города, то скоро останемся без армии.

— И все же, Иван Павлович, сойдемся на том, что победителей не судят.

— Так-то оно так, — никакие доводы не могли повлиять на отношение Романовского к Врангелю, — однако из-за своей медлительности сей полководец упустил главное — благоприятный момент для соединения с армией Колчака. Войска адмирала отступают по всему фронту.

— Что поделаешь, Иван Павлович, — вздохнул Деникин, как показалось Романовскому, с плохо скрытым облегчением. — Боевые операции, согласитесь, как и политика, — искусство возможного. Хочется сразу попасть в рай, да грехи не пускают. — Он помолчал, ожидая реакции Романовского, но тот молчал. — А как дела у Май-Маевского?

— После овладения Харьковом Май-Маевский сосредоточил усилия на Екатеринославском направлении, — доложил Романовский. — Со дня на день жду донесения о взятии Екатеринослава. Да вот, кажется, оно уже и поступило! — воскликнул Иван Павлович, увидев, как в кабинет вбежал запыхавшийся телеграфист с бумажной лентой в руке.

Он не ошибся: Май-Маевский взял Екатеринослав.

— Превосходно! — воскликнул Деникин. — Кажется, мы еще никогда не были так близки к цели, как сейчас! Иван Павлович, отдайте распоряжение: штаб передислоцируется в Царицын. И пожалуйста, голубчик, усиленными темпами готовьте нашу Московскую директиву!

30

Из записок поручика Бекасова

Двадцатого июня 1919 года в Царицыне генерал Деникин подписал директиву, которая сразу же получила горделивое название «Московской».

В ней, в частности, говорилось:

«...Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю:

1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов — Ртищевое — Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее — Нижний Новгород, Владимир, Москву.

Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.

2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин — Балапов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира.

3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав — Брянск.

4. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева.

...6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач... и блокировать порт Одессу».

Отныне Москва становилась символом, ее взятие означало бы полную победу Белого движения в России. И если бы каждый командующий действовал точно в соответствии с данной директивой, если бы не стремился получить выгоду для себя как в стратегическом, так и в тактическом отношении и если бы все армии, составлявшие вооруженные силы Юга России, действовали как единое целое, то, по всей вероятности, взятие Москвы было бы вполне достижимо. Разумеется, при более активной и деятельной помощи союзников.

Однако достижение этой желанной цели зависело не только от самих белых. Главной «виновницей» неудач была конечно же Красная Армия, в которую, порой без принуждения, вливались все новые и новые массы людей. А какие силы, пусть и вооруженные, способны подавить народ, если он одержим одной идеей — идеей, зовущей его в прекрасное завтра? Таких сил в природе не существует.

Надо ли говорить, что, имея к тексту Московской директивы некое отношение, я при первой возможности передал ее суть в ту самую Москву, которая, согласно повелению Антона Ивановича Деникина, и должна была быть взята Добровольческой армией? Впоследствии, оценивая этот свой шаг с позиций человеческой совести, я

пришел к выводу, что это и было моим самым главным преступлением перед Деникиным и перед всем Белым движением...

А пока что я пристально наблюдал за тем, как будут разворачиваться события.

Я сразу же понял, что каждый командующий считает свой фронт самым najważнейшим и, исходя из этого, требует для него как можно больше вооружений и резервов. Особое усердие в этом проявлял барон Врангель. Он буквально терроризировал Антона Ивановича, то насканивая на него, как бык во время испанской корриды, то вымаливая резервы, как нищий просит милостыню. Антон Иванович называл эти выходки Врангеля стремлением добиваться своего «не мытьем, так катаньем». Врангель требовал подкреплений из состава Добровольческой армии, не уставая повторять, что ее командующий Май-Маевский находится исключительно в выгодном, более того, в привилегированном положении, в то время как его, Врангеля, армия числится где-то на задворках и пребывает в «царя Антона» в немилости.

— Армия Май-Маевского без сопротивления идет к Москве, — возбужденно говорил он Деникину, заранее «заходясь» при одной мысли о том, что кто-то другой, а не он, Врангель, первым въедет в Первопрестольную. — Главные силы надо направить на Царицынское направление! Пусть Май-Маевский передаст в мое распоряжение часть своей пехоты.

— Прикажете расценивать этот ваш демарш как вымогательство? — внешне спокойно осведомился Деникин.

Врангель слегка присмирел, но не отступился:

— В то время как Добровольческая армия в своем победном шествии к сердцу России непрерывно увеличивается за счет потока добровольцев, в это самое время, Антон Иванович, моя Кавказская армия, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на фронт последние свои силы!

— Петр Николаевич, неужто вы запомнили, что фронт Добровольческой армии составляет шестьсот верст, а вашей — всего сорок? — сдерживая раздражение, спросил Деникин.

— Однако же верста версте рознь! — не сдавался Врангель. — Эти мои сорок стоят шестисот, которые имеет этот везунчик Май-Маевский! И я никак не могу взять в толк, почему вы, Антон Иванович, человек железных требований, столь благосклонны к этому любителю зеленого змия?

— Петр Николаевич, я считаю не очень-то этичным переходить на личности, — остановил его Деникин. — Вы прекрасно знаете, что Владимир Зенонович — храбрый воин и талантливый военачальник. А кто из нас абсолютно безгрешен?

Признаюсь, слушать Врангеля было забавно, он и в обычном разговоре выражался столь же высокопарно и цветисто, как и в своих речах и приказах. Нет, этот человек был достоин того, чтобы его строй ума, психологию и прирожденный авантюризм изучали представители учебного мира!

Так уж случилось, что почти все письма и телеграммы Врангеля, посылаемые Деникину, проходили через меня. Они были переполнены желчью и ядом. Так, в одном из писем Врангель жаловался, что после взятия Царицына Деникин отменил обещанный усталым войскам отдых и приказал без остановки преследовать противника. Письмо это несказанно удивило Антона Ивановича: он был осведомлен о том, что наступление еще до получения приказа сам же Врангель и продолжал. В другом письме Врангель сетовал на то, что Кавказской армии якобы не отпускались кредиты. И даже в простейших житейских жалобах он не мог обойтись без патетики: «В то время как там, у Харькова, Екатеринослава и Полтавы, войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются за счастье одной родины — оборванные, босые, простоволосые и голодные».

— Зависть словно злой дух вселилась в барона, — прокомментировал это письмо Антон Иванович. И хотя он почти никогда не прибегал к крепким, а тем более нецензурным выражениям, на этот раз не сдержался: — Как по той пословице: «В чужих руках х... всегда толще».

Он тут же приказал мне запросить о кредитах генерала Лукомского, который, как известно, был лицом дружественным и близким Врангелю. Я незамедлительно

выполнил приказание Деникина и получил ответ Лукомского. Ответ заключался в том, что кредиты Кавказской армии переводились своевременно.

— Ну что тут скажешь? — в недоумении развел руками Антон Иванович. — Когда он говорит правду, а когда лжет?

— Антон Иванович, — решил успокоить его я. — Если хотите знать мое мнение, то вот оно: не берите в голову все, что исходит от барона. Неужели вы не видите, что человек он совершенно непредсказуемый? Как та вероломная собака: не угадаешь, когда она лизнет, а когда укусит.

Антон Иванович поморщился, и я почувствовал, что несколько перегнул палку. Даже мне он не разрешал столь грубо и своевольно отзываться о генерале, пусть и нелюбимом. Поручик смеет критиковать генерала — это же вопиюще противоречит военной субординации!

Впрочем, я уверен, что он вспомнил мои слова о Врангеле, когда тот уже в феврале разразился письмом, которое иначе чем памфлетом и не назовешь.

Вот это письмо:

«Моя армия освободила Северный Кавказ. На совещании в Минеральных Водах 6 января 1919 года я предложил Вам перебросить ее на Царицынское направление, дабы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге.

Мое предложение было отвергнуто, и армия стала перебрасываться в Донецкий бассейн, где до мая месяца вела борьбу под начальством генерала Юзефовича, заменившего меня во время болезни.

Предоставленный самому себе адмирал Колчак был раздавлен и начал отходить на восток. Тщетно Кавказская армия пыталась подать руку помощи его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски их на фронт Добровольческой армии, войска которой, почти не встречая сопротивления, шли к Москве.

В середине июля мне наконец удалось связаться с уральцами, и с целью закрепления этой связи я от-

дал приказ 2-й кубанской дивизии генерала Говорущенко переброситься в район Камышина на левый берег Волги».

Смысл этого послания был ясен даже человеку, не сведущему в военных делах: Врангель открыто обвинял Деникина в том, что он повинен в поражении Колчака!

Как-то в минуту откровения Антон Иванович пожаловался мне:

— А ведь именно я передвинул барона Врангеля на более высокую ступень военной иерархии! Именно я уговорил его, когда он был в состоянии полнейшей прострации, остаться на посту командующего Кавказской армией. Именно я, и никто другой, предоставил ему, по его желанию, Царицынский фронт, который он считал наиболее победным. Наконец, именно я терпел без меры его пререкания, создававшие вокруг Ставки смутную и тяжелую атмосферу и в корне подрывавшие дисциплину.

— Хорошо еще, что вы поняли это хотя бы теперь, — вернул я.

Деникин тяжело вздохнул:

— В своем попустительстве я чувствую большую вину перед армией и историей.

Помолчав, он спросил меня:

— Но скажите, Дима, как быть? Ведь дилемма все та же: или всецело верить людям, или вовсе не доверять.

И так как я молчал, Антон Иванович решил на откровенность:

— Интриги и сплетни давно уже крутятся вокруг меня, но я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят. — Он как-то потускнел и съелся в эту минуту. — Никто не вправе бросать мне обвинения в лицепрятии. Никакой любви мне не нужно, как, впрочем, незачем требовать любви и от меня. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. — Эту последнюю фразу он произнес уже решительным тоном.

Мне вдруг стало бесконечно жаль этого человека, которого, как бы в благодарность за его порядочность, пытаются обвинять во всех смертных грехах.

— На вашем месте, Антон Иванович, я никогда бы не

простил такого рода выпады. Ведь он просто издевается над вами! Чего стоит его предыдущий памфлет!

А предыдущее послание Врангеля было таким:

«До назначения меня командующим Кавказской армией я командовал теми войсками, которые составляют ныне армию Добровольческую, числящую в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев и дроздовцев... Борьба этих славных частей в каменноугольном районе — блестящая страница настоящей великой войны... бессмертными подвигами своими они стяжали себе заслуженную славу... Но вместе со славой они приобрели любовь вождя, связанного с ними первым Ледяным походом. Эта любовь перенеслась и на армию, носящую название Добровольческой, название, близкое вашему сердцу, название, с которым связаны ваши первые шаги на великом крестном пути... Заботы ваши и ваших ближайших помощников отданы полностью родным вам частям, которым принадлежит ваше сердце. Для других ничего не осталось...»

Я счел уместным напомнить суть этого послания Антону Ивановичу. Он вспыхнул:

— Как можно обвинять меня в том, что я люблю только Добровольческую армию и забочусь только о ней? Да поступай я таким образом, меня можно было бы считать полным идиотом, не желающим нашей победы!

— Все это он заявляет вам в то время, когда мы наступаем, причем безуспешно. Что же будет, если, не дай бог, боевое счастье нам изменит? Он набросился на вас как тигр и постарается восстановить против вас всю армию!

Я говорил это от всего сердца, ибо в душе своей не терпел интриганов и карьеристов. И втайне радовался тому, что, разжигая конфликт между Деникиным и Врангелем, подогревая неприязнь, которая постоянно жила в душе Антона Ивановича, я, по существу, «работал» на два фронта: как мог утешал Деникина, стараясь пошире открыть ему глаза на Врангеля, и в то же время по-своему выполнял задание, полученное с Лубянки. Это задание как раз и состояло в том, чтобы способствовать враждебным отношениям, сложившимся между Деникиным и Врангелем, накалять их и тем самым ослаблять боевое

единство белых, отвлекать умы генералов от решения оперативных и тактических задач.

А наступление на Москву между тем продолжалось.

В июне генерал Шкуро взял Екатеринослав. Тем самым советская власть отторгалась от плодороднейших областей Украины, лишалась хлеба и другого продовольствия, так необходимых Москве, Петрограду, да и в целом Центральной России. Врангель, хоть и отвлекался на сочинение «памфлетов», тем не менее в два дня покончил с «Красным Верденом» — Царицыном.

Как нам стало известно из донесений наших разведчиков, Москва была смертельно напугана положением на Южном фронте и изо всех сил готовилась к отпору наступающим войскам Деникина.

Надо сказать, что фронт Деникина был невероятно широк — он простирался более чем на восемьсот километров. И все же наступление белых войск продолжало развиваться, принимая для большевиков крайне угрожающее положение. Правда, бои порой проходили с переменным успехом, но белые сражались упорно; к тому же нужно учесть, что против сорока пяти тысяч белых большевики сосредоточили пять армий общей численностью около ста пятидесяти тысяч пехоты и сабель.

Я внимательно следил за ходом боевых действий. Первого августа 10-я армия красных, возглавляемая командармом Клюевым, в тесном взаимодействии с конницей Буденного на западном крыле обрушилась на Кавказскую армию Врангеля. Однако Врангель нанес ответный удар, и наступление красных захлебнулось, хотя оно и было поддержано огнем кораблей Волжской флотилии. Красные были отброшены за Хопер. Ударная группа красных комфронта Шорина понесла большие потери.

За три дня до того как в Москве был разработан план операции красных на Южном фронте, генерал Кутепов перешел в наступление своим 1-м армейским корпусом в Северо-Западном направлении, разрезал 13-ю и 14-ю армии красных, нанес им огромный урон и отбросил первую к Курску, вторую — за Ворожбу и продолжил наступление на Белгород. Генерал Май-Маевский неудержимо наступал на Воронеж и Курск в районе реки Десны. Конный корпус генерала Мамонтова совершил рейд в

глубокий тыл противника. Москва в результате этого рейда была ввергнута в панику, тем более что уже 5 августа Мамонтов взял Тамбов, затем Козлов, Лебедин, Елец, Грязи, Касторную, а 29-го — Воронеж.

Надо признать, это был грандиозный рейд, подобный наступлению варваров: на всем пути своего движения корпус Мамонтова уничтожал склады оружия, боеприпасов и продовольствия, взрывал мосты, стараясь сжечь за собой все пути отхода, разрушал линии связи. Кроме того, «перемобилизовал» мобилизованных красными несколько десятков тысяч крестьян и конечно же награбил огромное количество всякого ценного имущества. Я не преувеличиваю, прибегая к эпитету «огромное»: обоз с этим имуществом растянулся на шестьдесят верст, чем основательно сковал действия мамонтовской конницы и блокировал поступление резервов. Поняв это, Мамонтов, вместе того чтобы наступать в направлении Лисок, пошел на запад, переправился через Дон и соединился с корпусом генерала Шкуро. Тысячи казаков его корпуса «осели» по дороге в донских станицах, таща за собой множество трофеев. Опять же я не преувеличиваю: из семи тысяч сабель в корпусе Мамонтова осталось не более двух. Сразу же после того как Шкуро овладел Воронежем, Мамонтов отправился на «заслуженный» отдых в Новочеркасск и Ростов, где его под оглушительное «ура!» носили на руках как национального героя. Что касается корпуса, то численность его сильно уменьшилась.

И все же наступление белых успешно продолжалось. Главное ядро Добровольческой армии Май-Маевского уже приближалось к Москве.

Это породило истерический призыв Троцкого:

«Белогвардейская конница прорвалась в тыл нашим войскам и несет с собой расстройство, испуг и опустошение пределов Тамбовской губернии... На облаву, рабочие и крестьяне! Ату белых! Смерть живорезам!»

В этом же воззвании большевистский наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета грозил казачеству:

«Вы в стальном кольце. Вас ждет бесславная гибель. Но в последнюю минуту рабоче-крестьянская правительственная готово протянуть вам руку примирения».

Советская газета «Экономическая жизнь» вынуждена была констатировать:

«Как это ни тяжело, но в настоящее время необходимо отказаться от дальнейшего продвижения в Сибири и все силы и средства мобилизовать для того, чтобы защитить само существование Советской Республики от деникинской армии».

Казалось, еще никогда, с того момента как вспыхнула гражданская война, звезда Антона Ивановича Деникина не сияла так ярко и величественно! А что тут удивительного? Победителя способны воспеть даже враги.

31

Никогда еще Советской Республике не угрожала такая смертельная опасность, как в октябре 1919 года. В руках белых оказались Тамбов, Воронеж, Орел, Курск и многие другие города Центра России. На Восточном фронте Колчак отбросил красных за реку Тобол.

Взволнованный Ленин пишет полное тревоги письмо члену Реввоенсовета Сергею Ивановичу Гусеву, который на самом деле был Яковом Давидовичем Драбкиным — в те времена без псевдонима не обходился, пожалуй, никто, особенно если этот человек принадлежал к высшим эшелонам власти. Вот что было в этом письме:

«Тов. Гусев! Вникая в письмо Склянского (о положении дел 15.IX) и в итоги по сводкам, я убеждаюсь, что наш РВС работает плохо.

Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выходит «игра в спокойствие».

А на деле у нас застой — почти развал.

На Сибирском фронте поставили какую-то сволочь Ольдероге и бабу... и «успокоились». Прямо позор! А нас начали бить. Мы сделаем за это ответственным РВСР, если не будут приняты энергичные меры. Выпускать из рук победу — позор.

С Мамонтовым застой. Видимо, опоздания за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21-й дивизии на юг. Опоздали с

автопулеметами. Опоздали с связью. Один ли главком ездил в Орел или с вами, дело не сделали. Связи с Селивачевым не установили, надзора за ними не установили, вопреки давнему и прямому требованию ЦК.

В итоге и с Мамонтовым застой, и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня на день — помните, эти рисуночки вы мне показывали? И я сказал: о противнике забыли!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делали. Надо лучших, энергичнейших комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь.

С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень, а Деникин утроит силы, получит и танки и проч. и проч. Так нельзя. Надо сонный темп работы переделать в живой.

Ответьте мне (через Л.А. Фотиеву).

16.IX.1919. Ленин.

Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь или не желая следить за исполнением. Если это общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель».

Не случайно 15 октября Политбюро ЦК партии большевиков подчеркнуло, что необходимо «...вопрос о Северном и Западном фронтах рассматривать лишь под углом зрения безопасности Московско-Тульского района в первую очередь...». Ленин потребовал усилить руководство Южного фронта. И тут вспомнили о Сталине и о его «железной руке».

Своенравный Иосиф Виссарионович тут же поставил перед ЦК три неперемных условия, лишь при выполнении которых он согласится выполнять поставленную перед ним задачу на Южном фронте: во-первых, Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и вообще не должен переходить за его разграничительные линии; во-вторых, с Южного фронта должен быть немедленно отозван целый ряд работников, которых он, Сталин, считает непригодными восстановить положение в войсках; в-третьих, на Южный фронт должны быть немедленно командированы новые работники по его, Сталина, выбору. Перепуганный Деникиным ЦК безропотно принял эти условия.

На следующий день после принятия решения Политбюро Владимир Ильич Ленин читал записку, направленную на его имя Сталиным. В этой записке Сталин выражал крайнее удивление тем, что еще месяца два назад главком Сергей Сергеевич Каменев не возражал против нанесения удара по белым с запада на восток через Донецкий бассейн и считал это направление основным. И все же такой удар не был нанесен: главком ссылался на то, что необходимая для этого перегруппировка войск заняла бы слишком много времени и была бы на руку Деникину. Теперь же, как полагал Сталин, сложилась совершенно иная обстановка: 8-я армия передвинулась и смотрит прямо на Донецкий бассейн, таким же образом нацелился на него и кавалерийский корпус Буденного. Кроме того, прибавилась новая сила — латышская дивизия, которая через месяц, обновившись, может превратиться в значительную силу.

Ленин еще не дочитал до конца записку, далекую от традиционной военной терминологии (чего стоили такие перлы, как «удар с запада на восток» или же «армия передвинулась и смотрит прямо на Донецкий бассейн!»), как секретарь доложил ему, что пришел Сталин и просит его принять.

— Просите! — обрадованно воскликнул Ленин, отдавая предпочтение живому общению с автором записки, в ходе которого можно будет лучше узнать замысел Сталина и поговорить с ним.

Сталин вошел в кабинет неторопливо, будто все то, что происходило на фронте, говорило не об опасности, нависшей не только над Москвой, но и над всей кремлевской властью, а о полном благополучии на полях сражений. Ответив на крепкое, но нервное рукопожатие Ленина, он невозмутимо опустился в предложенное ему кресло.

— Иосиф Виссарионович, да вы настоящий провидец, какое у вас превосходное чутье! Как вы догадались, что именно в этот момент я изучаю вашу записку? — И, не ожидая ответа, продолжил, приводя себя в возбуждение: — Да, да, мы на волоске от гибели, обратите внимание на эту карту! Там же сплошные синие стрелы, направленные прямо в сердце республики! Белые почти у

ворот Москвы! Надо признать, даже переступив через самих себя, что этот Деникин, несомненно, обладает качествами полководца. А посмотреть на его фотографию, так и не подумаешь — тихоня, тугодум! — Он помолчал, глядя, какова будет реакция Сталина, но тот сидел молча, будто и не слышал восклицаний Ленина. — И представьте, эти дундуки, замшелые военспецы, забросали меня кипой всяческих планов, которые невозможно не то что применить на деле, но даже переварить в голове! И при малейшем их рассмотрении становится понятно, что они вопиюще противоречат друг другу!

Сталин долго не отвечал, как бы думая о своем. Наконец неторопливо произнес:

— Было бы удивительно, Владимир Ильич, если бы ведомство великого полководца товарища Троцкого работало по-другому. На первых порах я наивно предполагал, что в этих авгиевых конюшнях, где сам черт ногу сломит, товарищ Троцкий взлелеял рассадник путаников и бездельников. Но ныне я пришел к совершенно твердому убеждению, что в этом ведомстве окопались не путаники и бездельники, а настоящие вредители.

Ленин, мелкими шажками меривший тесный кабинет, при этих словах Сталина враз остановился.

— Вредители?! — изумленно переспросил он, вскидывая ладони к лацканам пиджака. — Неужели вы полагаете, что товарищ Троцкий страдает политической близорукостью? Кажется, это на него не похоже.

— Политическая близорукость — слишком мягкое определение, — продолжал Сталин. — Хотя и политическая близорукость, как учит нас опыт революционной борьбы, не такое уж безобидное качество. Как это кажется иным «стратегам» в нашей партии.

Ленин слегка поморщился: на кого это намекает этот немногословный скрытный грузин, в чьем лексиконе самыми любимыми были хлесткие политические ярлыки?

— А давайте-ка лучше займемся вашей запиской, время ли сейчас до политических дискуссий? К тому же, как бы мы сейчас ни критиковали товарища Троцкого, отступление наших войск не приостановится. — Ленину не

хотелось вот запросто «сдавать» Троцкого, и он поспешил перевести разговор в другое русло. — Чем же вас не устраивает план главкома, предписывающий Шорину наступать на Новороссийск через донские степи?

— План главкома, предписывающий Шорину наступать через донские степи, — Сталин почти слово в слово повторил фразу Ленина, — должен быть решительно отвергнут, и чем скорее, тем лучше, хотя бы потому, что по линии, по которой главком предлагает вести наступление, может быть, и удобно летать нашим авиаторам, но уж совершенно невозможно будет двигаться нашей пехоте и артиллерии. Нечего и доказывать, что этот сумасбродный план в условиях абсолютного бездорожья грозит нам полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход через казачьи станицы, как это показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты своих станиц. Нужно ли доказывать, что этот так называемый план может лишь усилить влияние белых?

— Аргументация железная! — воскликнул Ленин.

— Стальная, — усмехнулся в усы Сталин.

— Иными словами, Иосиф Виссарионович, вы предлагаете отменить план, который поддерживает товарищ Троцкий?

— Вот именно. Впрочем, этот так называемый план уже отменила сама жизнь.

— Каков же ваш план? — Ленин изобразил живую заинтересованность.

— План этот чрезвычайно прост. — Сталин заговорил уже без иронии, по-деловому жестко. — Этот план предусматривает нанесение основного удара через Харьков-Донецкий бассейн на Ростов.

— И в чем же его преимущества? — нетерпеливо спросил Ленин.

— Преимущества нашего плана очевидны. — Сталин не произнес слова «моего», заменив его словом «нашего», не уточнив, однако, кого он, кроме себя самого, относит к числу авторов плана. И потому трудно было понять, что стоит за этим «нашим» — чрезмерная скромность или же стремление показать, что именно за такой план ратуют значительные силы в партии. — Во-первых,

здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот, симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение. Во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть — Донецкую и основную артерию, питающую армию Деникина, — линию Воронеж — Ростов. В-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих Добровольческую оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл. — Сталин властно перечеркнул изображенный на карте район предстоящих действий резким взмахом ладони. — В-четвертых, мы получаем возможность поспорить казаков с Деникиным, который в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдет. И, наконец, в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля. Таковы аргументы, требующие немедленной отмены так называемого плана товарища Троцкого, пагубного для Советской Республики, и таковы аргументы, наглядно подтверждающие необходимость срочного принятия и осуществления на практике нашего плана.

На предельно сосредоточенном лице Ленина, жадно ловившего каждое слово Сталина и едва удерживавшего себя от того, чтобы не вклиниться в сталинскую речь, вспыхнуло изумление.

— Да вы, батенька мой, просто военный стратег! — восхищенно и даже с некоторой завистью воскликнул он. — Ну-ка, признавайтесь как на духу, откуда у вас прорезались такие способности? Это же превосходный план, п р е в о с х о д н ы й! — И Ленин снова забежал по кабинету маленькими шажками.

Сталин оставался невозмутимым. Он обожал похвалу, но никогда этого не показывал.

— Без принятия этого плана, Владимир Ильич, — непререкаемо произнес Сталин, — моя работа на Южном фронте становится бессмысленной и никому не нужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту.

— Узнаю твердокаменного большевика, — радостно улыбнулся Ленин: он уважал людей, выдвигающих ультиматумы, вероятно, потому, что и сам любил прибегать

к ультиматумам. — Успокойтесь, надеюсь, мы докажем нашим недоразвитым военспецам, что наш план — это удар, поистине сокрушительный удар по Деникину, после которого сей прославленный главарь Белого движения уже вряд ли сможет оправиться! Хотя, — Ленин пожевал губами, видимо в чем-то сомневаясь, — даже невооруженным взглядом видно, что путь от Царицына до Новороссийска все же короче...

— Путь от Царицына до Новороссийска, — спокойноотреагировал Сталин, — на самом деле может оказаться гораздо длиннее, потому что он проходит через враждебную классовую среду. И наоборот, путь от Тулы до Новороссийска может оказаться гораздо короче, потому что он идет через рабочий Харьков, через шахтерский Донбасс.

— Вы абсолютно правы! — горячо поддержал его Ленин. — Я немедленно дам указание Полевому штабу срочно заменить изжившую себя директиву. Главный удар будем наносить Южфронтом в направлении на Харьков — Донбасс — Ростов!

И Ленин с присущим ему энтузиазмом стремительно обозначил ребром ладони линию, по которой должно пойти решительное наступление красных войск.

Сталин выходил из ленинского кабинета с чувством полного удовлетворения: мало того что Ильич одобрил его план, удалось еще раз «проехаться» по Иудушке-Троцкому, от влияния которого никак не может избавиться Ленин и которому все еще продолжает доверять. Ничего, придет время, неминуемо придет, когда сей «стратег» будет ползать перед ним, Сталиным, на коленях! И уж он, Сталин, сумеет доказать, что Троцкий все делал для того, чтобы обеспечить победу Деникину и тем самым нанести поражение Красной Армии!

32

Буденный хорошо понимал, что Шкуро, занявший Воронеж, — штучка не простая и наскоком город не возьмешь.

— И ты, дорогой мой товарищ и друг, милейший ты мой начштаба, — с обычной своей усмешкой обратился

он к Погребову, — маленько поостынь. А то заладил: штурм да штурм. Так наштурмуешься, что копыта откинешь. С умом надобно действовать, с умом. Пораскинь мозгами, как выманить этих шкурат из города, в открытое поле, вот тут мы их своей конной лавой и накроем, голубчиков, тут уже им будет хана!

Погребов задумался, не зная, что ответить Буденному.

— Ну что, конь ретивый, раскинул мозгами?

Погребов смущенно улыбнулся:

— Есть вот такая задумка. Что, ежели мы сочиним письмецо этому паразиту Шкуро?

Буденный крутанул ус:

— Любковое, что ли?

— Так нешто он баба? — развеселился начштаба. — Мы ему такое, чтоб как ежа в печенку!

— А что? — вдруг поддержал его Буденный. — Все наживки хороши, лишь бы ерш клюнул! Давай сочиняй, небось писаки у тебя найдутся?

— Такие в наличии имеются, — подтвердил Погребов. — Вмиг накатают!

Вскоре письмо было готово:

«Завтра мною будет взят Воронеж. Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади Круглых рядов. Парад принимать буду я. Командовать парадом приказываю тебе, белогвардейский ублюдок. После парада ты за все злодеяния, за кровь и слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе там же, на площади Круглых рядов. А если тебе память отшибло, то напомним: это там, где ты, кровавый головорез, вешал и расстреливал трудящихся и красных бойцов.

Мой приказ объявить всему личному составу Воронежского белогвардейского гарнизона. Буденный».

— Головастый твой писака, — одобрил письмо Буденный. — Да вот задачка, едри ее в корень: какой почтарь пидулю эту доставит лично в руки этой Шкуре?

— Есть такой! — откликнулся Погребов. — Сам Олеко Дундич напрашивается.

— Дундич? А что, этот лихо сработает!

Буденный не раз видел Дундича в бою, безумно храбрый был этот хорват! Прапорщиком воевал на стороне

немцев, в шестнадцатом под Луцком попал в плен к русским. С тех пор и прикипел сердцем к России. С белыми воевал в составе интернационального отряда в районе Одессы и в Донбассе. Потом попал к Ворошилову, воевал вместе с ним в Царицыне, а Буденный переманил его к себе. Здесь, у Буденного, бойцы прозвали его Красным Дундичем.

— Погоди, начштаба, — остановил Буденный устремившегося к двери Погребова. — Ты не забыл, что Дундич состоит при мне для особых поручений? Особых! А ежели его эта Шкура на виселице вздернет, как мне прикажешь быть без орла моего?

— Семен Михайлович, — усмехнулся в усы Погребов. — Дундич у нас от всех пуль и виселиц заговоренный. Мало того что смельчак, так еще и хитер, пройдоха! Вывернется, как пить дать вывернется!

— Ну добро, посылай.

Едва Буденный произнес эти слова, как в комнату влетел белогвардейский капитан. Семен Михайлович даже вскочил со своего места и от неожиданности схватился за рукоятку маузера.

— Господин генерал, ваше превосходительство. Капитан Пердыщенко прибыл по вашему приказанию! — лихо отрапортовал офицер голосом Дундича, так хорошо знакомым Буденному.

— Дундич, язви тебя! — воскликнул ошеломленный Семен Михайлович. — Вылитый беляк, чертяка! Да я в тебя чуть пулю не всадил!

— Готов рапортовать самому Шкуро! — пробасил Дундич.

— Хорошо, даю добро. А ежели голову сложишь — высеку!

— Ежели голову сложу — сечь некого будет! — рассмеялся Дундич.

— Ладно, ладно! — Буденный и сам понял, что сказал не то. — Когда намерен ехать?

— А прямо сейчас! — уверенно воскликнул Дундич.

Буденный встал и крепко обхватил Дундича за плечи.

— Давай, сынок...

Был хмурый осенний день, когда Дундич отправился в штаб Шкуро. Добрался до Воронежа без осложнений.

Быстро разыскал штаб. Часовой, стоявший у крыльца, потребовал документы.

— Смирно! — взревел Дундич. — С кем разговариваешь, мерзавец?!

Часовой опешил, а Дундич вбежал в штаб. Там сидел поручик — адъютант начальника штаба.

— Срочный пакет от генерала Сидорина! — почти торжественно объявил Дундич. — Лично в руки его превосходительству генералу Шкуро! И поскорее, поручик!

— Генерал еще почивает, — лениво сказал адъютант. — Как только его превосходительство встанет, вручу немедленно. Хотите чаю?

— Прекрасно, поручик! — одобрил Дундич. — Однако чай гонять мне недосуг — очень спешу! До встречи!

— Нет ли у вас новых сведений от генерала Сидорина? — спросил адъютант, когда Дундич уже распахнул дверь. — Имеет ли он намерение прислать нам подкрепление в Воронеж?

— Имеет, несомненно имеет! — заверил поручика Дундич. — Он прекрасно понимает, что одному генералу Шкуро вряд ли под силу справиться с этой сволочью!

— С какой?

— Известно с какой — с Буденным!

— С Буденным?! — презрительно воскликнул адъютант. — Да мы ему такую баньку готовим — век будет помнить, если живым останется.

И уже доверительно, вполголоса добавил:

— По нашим разведанным, Буденный собирается наступать с востока — вот и пусть себе наступает! У нас там сосредоточены главные силы...

У Дундича радостно екнуло сердце: «Как повезло! Да только ради этой информации стоило рисковать! Предлагаю себе, как обрадуется Буденный!..»

Как это всегда водилось в России, чем тяжелее складывалась обстановка, тем яростнее закипала борьба за власть в среде обреченных. Уже к началу 1920 года, когда Белое движение стало катиться к своему закату,

схватка за власть разгорелась с новой, не виданной еще силой. И главным возмутителем спокойствия оказался все тот же барон Петр Николаевич Врангель — талантливый мастер интриги, для которого порой был важен не столько результат подковерной схватки, столько сам процесс игры.

Когда поезд генерала Шкуро прибыл в Екатеринодар, он остановился как раз напротив уже застывшего на станции поезда Врангеля. Едва только тяжело лязгнули буфера, как в салон-вагон Шкуро явился адъютант с докладом о том, что его желает срочно видеть генерал Шатилов — начальник штаба Врангеля.

Шкуро знал Шатилова с давних пор, хотя во время гражданской войны встречаться им не доводилось.

Шатилов вошел в салон-вагон с широкой улыбкой, как это происходит при особо желанных встречах, в ходе которых гостю доставляет величайшее удовольствие сообщить хозяину нечто радостное. После взаимных бурных приветствий Шатилов спросил без всяких дипломатических вывертов:

— Генерал, скажите как на духу: как вы относитесь к Петру Николаевичу?

Шкуро был не из тех, кого можно было с ходу вызвать на откровенность, он вспомнил о том, что Врангель не очень-то жаловал его, нередко ядовито критиковал, а потом и вовсе потребовал от Деникина убрать его из армии, называя главным виновником расстройств кубанских конных корпусов, впрочем, так же, как и Мамонтова, который командовал донскими казаками. Дошли до него и «воспоминания» Врангеля. Барон рассказывал, что знал новоиспеченного генерала еще по боевым действиям в лесистых Карпатах, когда отряд есаула Шкуро, действуя в районе 18-го корпуса, в состав которого входила Уссурийская дивизия барона, большей частью находился в тылу, пьянствовал и грабил и в конце концов по настоянию командира корпуса генерала Крымова был с участка корпуса снят.

Поэтому нынешний ответ Шкуро генералу Шатилову был предсказуем:

— Ты лучше скажи, когда Кутепов взял Курск и Орел, а я — Воронеж, где пребывал тогда твой доблестный Петр

Николаевич? Может, он поспешил к нам на помощь? Хрена лысого! Он, видите ли, вслушивался в перезвон московских колоколов! Уши у твоего барона, доложу я тебе, даже музыкальные!

— Время ли сейчас помнить о прошлых обидах? — дружелюбно отозвался Шатилов. — Все рухнет, летит в тартарары! Или мы сплотимся, или нам всем крышка! Неужто вы не чувствуете, что Деникин выдохся и уже ни на что не способен?

Шкуро враз сообразил, к чему клонит Шатилов: кажется, раскручивается веселенькая интрижка, из которой можно получить свою выгоду!

— Не темни, — решительно сказал Шкуро. — Я так понял, что барон желает меня видеть и предложить дело на выгодных условиях. Готов встретиться с ним незамедлительно. Скажи ему, что буду через пятнадцать минут.

Однако прошло не менее часа, прежде чем Шкуро появился в салон-вагоне Врангеля. В том был свой тайный умысел: не в меру заносчивый барон чувствует, что с ним, Шкуро, надо считаться, его надобно уважать. Видать, приперло, раз и Шкуро понадобился! А то, наверное, повторял омерзительную частушку, которую сочинил какой-то красный стихоплет:

Беляки с испугу, сдуру сдали действовать хитро:
Генерал-майора Шкуру перекривили в Шкуро!

Врангель был рассержен медлительностью Шкуро, но виду не подал. Напротив, был изысканно вежлив, предупредителен и не жалел льстивых слов:

— Ваша доблестная конница, дорогой мой боевой друг, — это вихрь, ураган, смерч! Россия никогда не забудет взятия Воронежа! И если бы не бездарность нашего высшего командования, мы с вами уже сидели бы не в этой глухой провинции, а в Московском Кремле!

— Вашими устами мед бы пить. — Шкуро тем не менее тоже расплылся в улыбке: кто из смертных устоит против лести?

— А как настроены кубанские казаки? — Врангель перешел к делу: ему не терпелось вызвать Шкуро на откровенность и выяснить его истинное настроение.

— Кубанцы — наша самая надежная опора, — поспе-

шил заверить Шкуро. — За свой корпус я ручаюсь головой. Однако же и в среду кубанцев проникает большевистская зараза, черт бы ее подрал.

— Вся беда в том, — убежденно сказал Врангель, — что наше главное командование не понимает реальной обстановки, оно продолжает жить старыми иллюзиями и потому, само того не ведая, ведет нас не к победам, а к гибели. Кстати, генерал, можете ли вы дать оценку тому, какова степень популярности среди казаков нашего главного полководца Деникина?

Шкуро хитро усмехнулся: он так и предвидел, что Врангель не выдержит и обязательно заговорит о Деникине. Вот куда нацелены ядовитые стрелы барона!

— Какая там популярность! — фыркнул Шкуро. — Разве что полоумный будет поддерживать того, кто своей бездарностью развалил армию! — Он специально подыгрывал Врангелю и заранее предвкушал удовольствие от того, как речи барона слово в слово перескажет Деникину.

Ответ Шкуро пришелся Врангелю явно по душе.

— Но надо же искать какой-то выход! — воскликнул он. — Надо бороться за спасение армии, за возрождение ее боевой мощи!

— Надо, — мрачно подтвердил Шкуро, хорошо понимая, что Врангель печется не об армии, а главным образом о себе. — Только каким образом?

— Скоро Рождество, — уклончиво ответил Врангель: он еще не хотел открывать все свои карты. — Я собираюсь поехать на два-три дня в Кисловодск, немного отдохнуть и, главное, повидаться с терским атаманом и с генералом Эрдели.

— Ну вы, Петр Николаевич, голова! — нарочито радостно воскликнул Шкуро. — Я тоже еду в Кисловодск повидать семью. Неплохо было бы в Сочельник встретиться у меня. Да и супружниц наших драгоценных хорошо бы с собой прихватить.

— Да вы просто кудесник! — обрадовался Врангель. — Уверен, что вместе мы выработаем хороший план выхода из позорной ситуации. Давайте не терять времени. Завтра же соединим наши поезда — и с Богом в Кисловодск. Люблю этот город всей душой, это же не город, а чудо природы, рай земной!

* * *

Врангель оказался столь нетерпеливым, что уже в поезде по дороге в Кисловодск начал главный разговор.

— Поймите, Андрей, — настойчиво доказывал он Шкуро, возвращаясь все к одной и той же мысли, — Деникин — это кандалы на наших ногах! Время его ушло безвозвратно! Общественность и армия в лице ее старших представителей совершенно изверились в Деникине. Их возмущает его нерешительность, полководческая немощь, его стремление окружать себя такими же бездарными фигурами. Возьмите хотя бы того же Романовского. Сколько сражений мы проиграли по его милости! Дальнейшее пребывание Романовского на посту начальника штаба преступно. Что же касается Деникина, то тут двух мнений быть не может: он обязан немедленно и во что бы то ни стало передать бразды командования другому лицу.

— И кому же? — спросил Шкуро, разливая по рюмкам коньяк.

Врангель будто не расслышал этого вопроса.

— О необходимости немедленного ухода Деникина я уже лично переговорил с донскими и кубанскими атаманами, с председателями их правительств, а также с командующим Донской армией генералом Сидориным и его начальником штаба генералом Кельчевским, с кубанскими генералами Покровским, Улагаем и Науменко, с видными членами Кубанской Рады и Донского Круга, со многими членами Ставки и представителями общественности. И все они единодушно разделяют мою точку зрения.

«Ну и мастер же ты брехать, — подумал Шкуро. — Когда ты успел все это? Зря стараешься, барон, Шкуро не проведешь».

А вслух сказал, напуская на себя таинственную значимость:

— Только такой человек, как вы, барон, мог в короткий срок проделать такую громадную работу!

Врангеля эта похвала побудила к большей откровенности:

— Остановка теперь только за вами, милейший Анд-

рей, да еще за терским атаманом. Как только вы одобрите мой план, мы тотчас же предъявим Деникину ультимативное требование об уходе.

— А ежели он откажется напрочь?

— В таком случае мы ни перед чем не останемся! — Глаза Врангеля сверкнули.

Шкуро отозвался не сразу, сделав вид, что с аппетитом уплетает дунайскую селедочку, которая ох как хороша после рюмки водки! Но, поняв, что его молчание будет расценено как отказ от совместных действий, произнес:

— Пока я не могу сказать ни утвердительно, ни отрицательно. Конечно, риск — оно благородное дело! Но чем черт не шутит, вдруг очутимся мы с вами на дне Тихого Дона? Оттуда не вынырнешь. И кто поручится, что это не вызовет крушения всего нашего фронта? — добавил он, стараясь этим вопросом подчеркнуть, что печется не столько о своей собственной безопасности, но и об интересах армии.

Врангель тут же замкнулся, помрачнел и попрощался со Шкуро холодно, не глядя ему в лицо. Однако от встречи в Сочельник не отказался.

Уходя от Врангеля, Шкуро прикидывал, как бы ему опередить барона. План созрел мгновенно. Декабрьским утром, подъезжая к Пятигорску, Шкуро приказал отцепить свой вагон из состава и, когда это было сделано, не медля ни минуты, отправился к терскому атаману генералу Вдовенко. Атаман с напряженным вниманием выслушал подробнейший, в ярких красках, рассказ Шкуро.

Чем больше говорил Шкуро о планах барона, тем мрачнее становился Вдовенко. Когда Шкуро наконец умолк, атаман хмуро произнес:

— Тут что-то не так. Барон явно преследует свой корыстный интерес. Полагаю, что такого рода генеральская революция всех нас погубит. Этого допускать ни в коем разе нельзя!

— И что же ты намерен предпринять? — в лоб спросил Шкуро.

— Я немедленно, экстренным поездом отправлю председателя Круга Губарева к Донскому атаману и к главноко-

мандующему. Уже к вечеру мы будем знать истинную обстановку. Ты же никоим образом не соглашайся, не вздумай клонуть на приманку барона! Он всех нас облапошит, ежели доберется до власти. Ну а в случае чего, я тебе помогу, будь спокоен.

Шкуро распрощался с Вдовенко и сразу выехал в Кисловодск.

Туда же вечером прибыл и Врангель. Хитроумный, рассчитывающий все ходы, Шкуро на всякий случай встретил Врангеля со всеми почестями. На вокзале был выстроен почетный караул. Встречавшие и гости незамедлительно отправились вместе с женами на дачу Шкуро. Серьезных разговоров не велось, зато взаимная лесть создавала видимость того, что за столом собрались единомышленники, между которыми нет никаких противоречий.

Праздничная атмосфера была нарушена внезапным приходом генерала Эрдели. Врангель тотчас же уединился с ним в отдельной комнате, из которой не доносилось ни единого звука. Секретный разговор, по-видимому, не удался, так как возвратившийся в залу Врангель был насуflen и неразговорчив. Он тотчас же потребовал предоставить ему паровоз и вскоре покинул Кисловодск, впрочем условившись со Шкуро встретиться с ним через пару дней в Екатеринодаре.

Между тем посланец Вдовенко Губарев примчался к Деникину на станцию Тихорецкая.

— Врангель задумал переворот! — этими первыми словами Губарев ошеломил Антона Ивановича, хотя нового в этом сообщении ничего не было. Все же Деникин, даже зная о настроениях и планах Врангеля, не думал, что барон решится на такое. — Он жаждет коренной реорганизации власти на Юге России!

— И что он вкладывает в эту реорганизацию? — стараясь не выдать своего возмущения, спросил Деникин.

— Он желает установить общеказачью власть и стать во главе всех казачьих армий, надеясь опереться на поддержку донцов, кубанцев и терцев.

— А что он намерен сделать с Добровольческой армией? — поинтересовался Деникин.

— Он говорит, что не позволит вам увести армию, ко-

торая якобы крайне недовольна вами и, разумеется, останется, чтобы продолжать борьбу. Врангель уверяет, что на признание его, барона, своим вождем кубанцы уже дали согласие, донцы тоже обещают поддержку, остановка только за терцами. Барон, говоря обо всем этом, был крайне взволнован и все время, почти после каждой фразы, оборачивался к Шатилову: «Не правда ли, Павлуша?»

— И как же Вдовенко отнесся к предложениям генерала Врангеля?

— Он высказал сомнение, что донцы и кубанцы могли поддержать его в такой тяжелейший для армии момент. И прямо сказал, что все это только послужит усилению развала и поможет большевикам. И что Терек на это не пойдет!

— Молодец Герасим Андреевич! — похвалой в адрес Вдовенко отозвался Деникин. — Я всегда верил в его порядочность и мудрость.

Губарев откланялся. Не прошло и нескольких минут, как в салон-вагон ворвался взволнованный и бледный от злости Врангель. Не принимая приглашения сесть, прямо с порога произнес:

— Ваше превосходительство! Науменко и Шкуро — предатели! Они уверяли меня, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что мое имя в среде казачества одиозно и что мне нельзя стать во главе казачьей конной армии! А посему прошу вашего дозволения убыть в Новороссийск!

Деникин ничего не ответил. Тяжелым взглядом, полным разочарования и презрения, он смотрел куда-то мимо барона, будто находился в салон-вагоне совершенно один.

34

Последние месяцы 1919 года и особенно начало 1920 года были самыми несчастливими в жизни Антона Ивановича Деникина: именно в это время Белое движение пришло к своему краху. Хорошо понимая это, Деникин в минуты относительного затишья между боями вы-

страивал в своей записной книжке страдальческую летопись поражений:

«13 декабря 27-я дивизия красных захватила Новониколаевск. 22—23 декабря они заняли Томск. В начале января занят Красноярск. 7 марта красные подошли к Иркутску, где уже по приговору военного трибунала красных принял мученическую смерть адмирал Колчак. Новый, 1920-й год «ознаменовался» тем, что красные овладели Царицыном, затем ими был взят Новочеркасск. В конце января мы оставили Николаев и Херсон».

И вот свершилось непоправимое: 23 января белые отступили за реку Маныч. В этом было что-то символическое: именно с этого рубежа, всего полгода назад, Деникин начинал свое победоносное наступление. И совсем недавно — 17 октября 1919 года войска Деникина взяли населенный пункт Новосилье в Тульской губернии! Еще немного, и Москва бы склонилась перед армиями белых! Большевики были бы схвачены за горло! Куда, в какую новую эмиграцию отправился бы в таком случае возмутитель мирового спокойствия товарищ Ленин?!

Но, казалось, сам Господь Бог отвернулся от деникинцев, как и вообще от белых. За какие такие грехи?!

Трезво мыслящий Деникин понимал, что грехов разного рода было предостаточно для того, чтобы возмутить Всевышнего. Над этими грехами он мучительно раздумывал бессонными ночами, обвиняя самого себя и тех, кто сознательно или нет, но «помогал» уничтожать Белое движение.

Занимаясь анализом причин, приведших к поражению, Деникин прежде всего опирался на цифры. Его армии достигли высшей точки успеха в сентябре — октябре 1919 года. К этому времени у него было 15 тысяч пtyков и сабель, у Колчака — 50 тысяч, у Юденича — около 20 тысяч, да еще на севере у генерала Миллера столько же. А сколько было у красных? Три с половиной миллиона бойцов! Простейшее сопоставление этих несопоставимых чисел приводило к единственному выводу: народ в своем большинстве шел за красными!

Все свои надежды Деникин возлагал на решительные, безостановочные действия. Только наступление, только

вперед, оборона должна быть предана полному забвению! Пассивная оборона — смерть для армии, численность которой меньше, чем у противника. Но разве можно только наступать и наступать? В ходе наступления растягиваются коммуникации, нарушаются связи, тылы неизбежно отстают. Тыл в таких обстоятельствах уже перестает быть надежной опорой наступающих, «живет» сам по себе, все более превращаясь в самовлеющую силу, которая зачастую направлена на мародерство, взяточничество, а то и прямой разбой, порождая разгул самых низменных инстинктов.

Свежайший и нагляднейший тому пример — Мамонтов с его телеграммой, отправленной на Дон из тамбовского рейда:

«Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей — дорогие иконы и церковную утварь».

Лозунг войны за идею превращался такими, как Мамонтов, в лозунг «Грабь награбленное». И спрашивается, к кому после этих грабежей предпочтет прислониться тот же тамбовский мужик — к белым или к красным?

С особым остервенением набрасывались на богатую добычу кубанцы. Они не спешили к линии фронта, а тем более не спешили ввязываться в боевые действия с красными: у них были цели куда более заманчивые и привлекательные! На попадавшихся им на пути станциях они спешно и судорожно, грызясь между собой, перегружали трофеи из эшелонов, идущих к центру, в эшелоны, направляемые на юг, на кубанскую землю. Не брезговали ничем: забирали коней, оружие, военное имущество — все, что согдится в родной станице. Не случайно председатель Терского Круга Губарев высказался с потрясающей прямоотой:

— Конечно, посылать обмундирование кубанцам не стоит. Они десять раз уже переоделись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной череске.

Мамонтов оправдывался: красные грабят еще почище наших. На что возмущенный Деникин отвечал:

— Жалкие оправдания! Ведь мы, белые, вступали в борьбу именно против насилия и насильников!

...Уже много позже, в эмиграции, Антон Иванович размышлял со своими собеседниками на эти темы, был откровенен:

— За войсками шла контрразведка. Я не хотел бы обижать многих праведников, изнывающих морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густой сетью территорию юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно в этом прославились контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова-на-Дону.

Он перечислял те самые города, где до прихода белых с небывалой жестокостью, порой доходящей до зверств, действовали ЧК.

В своих мемуарах Антон Иванович был столь же самокритичен:

«История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекающие из разорения, обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины: правительства, не сумевшего обеспечить армию; командования, не справившегося с иными начальниками; начальников, не смогших (одни) или не хотевших (другие) обуздать войска; войск, не устоявших против соблазна; общества, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоинством; ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших армию камнями...»

Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути».

35

Из записок поручика Бекасова

В смутные времена всегда необычайно сильно влечет к чему-то сверхъестественному и таинственному, то есть к тому, что в обычные нормальные годы жизни кажется предрассудком и даже чудачеством, заслуживающим

всеобщего осмеяния. В связи с этим я припоминаю, что в дни тяжелых испытаний, выпавших нам в России, потянуло к хиромантии и астрологии.

Я вдруг заинтересовался фигурой Антона Ивановича Деникина именно в свете этих областей то ли знания, то ли невежества.

Оказалось, что Деникин по знаку Зодиака был Стрельцом. И оказалось также, что весь его облик, характер, внутренняя суть во многом совпадали с тем, что было присуще людям, родившимся под этим знаком! Душа Стрельцов, по утверждению известного астролога, находилась под постоянным напряжением, они легко поддавались волнениям и переживаниям. Кроме того, утверждалось, что у Стрельцов сильно развито чувство собственного достоинства, что они обладают большой волей. Главные черты характера — открытость, прямодушие, смелость и мужественность. Я читал обо всем этом в книге по астрологии и диву давался: все это было будто бы списано с Антона Ивановича! Еще больше поразило меня то, что Стрельцы любят устремляться в дальние походы, а каждый новый подвиг дает толчок к их духовному росту. Все это со стопроцентной точностью было присуще Деникину. Правда, утверждение о том, что Стрелец в гневе своем бывает страшен, явно расходилось с характером Антона Ивановича: в таком состоянии я никогда, даже в дни отчаяния, его не видел. Он оставался спокоен, невозмутим, не повышал голоса и не унижал своих подчиненных гневными и обидными словами. Такая невозмутимость, видимо, давалась нелегко: лицо его при этом становилось страдальческим. Надо отметить также, что он обладал редким чувством справедливости и, наверное, именно поэтому пользовался если уж не всеобщей любовью, то, во всяком случае, несомненным уважением со стороны солдат и офицеров.

Особо я отметил честность и порядочность Деникина. Могу подтвердить даже под присягой, что он был абсолютно честен, когда говорил:

— Я веду борьбу за Россию, а не за власть... Счастье Родины я ставлю на первый план. Форма правления — для меня вопрос второстепенный. Я считаю одинаково

возможным служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский желает той или иной власти.

Такого рода мысль он высказывал не раз, фразы варьировались, но суть всегда оставалась неизменной. Я знал многих генералов, часто слушал их пламенные речи. Однако они не производили на меня впечатления той предельной искренности, которой были пронизаны речи Деникина. Он был человеком твердых убеждений даже тогда, когда ошибался.

И разве не могут не вызвать восхищения такие, к примеру, его слова:

— Будьте вы правыми, будьте вы левыми, но любите нашу истерзанную Родину и помогите нам спасти ее!

А уж фразу Антона Ивановича «Моя программа сводится к тому, чтобы вначале восстановить Россию, а уж потом сажать капусту», — повторяли в армии частенько, передавая из уст в уста.

Чем меня еще привлекал Деникин, так это тем, что он был самым настоящим бессребреником. Он органически не выносил корыстолюбия и конечно же людей, зараженных этим пороком. Помню, весной девятнадцатого года, когда уже довольно сильно пригревало солнце, Антон Иванович продолжал ходить в черкеске. Я спросил, не жарко ли ему в таком одеянии, на что он ответил, немного смутившись:

— Брюки изнашивались, вот и прикрываю их черкеской, чтобы перед офицерами не было стыдно.

Он не лицемерил. Одедся в новую форму лишь тогда, когда мы получили английское обмундирование.

Потом, уже в эмиграции, Ксения Васильевна показывала мне письмо мужа, которое он послал ей в июле 1919 года:

«Особое совещание определило мне 12 000 рублей в месяц. Вычеркнул себе и другим. Себе оставил половину. Надеюсь, ты не будешь меня бранить».

В период самой разнузданной инфляции деньги, о которых упоминал Деникин, иначе чем нищенскими не назовешь. И многие офицеры и даже генералы упрекали Деникина в излишней скромности и нередко открыто высмеивали его бессребреничество. Более того, они утверж-

дали, что низкие оклады будут толкать людей на грабежи и взятки.

Впрочем, грабежи, взятки, насилие и без того стали повседневной нормой жизни обездоленной армии. Как-то в порыве откровенности Антон Иванович признался мне:

— Самое страшное состоит в том, что совершенно нет душевного покоя. Становится невоготу, когда ежедневно видишь убийственную картину грабежей и насилия. Народ пал так низко, что я не знаю, когда ему удастся выбраться из грязи.

— Видимо, следует применять более жестокие меры к мародерам и насильникам, — не очень уверенно проговорил я.

Деникин взглянул на меня как на несмышленища:

— А вы думаете, Дима, что я проявляю мягкость и всепрощение? Надеюсь, читали мои приказы о расстрелах за мародерство? Обещал и каторгу и повешение, а что толку? Не могу же я один ловить и вешать этих хищников! Вся беда в том, что многие в нашей армии смотрят на Гражданскую войну как на способ личного обогащения. Все больше убеждаюсь в том, что надо рубить с голов, а мы часто бьем по хвостам. Да только боюсь, что если рубить головы, то их у нас и вовсе не останется!

* * *

Ох, как я его понимал!

Утверждают, что о призвании человека можно судить по п е р в о м у впечатлению. Я не очень-то доверял такому мнению и поэтому пристально всматривался в Антона Ивановича, стараясь анализировать и оценивать каждый его поступок и даже каждую его фразу. Я все больше приходил к убеждению, что вижу в нем не нового Наполеона, не героя или вождя, но простого, честного, стойкого и мужественного человека. И я искренне верил в то, что именно такие люди, как Деникин, способны вывести Россию из хаоса Гражданской войны.

«Такому мудрому человеку, как Антон Иванович, быть бы главой государства», — не раз мелькала у меня в сознании эта мысль.

Когда я поделился этим с Любой, она подумала и добавила:

— Да, но чтобы при нем состоял премьер-министром какой-нибудь сукин сын, но умный сукин сын.

— Отчего же именно сукин сын? — удивился я.

— А оттого, что без сукиных сынов нет и России.

Я так и не понял, говорит ли она это серьезно или шутит.

35

Прижатая к морю белая армия агонизировала. И именно в такой трагический момент генерал Врангель счел возможным нанести Деникину самый тяжкий удар.

Вот фрагменты его письма Деникину:

«...Английский адмирал Сеймур передал мне от имени начальника Английской миссии при Вооруженных Силах Юга России генерала Хольмана, что вы сделали ему, генералу Хольману, заявление о Вашем требовании оставления мною пределов России, причем Вы обусловили это заявление тем, что вокруг имени моего якобы объединяются все те, кто недоволен Вами.

Адмирал Сеймур предложил мне воспользоваться для отъезда за границу английским судном...

...Моя армия освободила Северный Кавказ...

...На совещании в Минеральных Водах 6 января 1919 года я предложил Вам перебросить ее на Царицынское направление, чтобы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге...

...Предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на восток. Тщетно Кавказская армия пыталась подать помощь его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски на фронт Добровольческой армии...

...Кавказская армия под ударами 10-й, 2-й, 11-й и 4-й армий красных была отброшена к югу... Противник стал спешно сосредоточивать силы для прикрытия Москвы и, перейдя в наступление против армии генерала Май-Ма-

евского, растянувшейся на огромном фронте, лишенной резервов и плохо организованной, легко заставил ее начать отход...

...Вы стали искать кругом крамолу и мятеж...

...В ответе на рапорт мой последовала телеграмма всех командующим армиями с указанием на то, что «некоторые начальники позволяют себе делать мне заявления в недопустимой форме» и требованием «беспрекословного повиновения». (Действительно, Деникин требовал этого в ответ на рапорт Врангеля о необходимости немедленно начать эвакуацию Ростова и Новочеркасска и принять срочные меры по укреплению плацдарма на правом берегу Дона.)

...20 декабря Добровольческая армия была расформирована, и я получил от Вас задачу отправиться на Кавказ для формирования кубанской и терской конницы.

По приезде в Екатеринодар я узнал, что несколькими днями раньше прибыл на Кубань генерал Шкуро, получивший от Вас ту же задачу, хотя Вы это впоследствии и пытались отрицать, намекая, что генерал Шкуро действовал самозвано...

...В Новороссийске за мной велась Вашим штабом самая недостойная слежка: в официальных донесениях новороссийских органов контрразведывательного отделения Вашего штаба аккуратно сообщалось, кто и когда меня посетил, а генерал-квартирмейстер Вашего штаба позволял себе громогласно, в присутствии посторонних офицеров, говорить о каком-то «внутреннем фронте в Новороссийске во главе с генералом Врангелем»...

Усиленно распространенные Вашим штабом слухи о намерении моем «произвести переворот» достигли заграницы...

Я подал в отставку и выехал в Крым, «на покой»...

...Мой приезд в Севастополь совпал с выступлениями капитана Орлова. Выступление это, глупое и вредное, но выбросившее лозунгом «борьбу с разрухой в тылу и укрепление фронта», вызвало бурю страстей... Во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все. Капитан Орлов объявил, что подчинится лишь мне...

...8 февраля Вы отдали приказ, осуждающий выступление капитана Орлова, руководимое лицами, «затеяв-

шими подлую политическую игру», и предложили генералу Шиллингу арестовать виновных, невзирая на их «высокий чин или положение». Одновременным приказом были уволены в отставку я и бывший начальник штаба моей армии генерал Шатилов, а равно и ходатайствовавшие о моем назначении в Крым генерал Лукомский и адмирал Ненюков...

...Теперь Вы предлагаете мне покинуть Россию...

...Со времени увольнения меня в отставку я считаю себя от всяких обязательств по отношению Вас свободным и предложение Ваше для меня совершенно не обязательным. Средств заставить меня его выполнять у Вас нет, и тем не менее я решаюсь оставить Россию, заглушив горсть в сердце моем...

...Если мое пребывание на Родине может хоть сколько-нибудь повредить Вам защитить ее и спасти тех, кто Вам доверился, я, ни минуты не колеблясь, оставляю Россию. *Барон Петр Врангель*».

Деникина это письмо глубоко задело. Он тут же ответил Врангелю:

«Милостивый государь Петр Николаевич!

Ваше письмо пришло как раз вовремя — в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены.

Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше рассеяло его окончательно. В нем нет ни слова правды. Вы это знаете. В нем приведены чудовищные обвинения, в которые Вы сами не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты.

Для подрыва власти и развала Вы делаете все, что можете.

Когда-то, во время тяжелой болезни, постигшей Вас, Вы говорили Юзефовичу, что Бог накарает Вас за непомерное честолюбие...

Пусть Он и теперь простит Вас за сделанное Вами русскому делу зло...»

Прочитав это ответное послание, Врангель взбесился:

— Генерал Деникин, видимо, перестал владеть собой!

Однако позже, в эмиграции, работая над своими мемуарами, Врангель признал, что его письмо Деникину было продиктовано гневом, грешило резкостью и содержало в себе несправедливые выпады. Он как бы раскаивался в том, что поддался влиянию эмоций и незаслуженно «ударил лежащего». Но из песни слова не выкинешь...

В феврале 1920 года Врангель уехал в Константинополь, но уже в апреле вернулся, чтобы принять пост главнокомандующего вооруженными силами Юга России у Антона Ивановича Деникина.

Этому событию предшествовал приказ Деникина, подписанный им в Феодосии 22 марта 1920 года:

«Параграф 1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России.

Параграф 2. Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе, низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию.

Генерал-лейтенант Деникин».

Это был, пожалуй, самый короткий приказ Деникина за все время войны...

* * *

Ночь перед прибытием в Россию, в Севастополь, Врангель провел на крейсере «Генерал Корнилов». Его мучила бессонница. Звенели цепи, на борту крейсера накатывались тяжелые волны, в уши врывался тяжелый топот матросов на палубе. Отчаявшись заснуть, Врангель встал, оделся и сел к столу.

«Приказом от 22 марта за № 2899 я назначен генералом Деникиным его преемником.

В глубоком сознании ответственности перед родиной я становлюсь во главе Вооруженных Сил на Юге России.

Я сделаю все, чтобы вывести армию и флот с честью из создавшегося тяжелого положения.

Призываю верных сынов России напрячь все силы, помогая мне выполнить мой долг. Зная доблестные войска и флот, с которыми я делил победы и часы невзгод, я уверен, что армия грудью своей защитит подступы к Крыму, а флот надежно обеспечит побережье.

В этом залог нашего успеха.

С верой в помощь Божью приступим к работе.

Генерал-лейтенант барон Врангель».

Перечитав написанное, Врангель проставил номер: 2900.

... Чем все это закончилось — хорошо известно. Крым не выполнил роли последнего бастиона Белого движения. Как и Деникин, Врангель оказался в эмиграции.

Последними строками его мемуаров, завершенных в декабре 1923 года в Сремски Карловцах, были:

«Спустилась ночь. В темном небе ярко блистали звезды, искрилось море. Тускнели и умирали одиночные огни родного берега. Вот потух последний... Прощай, родина!»

36

Из записок поручика Бекасова

Все смешалось в Новороссийском порту...

Я написал эту строку и поймал себя на мысли о том, что фразой «все смешалось» начинается роман Толстого «Анна Каренина». Знаменитое «все смешалось в доме Облонских» накрепко засело в моей памяти и вновь припомнилось мне в минуту самых страшных испытаний, которые выпали на мою долю...

Конечно, драма семьи Облонских была драмой всего лишь о д н о й с е м ь и, в то время как то, что происходило в Новороссийском порту, было трагедией общероссийского масштаба.

Была весна, но свирепый ветер завывал по-зимнему. Он швырял в лица песок и прошлогодние мокрые листья, вздымал злую морскую волну.

Рейд Новороссийска был переполнен кораблями, которые, казалось, стояли так тесно, что не смогли бы развернуться, чтобы выйти в открытое море. Корабли — и военные и транспортные — терпеливо ждали, когда на них хлынет, как поток огненной лавы, огромная человеческая масса обезумевших, охваченных паникой людей, жаждущих лишь одного — спасения. Эта людская лава являла собой поразительное по своей живописности зре-

лице: пехотинцы в черных шинелях; казаки в черных бурках и папахах; офицеры во френчах и фуражках с кокардами и без кокард, с погонами и без погон; дамы в шляпах со страусовыми перьями и вовсе без шляп, с растрепанными ветром волосами и глазами, полными ужаса; дети в колясках и на руках матерей; подростки, восприимчивые происходящее как захватывающее приключение; кони с всадниками и без них... И все это кричало, стонало, ругалось, смешивалось в клубок и разбегалось прочь, металось и корчилося... И только те, кого страшный и безжалостный напор толпы наконец выталкивал на трапы, а затем и на палубы судов, могли перевести дух и считать себя спасенными. Теперь они мысленно заклинали Господа, чтобы именно их корабль поскорее отвалил от пирса и устремился в даль, пусть неизведанную и непредсказуемую, зато отводящую от них возможную смерть.

Новороссийск, как осколок снаряда, застрял в моем сердце на всю жизнь. Он стал для меня олицетворением страшной беды, ворвавшейся в мою судьбу как злой рок, как расплата за грехи — истинные и мнимые. Потрясение было таким испепеляющим, что я уже никогда больше не мог в полной мере ощутить чувство радости или счастья — все самое радостное и счастливое непременно окрашивалось в мрачные, гнетущие душу тона.

Потрясение это исходило не столько от сознания того, что Белая армия разбита и уже никогда не сможет возродиться, и даже не от того, что я испытывал постоянные муки совести, понимая, что предал революцию — ту самую революцию, в которую в свое время поверил и которой намеревался честно служить, а на поверку оказался ее противником, переметнувшись к Деникину. Моя трагедия заключалась еще и в том, что проклятый Новороссийск отнял у меня Любу, ту самую Любу, которая стала неразрывной частью меня самого и без которой все, что происходило на этой земле, стало мне совершенно ненужным и постылым...

А дело было в том, что в этом самом Новороссийске Любе волею судьбы было суждено стать матерью, и роды ожидался со дня на день, если не с часу на час. Естественно, о помещении Любы в родильный дом не могло быть и речи по той простой причине, что город был пара-

лизован: не было света, а часто и воды. Родильные дома не функционировали, а те больницы, которые чудом сохранились, были до отказа забиты ранеными.

Мне удалось поместить Любу в частном доме недалеко от моря, у хозяйки, которая показалась мне заслуживающей доверия. Это была пожилая интеллигентная дама, к счастью сведущая в медицине. Она заверила меня, что сумеет принять роды, и я заранее хорошо заплатил ей, отдав почти все наличные деньги.

Казалось бы, все складывалось благополучно. Я надеялся, что Люба успеет родить до нашего отплытия из Новороссийска. Но все произошло иначе.

Настал день, когда Антон Иванович объявил мне, что не далее как завтра наш корабль снимется с якоря. И я вынужден был ему открыться: до этого момента, прекрасно понимая, какими тревогами и заботами охвачен Деникин, я не решался рассказывать ему о беременности Любы (она все предусмотрела, чтобы не попадаться ему на глаза) да и вообще о своих сутубо личных делах. Но сейчас у меня не было иного выхода, как рассказать ему все.

Я ожидал, что Деникин, узнав о моем положении, выразит неудовольствие и выскажется в том духе, что мне следовало бы прежде всего думать головой, а не подчинять себя «инстинктам», да еще с такими последствиями. Однако Деникин, выслушав, посмотрел на меня тем взволнованным и трогательным взглядом, каким в такой ситуации посмотрел бы на своего непутового сына любящий отец, и мягко сказал:

— Возьмите себя в руки, Дима. Я вовсе не осуждаю вас, голубчик. Конечно, все это не вовремя и некстати, но что поделаешь — даже война не может противостоять жизни во всех ее проявлениях. Значит, знамение Господа! И потому не надо роптать. Надо действовать! Берите мою машину, срочно перевозите жену на корабль. Ничего страшного, родит в море. Ксения Васильевна ей непременно поможет, она у меня мастерица на все руки. — Он помолчал, видимо подыскивая те слова, которые были бы способны хоть чуточку ободрить меня, и наконец добавил: — И если родится дочка, назовите ее Мариной.

— Так же, как вашу дочку? — Я был настолько благодарен ему, что готов был встать на колени.

— Выходит, как мою. И станут они подружками. Но прошу вас, не теряйте времени, каждая минута на счету.

Деникин тут же вызвал адъютанта и велел ему сопроводить меня в поездке за женой. Я горячо поблагодарил, и мы поспешили к машине.

С трудом протискиваясь сквозь толпу бесновавшихся людей и рискуя быть задавленными, мы все же сумели наконец добраться до автомобиля, стоявшего во дворе одного из ближних домов.

Вскоре мы повернули на улицу, что пролежала параллельно набережной и где стоял тот самый дом, в котором находилась Люба. Я уже собрался было, не ожидая, пока автомобиль остановится, выпрыгнуть из него и устремиться к подъезду. И тут едва не потерял сознание. Дома не было! В небо, по которому мчались гонимые ветром черные тучи, торчала лишь голая, обожженная пламенем кирпичная печная труба, а все, что прежде было домом, представляло собой огромную грудку головешек и смрадно дымивших обгорелых досок.

Проклятие! Я схватился за голову: это кара, посланная на меня свыше! Неужто и Люба, до боли сердечной любимая Люба, тоже превратилась в пепел?! Сомнений быть не могло: в пламени пожара сгорел именно тот дом, в котором она была, хотя все соседние дома были целехоньки!

Выхватив револьвер, я приставил его к виску, намереваясь нажать на курок: жизнь потеряла для меня всякий смысл! Но капитан, адъютант Деникина, схватил меня за руку и сжал с такой силой, что пистолет выпал и глухо стукнулся о сиденье.

— Вы с ума сошли! — Лицо его перекошилось от ужаса. — Может, ей удалось спастись, надо расспросить соседей, свидетелей. Будьте же благоразумны, Дмитрий Викентьевич!

Слова адъютанта, которые я слышал будто во сне, тем не менее на какое-то время отрезвили меня. В самом деле, ведь ничего не известно, может быть, Любе удалось спастись!

Адъютант спрятал мой револьвер в карман френча, и мы побежали к дому, находившемуся рядом с пепелищем. Мы долго и тщетно пытались докричаться до кого-либо из живущих в этом доме, пока наконец к калитке не вышла

опирающаяся на костыль старуха в черном платке, надвинутом на самые глаза. Она подслеповато уставилась на нас, в маленьких бесцветных глазках ее был страх.

— Бабуля, — обратился к ней адъютант, — не знаешь ли ты, живы ли твои соседи после пожара?

— Что? Что? — Старуха испугалась еще сильнее, морщинистые руки ее задрожали, по всему было ясно, что она повидала на своем веку немало трагического.

— Где люди, которые жили в сгоревшем доме? — почти закричал я.

— Сгорели все, сгорели! — вдруг истерично взвизгнула старуха. — И все сгорят! И вся Россия сгорит! — И она суматошно замахала на нас костлявыми руками, будто проклиная за какие-то совершенные нами грехи.

Я хотел было броситься на поиски других соседей, чтобы все-таки докопаться до истины. Но капитан заторопил меня:

— Мы опаздываем, уже непозволительно опаздываем! — горячо кричал он мне едва ли не в самое ухо: я чувствовал, что глухну и слепну от навалившегося на меня горя. — Антон Иванович велел быстрее — туда и обратно!

Не помню, как я оказался в машине, не помню, как мы доехали до пристани. Помню лишь, как с палубы миноносца нам что-то кричали, размахивали руками. Я потерял сознание...

Потом уже я узнал, что последними покинули Новороссийск Деникин и Романовский со своим штабом. С ними оказался и я. Один, без своей Любы.

Я не хотел знать, где мы и куда плывем. Я проклинал и эту нелепую войну, и белых, и красных, и свою собственную судьбу...

И конечно, я не знал, что Антон Иванович Деникин, запершись в своей каюте, пишет в эти минуты следующие строки:

«Контурсы города, берега и горы обволакивались туманом, уходя вдаль... в прошлое. Такое тяжелое, такое мучительное...»

Сердцу бесконечно больно: брошены громадные запасы, вся артиллерия, весь конский состав. Армия обескровлена... Всею конец!»



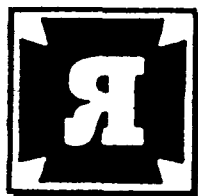
Часть II

СТРАННЫЙ ЭМИГРАНТ

Ветреный век мы застали, Лира!
Ветер, в клоки изодрав мундиры,
Треплет последний лоскут шагра...
Новые толпы — иные флаги!
Мы ж остаемся верны присяге,
Ибо дурные вожди — ветра.

Марина Цветаева

1



Из записок поручика Бекасова
убежден: нечто символическое было в том, что в Англию Антон Иванович Деникин не плыл, а, как сказали бы моряки, шел на броненосце «Мальборо». К этому времени он уже знал, что сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, с которым ему предстояло встретиться по прибытии в Лондон, — потомок старинного и широко известного рода Мальборо, наиболее значительным представителем которого был Джон Черчилль Мальборо — знаменитый полководец и политический деятель, генерал-фельдцейхмстер, живший на рубеже XVII и XVIII веков.

На броненосце, чтобы хоть как-то заглушить тоску по теперь уже далекой России, по Любе, судьба которой так и

осталась для меня загадкой, я, порывшись в корабельной библиотеке, разыскал жизнеописание Мальборо. Без особого желания и любопытства с помощью словаря я вчитывался в сухое, но патетически возвышенное изложение жизни и полководческой деятельности этой знаменитости.

Мало-помалу я выяснил, что Мальборо в составе английско-голландского корпуса принимал участие в англо-голландской войне 1672—1674 годов, а в 1685 году был одним из руководителей английских королевских войск, подавивших антиправительственное восстание герцога Монмута в Южной Англии. Три года спустя, во время государственного переворота, Мальборо без особых колебаний перешел на сторону Вильгельма Оранского, который стал королем Вильгельмом III. Мальборо не прогадал: король назначил его членом Тайного совета. Особенно же прославился Мальборо во время жестокой войны за Испанское наследство. Он был главнокомандующим английскими войсками на континенте и вместе с войсками Австрии и Голландии одержал многочисленные победы над французами.

Ознакомившись с жизнеописанием Мальборо, я поспешил рассказать об этом Деникину, предполагая, что, возможно, мои сведения пригодятся Антону Ивановичу во время его беседы с Черчиллем. Наверняка военный министр и министр авиации — эти посты занимал в данное время Черчилль — гордится своим знатным происхождением. Деникина мое сообщение чрезвычайно заинтересовало: я чувствовал, что ему тоже хочется уйти от своих горестных дум — дум полководца после поражения.

— Я не очень-то уверен, что Черчилль захочет встретиться со мной, — выслушав меня, произнес Деникин. — Вы же знаете, Дима, сильные мира сего предпочитают встречаться не с побежденными, а с победителями. Как я думаю, Черчилль возлагал на Белое движение в России, и в частности на меня, большие надежды. Я же их не оправдал.

— В этом не только и не столько ваша вина, — поспешил успокоить его я. — Вы сделали все, что могли, и даже более того.

— И все равно, мне нет оправдания, — горестно отозвался Деникин.

— Выигрывают обычно те, кто с легкостью меняет свои принципы и политические убеждения. — Я искал

все новые и новые доводы, чтобы утешить Антона Ивановича. — Вы же, однажды выбрав свой путь, никогда не изменяли ему. Знакомясь с жизнеописанием Мальборо, я пришел к выводу, что этот полководец был совершенно беспринципен: ему ничего не стоило поменять свои убеждения и перейти на сторону сильнейшего. Главным для него были титулы и конечно же деньги. Вы в этом не можете себя упрекнуть.

Антон Иванович промолчал: он никогда не любил говорить о своих достоинствах.

Броненосец «Мальборо» неторопливо рассекал волны Средиземного моря. Оно поразило меня своей знойной, ослепительной красотой, но эта яркость лишь усиливала мою тоску по неброской красоте России. Броненосец бросил якорь на Мальте и в Гибралтаре, но ничто не вызывало во мне любопытства к этим ранее неизвестным местам: восхищаться ими я мог бы только в том случае, если бы рядом со мной была Люба.

Когда корабль вышел в Атлантику, началось самое неприятное: океан бесновался, вздымая гигантские волны, словно не хотел пропускать нас. Суровое небо тяжело и устрашающе нависло над водой, и чудилось, что вот-вот начнется светопреставление. Удивительно, что и Антон Иванович, и особенно Ксения Васильевна, несмотря на жестокий шторм, не теряли присутствия духа. Меня же основательно тошнило, что же касается няньки крошечной дочери Деникиных, то она просто-таки обезумела, беспреестанно рыдала и причитала:

— Погибли мы, право слово, погибли! Потонем, непременно потонем! И никто меня не похоронит, рыбы меня съедят...

Ксения Васильевна лишь подсмеивалась над ней, безуспешно пытаясь вывести ее из состояния паники.

Наконец (а произошло это 17 апреля 1920 года), броненосец «Мальборо» бросил якорь в Саутхемптоне. Перед этим мы вошли в пролив Ла-Манш, о котором я уже знал, что он соединяет Северное море с Атлантическим океаном, что длина его около 520 километров, ширина на западе около 180 километров, а на востоке всего 32 километра, а глубина на фарватере достигает 35 метров. Миновав известный порт Портсмут, мы вошли в маленький

пролив Те-Солент, где недалеко от реки Тест нам открылся вид на Саутхемптон. Отсюда предстояло поездом добраться до Лондона.

Мы едва не опоздали к отправлению поезда и потому поспешно, даже излишне суетливо заняли свои места в вагоне, который поразил нас своим уютом и опрятностью, представлявшими собой резкий контраст с теми условиями, в которых мы находились в Новороссийске. Едва мы успели разместиться в комфортабельных купе, как раздался переливчатый свисток конструктора. В ответ призывно пробасил паровоз, и поезд тронулся. Официант, одетый в щеголеватую форму, почти тотчас же после отправления поезда принес на подносе крепкий чай, гренки и джем.

Я наблюдал за Антоном Ивановичем. Он по-прежнему выглядел унылым и подавленным. Ксения Васильевна безуспешно пыталась втянуть его в разговор, делясь впечатлениями от поездки.

На лондонский вокзал Ватерлоо мы прибыли вечером. Ярko светились огни, была неправдоподобно праздничная атмосфера, но ничто нас не радовало. Большая группа встречающих чинно и торжественно приблизилась к вагону, на ступеньках которого появился Деникин.

Среди встречавших я сразу же узнал генерала Хольмана, который так много сделал для того, чтобы английская помощь войскам Деникина была как можно более эффективной. Англичане передали тогда Деникину Каспийскую флотилию, большое количество техники и военного снаряжения. Черноморская британская эскадра помогала войскам Деникина в операциях на побережье Азовского и Черного морей.

Мне до сих пор были памяты слова Хольмана, сказанные по приезде в Россию:

— Находясь здесь, я считаю себя прежде всего офицером штаба генерала Деникина, в котором должен работать на пользу России, как работал во время войны во Франции в штабе генерала Раулинсона.

Позже я узнал, что делегацию встречавших возглавлял представитель британского военного министерства генерал сэр Филипп Четвуд, прибывший на вокзал с группой сопровождавших его офицеров. Встречали Де-

никина и русские военные, а также дипломатические представители во главе с поверенным в делах Саблиным. Среди группы общественных деятелей я узнал бывшего министра иностранных дел Временного правительства Павла Николаевича Милюкова. Одетый на манер лондонского денди, он сверкал стеклами пенсне и, как мне показалось, излишне суетился.

Последовали традиционные взаимные приветствия. Деникин отвечал на них суховаато, с явной неохотой. Он очень устал и предпочел бы небольшой отдых шумным возгласам встречавших. Однако кто-то успел вручить Ксении Васильевне большой букет цветов, а Саблин громко зачитал телеграмму, полученную русским посольством из Парижа на имя Деникина. В ней говорилось:

«Беззаветное высокопатриотичное служение Ваше на крестном пути многострадальной родины нашей, Ваше геройское беззаветное самопожертвование ей да послужит залогом ее воскресения. Имя Ваше сопричтется к славным и дорогим именам истинных начальников земли русской и оживит источник для духовных преемников святого дела освобождения и устройства великой России».

Хотя я привык к стилю подобных пышных и витиеватых приветствий и речей, эта телеграмма показалась мне особенно противоестественной. Все эти фразы типа «имя Ваше сопричтется», «оживит источник для духовных преемников» и особенно то, что «геройское самопожертвование» Деникина «послужит залогом воскресения» России — отдавало помпезной театральностью, далекой от реалий действительности. Как бы благодаря и утешая Деникина, авторы послания стремились затупевать факт разгрома Белого движения и наподобие страусу спрятать голову в песок, не желая замечать очевидных вещей.

Надо сказать, что под этой телеграммой стояли подписи князя Георгия Евгеньевича Львова, бывшего в марте — июле 1917 года главой Временного правительства; Сергея Дмитриевича Сазонова, бывшего министра иностранных дел России, а затем занимавшего такую же должность в правительствах Колчака и Деникина; Василия Александровича Маклакова — одного из лидеров каде-

тов, ставшего позднее послом во Франции. Более всего Деникина удивило то, что под телеграммой подписался и Борис Викторович Савинков. Удивление это было, разумеется, не случайным.

Деникин не мог простить Савинкову, что тот сыграл двойственную, если не сказать зловещую роль в деле Корнилова. Савинков все сделал для того, чтобы сблизить Керенского с Корниловым, но смотрел на генерала лишь как на таран, способный смести Советы и обеспечить ему, Савинкову, главенствующую роль. Великий мастер интриги, Савинков, ненавидя Керенского, убеждал Корнилова в том, что он должен идти с главой Временного правительства в одной упряжке. Савинков постоянно науськивал Корнилова на Деникина, возмущаясь тем, что Деникин, будучи главнокомандующим Юго-Западным фронтом, постоянно вступал в конфликты с комитетами и комиссарами.

— Не приведи, Господи, чтобы во главе фронтов стояли такие генералы, как этот Деникин! — то и дело с пафосом восклицал Савинков.

Савинков неоднократно подчеркивал свое расположение к Корнилову, выдавая себя едва ли не за друга генерала и в то же время после выступления Корнилова объявил его мятежником и врагом Временного правительства.

После этого для Антона Ивановича Деникина Савинков попросту перестал существовать. Он вычеркнул его из своей памяти.

И вот — подпись под телеграммой. Это было уже верхом двурушничества!

На вокзале мы задержались недолго. Вскоре на машинах вся процессия направилась в отель «Кадоган», который своим комфортом произвел на нас самое благоприятное впечатление.

...Пробудившись утром и выйдя в коридор, я понял, что Антон Иванович уже давно не спит. Я увидел его сидящим в маленьком холле, примыкавшем к гостиничному номеру. Вид его был мрачен, и, казалось, он совершенно не был расположен к какому бы то ни было разговору. Однако, заметив меня, он слегка оживился.

— Доброе утро, Дима, — негромко ответил он на мое приветствие. — Как вам спалось в новой стране?

— Честно говоря, отвратительно, — признался я. —
Всю ночь снились какие-то кошмары.

— Представьте себе, мне тоже, — слегка улыбнулся он. — Как только подумаю, что я на чужбине, так не то что спать — волком выть хочется.

— Наверное, от судьбы не уйдешь, — произнес я банальную фразу, наперед зная, что она ничуть не утешит Деникина.

Деникин опустил голову и еще глубже устроился в кресле.

В этот момент горничная, любезно поздоровавшись с нами, вручила Деникину утренние газеты. Тот без особой охоты развернул «Таймс» и, наскоро пробежав первую полосу, вдруг проявил явный интерес к одной из публикаций. Затем он протянул газету мне.

— Вот, полюбуйтесь, Дима, — с горькой усмешкой произнес Деникин. — Тут, видимо, что-то обо мне. Без словаря трудно понять.

Я, хотя и не дословно, перевел заинтересовавшую его заметку.

«Приезд в Англию генерала Деникина, доблестного, хотя и несчастливого командующего вооруженными силами, которые до конца поддерживали на Юге России союзническое дело, не должен пройти незамеченным для тех, кто признает и ценит его заслуги, а также то, что он старался осуществить на пользу своей родины и организованной свободы.

Без страха и упрёка, с рыцарским духом, правдивый и прямой, генерал Деникин — одна из самых благородных фигур, выдвинутых войною. Он ныне ищет убежища среди нас и просит лишь, чтобы ему дали право отдохнуть от трудов в спокойной домашней обстановке Англии...»

Деникин выслушал мой перевод и долго молчал, как бы осмысливая суть публикации. Потом сказал:

— Единственное, с чем я согласен, так это с тем, что я — несчастливый командующий, и с тем, что мне действительно хочется отдохнуть, точнее, забыть весь тот кошмар... Впрочем, разве это можно забыть? Это уже — до самой могилы...

— Антон Иванович, вас должно радовать то, как оценен ваш доблестный ратный труд, — поспешил подбод-

рить его я. — А как точно они поняли суть вашего характера, подчеркнув благородный рыцарский дух, честность и прямоту!

Деникин словно опустил эти мои слова мимо ушей.

— А сущность нашей борьбы извратили! — вдруг запальчиво воскликнул он. — Якобы мы боролись лишь за то, чтобы поддержать на Юге России союзническое дело! Мы боролись за Россию, а не за «союзническое дело»!

— Стоит ли упрекать их? — мягко возразил я. — Им ведь хочется отметить и свои заслуги.

— Да, бог с ними, — наконец успокоился Деникин. — Никуда не уйдешь от печального факта: мы зависели от них на войне, зависим и теперь, пожалуй, еще в большей степени. — Он помолчал и вдруг, страдальчески взглянув на меня, добавил: — Нет ничего горше, чем быть в положении зависимого и униженного... — Он снова помолчал и продолжил уже спокойнее: — Однако мы должны быть благодарны... Гостю не приличествует задираться перед хозяевами. Прошу вас, Дима, подготовьте телеграмму на имя короля Великобритании с благодарностью за оказанное гостеприимство.

— Завтра вам предстоит нанести визит в военное министерство, с вами желает беседовать сэр Уинстон Черчилль, — напомнил я.

— Распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели в порядок мою военную форму, — попросил Антон Иванович. — И если возможно, дайте мне хотя бы краткий справочный материал о Черчилле.

Днем в отель пожаловал Саблин. Он развернул перед Деникиным крупномасштабную карту Англии и стал называть населенные пункты, кратко характеризуя их и советуя Деникину выбрать тот или иной, чтобы поселиться. Антон Иванович сразу отверг те места, которые были примерно в часе езды от Лондона:

— Нет, нет, это не годится! Это близко от столицы, лучше забраться куда-нибудь подальше!

Ему хотелось уединения, где можно было скрыться от репортеров, от визитов официальных лиц, забыть все пережитое...

«Тщетные надежды!» — подумал я, имея в виду не только Антона Ивановича, но и самого себя.

У Антона Ивановича Деникина не было особого желания встречаться с Черчиллем. Да и, собственно, какой результат могла принести эта встреча? Разумеется, можно было обвинить Черчилля, а следовательно, английское правительство в том, что помощь Великобритани Белому движению была далеко несоразмерна той, которую могла бы оказать сильная держава, «владычица морей». Но Деникин считал, что такие обвинения были бы теперь не только некорректны, но и просто бессмысленны. Чего руками махать, когда игра уже сделана! И Деникин, отправившись на встречу с Черчиллем, рассматривал ее как протокольную — дань вежливости. Генерал хорошо понимал, что одной из причин недостаточной активности англичан в оказании помощи белым армиям было то, что они не поддерживали лозунга «Единой России», которая, окрепнув, могла вновь превратиться в грозную силу. А не прокатится ли она, подобно леднику, по направлению к Персии, Афганистану, Индии? Куда выгоднее для Англии иметь дело с разделенной на части, маломощной страной. Но разве выскажешь все это Черчиллю сейчас, тем более что ты уже не один из руководителей Белого движения, а генерал без армии, обыкновенный изгнанник?

Черчилль принял Деникина в своем загородном особняке, ограничив число присутствующих при этом визите и тем самым стремясь показать, что визит носит не официальный, а сугубо частный характер.

Деникин не без любопытства разглядывал Черчилля. В сущности, они были почти ровесниками, разница составляла всего лишь два года, теперь, в двадцатом, Деникину было сорок восемь лет, Черчиллю — сорок шесть. Но он был грузен, сутуловат, мощная голова утопала в плечах, и потому казался старше, чем его русский гость.

Черчилль тоже всматривался в Деникина назойливым, бычьим взглядом, будто стремился разгадать все его самые потаенные мысли. Его удивило, что, в сущности, совсем еще не старый Деникин был совершенно лыс,

а клинообразная бородка была наполовину седая, хотя усы остались настолько черными, что казались крашевыми. Черчилль отметил мысленно, что облик Деникина мало соответствовал традиционному облику офицера, военного человека, скорее он походил на священника приходской церкви.

...После взаимных приветствий Черчилль сказал:

— Мы отдаем должное, генерал, вашей героической борьбе за свободу России. Мы неизменно восхищались храбростью русского воинства. К сожалению, нынешний этап вооруженной борьбы против большевизма завершился поражением, но мы продолжаем верить, что в перспективе Россия будет освобождена. Мы возлагаем большие надежды на генерала Врангеля.

Деникин посчитал излишним скорбеть по поводу разгрома своих армий. Ему очень хотелось сказать Черчиллю, что военная помощь союзников была несоизмерима с решением тех сложных задач, которые стояли перед вооруженными силами Юга России, но он решил, что это будет выглядеть некорректно. И потому ответил коротко:

— Барон Врангель, как мой преемник, делает все от него зависящее. Но естественно он нуждается во всемерной помощи.

Проницательный Черчилль эту фразу воспринял как упрек в свой адрес и поспешил заметить:

— Я понимаю, что вы были вправе ожидать от нас более энергичной и более эффективной поддержки, но следует иметь в виду, что наши ресурсы в значительной степени были истощены великой войной и конечно же не безграничны. Тем более что эти ресурсы служили для выполнения наших обязательств не только в Южной, но и в Северной России и в Сибири. — Он пожевал толстыми губами. — В сущности, на пространстве всего земного шара.

— Не все конечно же зависело только лично от вас, — мягко заметил Деникин. — Я все отлично понимаю, господин министр.

И в этом случае Черчилль догадывался, что стоит за этими словами генерала. Ему вспомнились слова старой лисы премьер-министра Ллойда Джорджа, которые он тягуче про-

изнес в ответ на требование своего военного министра помочь Деникину не только вооружением, но и людьми.

— Я не могу решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света. В стране, где проникавшие внутрь ее чужеземные армии всегда терпели страшные неудачи...

— Создается впечатление, что вы жалеете и о той помощи России, которую уже оказали, — ядовито заметил Черчилль.

— Ошибаетесь, Уинстон. Я вовсе не жалею об оказанной нами помощи, но, согласитесь, мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне. Вы все верите, что большевизм может быть побежден оружием?

— Несомненно. Только военная сила способна уничтожить это чудовищное порождение зла!

— Я придерживаюсь иного мнения, — изрек Ллойд Джордж. — Нам нужно проявить мудрость и прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России.

— Систему управления! — хмыкнул Черчилль. — Но эта система способна проглотить всю Европу. Вы уверены, что большевизм не сможет перекинуться на британские острова?

Ллойд Джордж развел руками...

Между тем Черчилль переменял тему, боясь, что вынудит Деникина перейти к упрекам в адрес англичан.

— Скажите, генерал, почему вы не решились объявить в России монархию?

— Постараюсь объяснить, господин министр. Дело в том, что я боролся за Россию, а не за формы правления.

— Но эти понятия, в сущности, неразделимы, — возразил Черчилль.

— Кроме того, — Деникин стоял на своем, — когда я советовался по этому вопросу со своими ближайшими сподвижниками, в частности с Драгомировым-младшим и Лукомским, а они по своим убеждениям были, несомненно, людьми правыми и твердыми монархистами, они в один голос отвечали: нет! Это раскололо бы Белое движение и вызвало бы падение фронта на много раньше.

— И все-таки только монарх смог бы объединить все разноликие силы. — Черчилль тоже был непреклонен. — Впрочем, теперь уже поздно спорить. Давайте лучше обратимся к делам насущным. Мы намерены сделать все возможное, чтобы ваше пребывание в Англии было обеспеченным. Мы конечно же понимаем, что вы стеснены в средствах.

Другой человек на месте Деникина, несомненно, поддержал бы эту тему, сказав, что «стеснение в средствах» — слишком мягкое определение того, в каком бедственном состоянии находится сейчас его семья. Еще в гостинице Деникин на сон грядущий прикинул, сколько всего осталось денег. Когда он пересчитал царские рубли, керенки, австрийские кроны, турецкие лиры, то понял, что сможет обменять их на сумму около тридцати фунтов стерлингов. Еще каким-то чудом сохранилась коробочка с десятикопеечными монетами чеканки 1916 года — сорок девять рублей. Правда, надежда была на Ксению Васильевну, которая привезла с собой столовое серебро. Деникин подумал, что всего этого хватит на три, максимум на четыре месяца, да и то если поселиться не в столице, а где-нибудь в глуши. Милюков, кстати, уже намекал, чтобы Антон Иванович попросил из прежних государственных российских денег, находившихся в заграничных банках, некоторую сумму, чтобы обеспечить семье сносную жизнь на чужбине. Деникин тогда решительно отказался:

— О чем вы говорите? Я никогда не пойду на это. Вы лучше меня знаете, что эти деньги казенные. Как же я, будучи частным лицом, могу воспользоваться ими? Об этом не может быть и речи!

...Сейчас Деникин сказал Черчиллю:

— Господин министр, не извольте беспокоиться. Надеюсь, что я и моя семья как-нибудь проживут.

Черчилль улыбнулся, вынув изо рта сигару:

— Ценю вашу скромность. И тем не менее жизнь так устроена, что без денег не прожить. Пусть вас это не смущает, я готов обратиться к знакомым мне членам парламента, они смогут найти необходимые средства...

Деникин прервал его, хотя понимал, что поступает не тактично:

— Прошу вас, господин министр, не создавать себе лишних хлопот. Я признателен вам за такой поистине рыцарский шаг, но, простите меня, я не могу принять этот дар из чисто нравственных побуждений.

— И тем не менее, генерал, вы можете всегда рассчитывать на нашу поддержку. А сейчас я приглашаю вас с супругой на завтрак.

За завтраком Черчилль поинтересовался ближайшими планами Деникина, сказав, что, по его мнению, генералу не следует уходить из политики, тем более что его опыт публициста может быть полезен в идеологической борьбе с большевиками. Но Деникин и тут остался верен себе:

— Боюсь, что вы с осуждением отнесетесь к моей позиции, но решение мое бесповоротно: я решил отойти от политической жизни. Единственное, чем я могу помочь своим соотечественникам, так это опытом и анализом нашей борьбы. Может быть, они смогут чему-нибудь поучиться на наших ошибках.

— Очевидно, вам известно, генерал, что история показывает: ошибки истории ничему не учат. К великому сожалению.

— Да, это так, — согласился Деникин. — И все же какие-то надежды остаются...

Заговорили о русской эмиграции в Париже. Черчилля тоже удивило, что приветственную телеграмму Деникину подписал в числе прочих Савинков.

— Этот человек совершенно непредсказуем, — убежденно сказал Черчилль. — Вся его жизнь прошла в конспирации. Вот его портрет: человек без религии; без морали; без дома и страны; без друзей, без страха; охотник и преследуемый; непреклонный, непобедимый, один... Это поистине уникальное явление — террорист с умеренными целями.

— Вы поразительно точно нарисовали портрет Савинкова. — Деникина порадовало, что оценка Черчилля не расходится с его собственной. — Я бы добавил к этому, что Савинков — патентованный авантюрист.

— Мне запомнилась встреча Савинкова с нашим премьером, — произнес Черчилль, дымя сигарой. —

Признаюсь, я сам организовал эту встречу. Ллойд Джордж утверждал, что революции, как болезни, проходят через известные фазы и что худшее в России уже позади. Можно ли говорить такое в тот момент, когда гражданская война в России достигла своего апогея! И знаете, что ответил ему Савинков?

— Любопытно, что же?

— Он сказал: господин премьер, позвольте мне заметить, что после падения Римской империи наступило мрачное средневековье.

— В умении афористично мыслить ему не откажешь, — сказал Деникин. — Но в бой я бы с таким человеком не пошел.

— Я тоже, — поддержал его Черчилль. — Думаю, он не заслуживает слишком пристального внимания. Такие люди подобны звездам, которые сгорают и падают. — Он помолчал, выпил свой коньяк, настраиваясь на другую тему. — Мне хотелось сказать вам, генерал, что мы были полны величайшего оптимизма в те дни прошлого года, когда руководимые вами войска уже были в непосредственной близости от Москвы. — Черчиллю захотелось подбодрить Деникина, напомнив ему о былых успехах. — Вы блестяще организовали это историческое наступление.

— Спасибо за добрые слова, господин министр. — Деникина это напоминание, напротив, расстроило. — И все же я думаю, что наступление лишь в том случае может иметь историческое значение, если оно приводит к победе. — Голос его задрожал.

— И тем не менее...

— Всевышний отвернулся от нас, — не дал ему договорить Деникин: он терпеть не мог, когда его жалели. — Господь всегда отворачивается от тех, у кого слишком много грехов.

«Если бы дело было только в грехах!» — подумал Черчилль, но вслух этих слов не произнес.

Провожая Деникина и сознавая, что это была их первая и последняя встреча, Черчилль испытывал чувство облегчения: дань вежливости и этикету отдана, все приличия соблюдены, помощь предложена, и не его вина, что этот странный эмигрант от нее отказался.

«Такой человек вряд ли мог победить, — скептически подумал Черчилль. — Слишком много в его характере скромности, бескорыстия и слишком уж он прямолинеен. Обладай этими качествами Мальборо, Александр Македонский или Наполеон — о своих победах им пришлось бы забыть! Полководец должен быть в высшей степени честолюбив, изворотлив как уж, хитер как лис, нагл и напорист! И никогда не должен забывать о своих личных интересах, которые завистники предпочитают именовать корыстолюбием. В противном случае его удел — поражения, поражения и поражения!»

Пожимая руку Деникину, Черчилль с неприязнью ощутил слишком мягкую, податливую ладонь. И тут ему неожиданно вспомнился футбольный матч, на котором он был еще в пору своей молодости. Известный форвард, на которого Уинстон возлагал большие надежды и даже держал пари с приятелем, уверяя, что футболист забьет не менее трех мячей, к его величайшему разочарованию, в этом матче все время бил мимо ворот. Вспомнив об этом, Черчилль подумал: «Как похож этот русский генерал на того незадачливого форварда!»

Хорошо, что Деникин не мог знать, о чем думал, прощаясь с ним, военный министр Великобритании!

В Истборне Деникина беспрестанно дожимал Миллюков:

— Антон Иванович, признайтесь как на духу: что вы передали Врангелю? Вся ли верховную власть или только военную?

— Разумеется, военную, — раздраженно ответил Деникин. — А уж в его власти взять и всю верховную, тут ничего не попишешь.

— Но это ужасно! — Миллюков пребывал в сильнейшем возбуждении. — Но, обладая всей верховной властью, он, может статься, заключит мир с большевиками! И нам придется признавать врангелевское правительство!

— Ради бога, оставьте меня в покое, Павел Николаевич! — Деникина бесила эта дотошность. — Как вы не можете понять, что я больше не желаю, совершенно не желаю заниматься политикой.

— Как?! — ужаснулся Миллюков. — Ведь вы, Антон Иванович, символ и знамя нашей борьбы!

— Не мешайте Врангелю, может, ему и удастся что-нибудь сделать, — устало произнес Деникин. — И не старайтесь создать из меня символ. Я свое дело сделал как мог и теперь хочу уйти от политики. Я верховной власти от Колчака не принимал, и сейчас я обыкновенный эмигрант, не более того.

Вконец разочарованный Миллюков покинул дом, в котором жил Деникин, выразив надежду, что генерал еще переменит свои взгляды.

— Сейчас вы раздавлены горечью поражения, измотаны трагическими сражениями, вас приводит в отчаяние эмигрантская судьба. Но все уляжется, войдет в свое русло, и тогда, я надеюсь, вы займете активную позицию, вновь станете непримиримым борцом, — сказал на прощание Миллюков.

Деникин ничего не ответил: его раздражало все — и стремление поднять его боевой дух, и различные проявления сочувствия...

Жизнь в Англии оказалась трудной: цены здесь были значительно выше, чем в других странах Западной Европы. Возможно, Деникины, несмотря на это обстоятельство, прожили бы здесь и дольше, если бы не одно, сильно задевшее самолюбие Деникина, событие.

В августе газета «Таймс» опубликовала ноту лорда Джорджа Керзона, министра иностранных дел Великобритании, в свое время бывшего вице-королем Индии. Телеграмма была адресована наркому иностранных дел Советской России Георгию Васильевичу Чечерину. В ноте содержалось требование прекратить гражданскую войну. Следующие строки до глубины души возмутили Деникина:

«Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что, если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всем его соратникам, а также населению Крыма. Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю».

Как считал Деникин, в этом заявлении правдой было лишь то, что действительно в Новороссийске перед самой эвакуацией белых в Крым к нему явился один из членов британской военной миссии генерал Бридж и предложил посредничество для заключения перемирия с Красной Армией. Возмущенный Деникин ответил коротко, но выразительно:

— Никогда!

Теперь же Керзон все перевернул с ног на голову. И Деникину ничего не оставалось, как направить в «Таймс» свое опровержение:

«Я глубоко возмущен этим заявлением и утверждаю: 1) что никакого влияния лорд Керзон оказать на меня не мог, так как я с ним ни в каких отношениях не находился; 2) что предложение (британского военного представителя о перемирии) я категорически отверг и, хотя с потерей материальной части, перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы; 3) что нота английского правительства о начале мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию Вооруженными Силами Юга России генералу Врангелю, отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати; 4) что мой уход с поста Главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой лорда Керзона не имел.

Как раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины».

Чашу терпения Деникина переполнило и то, что, как было видно невооруженным глазом, британские власти вели дело к признанию Советов. В Лондон прибыл советский представитель Красин, и Ллойд Джордж вел с ним переговоры о подписании англо-советского торгового договора.

Деникин возненавидел Англию и велел Ксении Васильевне собирать чемоданы. Он хотел демонстративно проявить свою неприязнь к внешней политике британского правительства в отношении Советской России.

Было решено перебраться в Бельгию. Здесь семья Деникиных: жена, дочка, нянька и дед Ксении Васильевны — поселилась в пригороде Брюсселя, в небольшом домике с примыкавшим к нему чудесным садом. Антон Иванович радовался: он давно мечтал об уединении, о близости к природе, о первозданной тишине.

— Хватит мне бездельничать, — однажды вечером, перед сном, объявил он Ксении Васильевне. — С завтрашнего дня берусь за книгу «Очерки русской смуты».

— И правильно, — горячо поддержала его жена. — Тебе есть о чем рассказать нашим современникам и потомкам. Только нужен строгий режим. Уж мне-то не знать: как засядешь за письменный стол, так тебя от него и силой не оторвать. Тебе обязательно нужен ежедневный моцион, тогда и работа пойдет успешнее, и здоровье не подорвешь. Скоро твой полувекковой юбилей. И каждый год накладывает отпечаток, с этим надо считаться.

— Не беспокойся, Ксюша, я человек военный и знаю, что такое распорядок дня. Пименом не стану. Вот увидишь, еще и тебе по дому буду помогать.

Антон Иванович слов на ветер не бросал: в семь утра он уже был на ногах, открывал ставни, приносил уголь и растапливал печь и плиту. Всем домохозядам определил обязанности: сам подметал полы, Ксения Васильевна отвечала за уборку, приготовление еды. Няня возилась с малышкой Мариной. Даже деду было вменено в обязанность следить за тем, чтобы в комнатах, на мебели не накапливалась пыль.

Работа над «Очерками» пошла быстро. Антон Иванович ожил, на лице все чаще появлялась улыбка. Что и говорить, творческий труд приносил ему большое удовлетворение.

— Вот и сменил я штук на перо, — иронизировал он над собой. — Из генерала превратился в летописца.

Но вскоре покой Деникина был нарушен. Оказывается, бельгийские власти пристально следили за «странным генералом». Деникина вызвали в Брюссель, где должностные лица потребовали, чтобы генерал дал подписку о том, что на территории Бельгии он не будет заниматься активной политикой. Деникин был разъярен, но бумагу пришлось подписать.

Несколько дней он был мрачен, работа валилась из рук. И принял решение написать письмо министру юстиции Бельгии Эмилю Вандервельде, тому самому Вандервельде, который в апреле 1917 года приезжал к Деникину в Могилев, в Ставку, на переговоры.

В письме Деникин откровенно напомнил об этом министру:

«Мне невольно приходит на память эпизод из прошлого, как в 1917 году в качестве начальника штаба Верховного главнокомандующего российскими армиями я принимал у себя в Ставке бельгийского министра Вандервельде. Он был несчастлив тогда, человек без родины, представитель правительства без страны, в сущности такой же политический эмигрант, как теперь многие русские. Ведь Бельгия тогда была растоптана врагами так же, как сейчас Россия. Но мы сделали все возможное, чтобы не дать почувствовать господину Вандервельде ни в малейшей степени тягости его положения. Ибо мы разделяли искренне горе Вашей страны и ее героической армии.

Я не ожидал и не искал внимания. Но был уверен, что русский генерал будет огражден в Бельгии от унижения. Я имею в виду не только свою роль как Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России — вокруг этого вопроса сплелось слишком много клеветы и непонимания... Но я говорю о себе как о бывшем начальнике штаба, Верховном главнокомандующем русскими фронтами в мировую войну, наконец, как о генерале союзной вам армии, полки которого в первые два года войны вывели из стран австро-германцев много десятков тысяч воинов.

Все это я считаю необходимым высказать Вам в надежде, что, быть может, к другим деятелям, которых судьба забросит в Бельгию, правительственная власть отнесется несколько иначе».

Ответное письмо Вандервельде не заставило себя ждать. Он извинился перед Деникиным, однако ссылаясь на действующие в Бельгии законы, которые он, как министр юстиции, не вправе игнорировать. Вандервельде просил Деникина поверить в то, что у него и в мыслях не было обидеть заслуженного русского генерала, имя которого останется на страницах истории.

Деникин никогда не переносил унижения своего достоинства и не прощал обид. К тому же оказалось, что жизнь в Бельгии еще более дорогая, чем в Англии. Пришлось снова собирать чемоданы. На этот раз в качестве пристанища была выбрана Венгрия. При обсуждении маршрута переезда Деникин воспротивился тому, чтобы ехать через Германию.

— Я лучше поеду вокруг света, чем ступлю на землю, которая принесла столько горя и бедствий России, — твердо произнес он.

Поэтому пришлось добираться до Венгрии кружным путем — через Париж, Женеву и Вену.

Деникину пришлось по душе венгерский городок Шопрон, где они поселились в маленькой, но уютной загородной гостинице. Ксения Васильевна свои впечатления доверила дневнику:

«Жизнь здесь действительно гораздо дешевле... да и город симпатичнее. Пока живем в пансионате за городом, в лесу. Воздух и окрестности чудесные, давно мы не делали таких чудных прогулок... Городок переполнен беженцами из отобранных у Венгрии областей».

Через некоторое время дневник Ксении Васильевны пополнился новыми впечатлениями:

«Нравится мне Венгрия, то есть, правильнее сказать, Шопрон, ибо больше я еще ничего от Венгрии не видела. Такой обильный край. Столько «плодов земных» я давно не видела. Кругом нас горы, лес. Мы гуляем далеко. Заберемся куда-нибудь на поляну, откуда хороший вид на поля, деревни, лежащий внизу город и на далекое большое озеро. Воздух — не надыхнешься!.. И бывают минуты, что в мою душу нисходит мир, такой полный, как не бывал со времени до войны... Много здесь народу, говорящего по-русски. Бывшие военнопленные, или, как Антон Иванович их называет, «мои крестники». Говорят по-русски чисто, почти без акцента».

В этих краях Деникину хорошо работалось, он отдыхал душой и телом. И все же ему, видимо, была уготована судьба скитальца. Даже здесь, в Венгрии, он не смог жить на одном месте. Из Шопрона семья его переехала в Будапешт, а затем на озеро Балатон.

В Будапеште к Деникину частенько наведывался

князь Волконский, русский дипломатический представитель. Его радовало то, что Деникин держит себя вдали от всяческих дрызг с достоинством и простотой. Князь пытался уговорить Деникина нанести визит диктатору Венгрии адмиралу Миклошу Хорти, но Деникин ловко увернулся от этого:

— Князь, думаю, что вы согласитесь со мной: прошел уже год, как я в Венгрии, и было бы в высшей степени неудобно напрашиваться сейчас на визит. Думаю, как дипломат вы меня поймете.

Деникин словно предчувствовал, что в 1941 году фашист Хорти свергнет свою страну в войну против России на стороне Гитлера.

Антон Иванович уже утвердился в мысли, что навсегда останется в Венгрии, как вдруг в 1925 году получил письмо из Бельгии от генерала Шапрона дю Ларре, мужа дочери генерала Корнилова. И генерал, и его жена Наташа настойчиво приглашали Деникина вернуться в Брюссель. Охота к перемене мест дала себя знать: вскоре они вернулись в хорошо знакомый им город. Но опять ненадолго: через некоторое время Деникины оказались во Франции.

4

Из записок поручика Бекасова

До сих пор не могу взять в толк: какая сила повлекла Антона Ивановича Деникина во Францию. Не могу по одной лишь причине: я хорошо знал, что он всячески отвергал все предложения поселиться в Париже. И я его понимал. Париж стал центром русской эмиграции, ее своеобразной Меккой.

После того как Белое движение потерпело крах, из России эмигрировало более одного миллиона человек. Да что там говорить! Только в один день, а именно 16 ноября 1920 года из крымских портов вышло 126 судов, увозящих к чужим берегам едва ли не 150 тысяч человек, из которых около 40 тысяч были последними бойцами белых армий.

Тот, кто интересуется историей, знает, что, оказав-

шись за границей, барон Врангель образовал Русский общевойсковой союз (РОВС) с отделами в странах, куда попали бывшие добровольцы. Врангель сам себя объявил председателем этого союза и заявил, что входит в подчинение великому князю Николаю Николаевичу, бывшему главнокомандующему российскими императорскими армиями. Надо сказать, что великий князь имел большой авторитет в правых кругах эмиграции, к нему тянулись, его уважали. Эмиграция жила надеждой на объединение и рассматривала великого князя как знамя, вокруг которого сплотятся все «национально мыслящие силы», мечтающие о реванше.

Деникину претили подобные стремления. В борьбе с большевиками он начисто отвергал такой метод, как военная интервенция извне, лелея надежду на то, что взрыв против Советов произойдет изнутри. Поэтому он не поддерживал участие русских эмигрантов в военных авантюрах, направленных против Советской России. Не случайно, когда к власти в Германии пришел Гитлер, и в эмигрантских кругах появилась идея о том, что следует перейти на его сторону и с его помощью свергнуть власть большевиков, Деникин заявил:

«Не цепляйтесь за призыв интервенции, не верьте в крестовый поход против большевиков, ибо одновременно с подавлением коммунизма в Германии стоит вопрос не о подавлении большевизма, а о «восточной программе» Гитлера, который только и мечтает о захвате Юга России для немецкой колонизации. Я признаю злейшими врагами России державы, помышляющие о ее разделе. Считаю всякое иноземное нашествие с захватными целями — бедствием. И отпор врагу со стороны народа русского, Красной Армии и эмиграции — их повелительным долгом».

Первый год жизни в Париже был ознаменован для меня весьма неприятными событиями. Забегая вперед, скажу, что эти события едва не привели к тому, что Деникин стал крайне холодно относиться ко мне, более того, наши пути могли разойтись навсегда.

Как ни старался Антон Иванович сторониться своих бывших соратников, эмигранты буквально осаждали его. Были и такие, кто назойливо внушал генералу

мысль о том, что Париж наводнен агентами НКВД. В этом я тоже не сомневался, видимо, так оно и было.

Антон Иванович к этим слухам относился спокойно, как к некоей неизбежности. И все было бы хорошо, если бы не пришел к нему однажды дотоле неизвестный мне полковник Северский. Он был невысок, строен, подвижен. Взглянув на него, я сразу заметил, что он придает слишком преувеличенное значение своей личности. Мне по душе были люди, которые ценят свое достоинство, к таким людям я относил и себя, но у Северского это качество выглядело слишком гипертрофированно. Он сразу заявил Деникину, что желает беседовать с ним только наедине. Услышав это, я, не ожидая просьбы Антона Ивановича, покинул кабинет.

Не знаю, о чем этот Северский говорил с генералом, но я интуитивно заподозрил неладное: слишком уж пристально смотрел на меня полковник, прежде чем уединиться с Деникиным.

И я не ошибся: после ухода Северского Деникин, вместо того чтобы пригласить меня к себе и, как обычно, приступить к работе (я помогал ему в подборе архивных материалов), глядя в сторону, холодно сказал, что чувствует себя неважно и потому придется работу на сегодня отложить. И добавил, что даст мне знать, когда я ему понадоблюсь.

Я откланялся, сказав, что готов прибыть по первому зову.

На следующий день приглашения не поступило. И на второй и на третий. И лишь где-то через неделю Антон Иванович позвонил и сказал, что хочет меня видеть. Я незамедлительно отправился к нему.

Надо сказать, что Деникины жили в пятнадцатом округе Парижа, в многоэтажном доме, который находился рядом с госпиталем Бусико. Совсем неподалеку катала свои воды Сена. Я жил в крохотной комнатке в мансарде на Монпарнасе. Когда я проходил мимо замшелых кирпичных стен старинного здания госпиталя, мне на встречу попался полковник Северский. Он шел уверенной, размашистой походкой, будто участвовал в строевом смотре, резко размахивая правой рукой с видом хозяина города или уж, во всяком случае, человека, чрез-

вычайно уверенного в себе. Признаюсь, мне крайне неприятно было встретиться с ним. Я был обрадован, когда Северский то ли сделал вид, что не заметил меня, то ли в самом деле, занятый своими мыслями, не обратил на меня ни малейшего внимания.

Я сразу же предположил, что Северский вновь был у Деникина.

Антон Иванович принял меня, стараясь показать, что в наших отношениях ничего не изменилось, но меня было трудно ввести в заблуждение: едва приметный холодок застыл в его обычно приветливых глазах. Я понял, что что-то беспокоит его, хотя он и не решается сказать мне об этом.

Как обычно, Антон Иванович пригласил меня в свою отдельную маленькую комнатку, которую не без гордости именовал кабинетом, и мы принялись за архивные материалы. Незадолго до этой встречи я привел их в порядок, систематизировал, сделал закладки на особо важных, на мой взгляд, страницах и передал Деникину. С подчеркнутым вниманием он вчитался в них во взаимном молчании, прошло не менее часа. Затем Деникин устало откинулся к спинке кресла и, пристально взглянув на меня, сказал:

— А знаете, Дмитрий Викентьевич... — При этих словах я насторожился: впервые Деникин величал меня по имени-отчеству, я уже давно, с первой встречи с Антоном Ивановичем, привык, что он обращался ко мне по имени. «Дима» было мне куда приятнее, в этом тоже проявлялось его полное доверие. — Знаете, я вас попрошу подобрать мне материалы и для будущей книги. Я решил назвать ее «Путь русского офицера».

— Прекрасный замысел! — искренне откликнулся я. — Полагаю, что этот труд будет, главным образом, автобиографическим.

— В какой-то мере да, — почему-то смутился Антон Иванович. — Хотя у меня нет желания запечатлеть только свою персону. Скорее это будет путь России на определенном отрезке ее истории, но главные события исторической драмы я постараюсь пропустить через свою судьбу.

— Готов, как и прежде, оказать вам ту помощь, на которую способен!

Кажется, мои слова приплыли ему по душе. Он долго молчал, а потом внезапно заговорил:

— Ко мне опять приходил этот странный Северский. — Сейчас он старался не смотреть мне в глаза. — Весьма назойливый субъект.

Я был такого же мнения о Северском, но высказать его Антону Ивановичу посчитал неуместным: чего доброго, подумает, что я хочу настроить его против полковника.

— Впрочем, — продолжал Деникин, — возможно, моя оценка слишком субъективна и вытекает из моего плохого настроения.

— Вы что-либо знаете о нем? — без особой заинтересованности спросил я. — Трудно судить о человеке, которого плохо знаешь.

— Полковник Северский служил под началом барона Врангеля... — начал Деникин, и я подумал, что этого вполне достаточно, чтобы он стал настороженно относиться к неведомо откуда возникшему полковнику. — После эвакуации находился в военном лагере Галлиполи, в Турции, затем с дроздовцами перебрался в Болгарию. Теперь обосновался здесь, в Париже.

— И это все?

— Пожалуй, да. Знаете ли, мне неудобно было его спрашивать. Это было бы в высшей степени некорректно.

— Я понимаю вас.

— Но эта назойливость... — задумчиво протянул Деникин. — Это меня раздражает. И еще одно: каждый раз он приходит с подарками. Приносит дорогое вино, черную икру. Я решительно отказываюсь принимать, но это ровным счетом не влияет на него: он добивается своего не мытьем, так катаньем, не приму я — непременно уговорит Ксению Васильевну.

— Для таких подарков нужно располагать немалыми деньгами, — заметил я.

— В том-то и дело! — стремительно подхватил Деникин. — И представьте себе, заверяет, что получил наследство, какое — не рассказывает. А на днях я случайно узнал, что Северский прирабатывает таксистом...

— Весьма странно.

— Более чем странно, — подхватил Деникин. — И какой любитель дискуссий! Каждый раз пытается настаивать на своей версии поражения Белого движения. И знаете что заявил мне? Оказывается, я — выдающийся полководец, но очень слабый дипломат. И будто бы это и есть одна из главных причин нашего поражения.

Деникин задумался.

— А вы, Дмитрий Викентьевич, — он снова обратился ко мне по имени и отчеству, — не такого же мнения? Кажется, я с ним готов согласиться. Разумеется, не с термином «выдающийся», это уже слишком. А вот то, что из меня некудышный дипломат — это точно.

— Я решительно не разделяю его оценки, — горячо сказал я. — И потом, очень любопытно, что конкретно он имел в виду, обвиняя вас в слабых дипломатических способностях?

— Кстати, очень доказательная точка зрения. Вот, говорит, вы, генерал Деникин, на протяжении всей гражданской войны не выдвинули лозунга «Фабрики — рабочим, землю — крестьянам», и потому народ отвернулся от вас. А большевики, мол, этим лозунгом всю Россию заворожили, большинство народа к себе привлекли и в результате победили. А будь вы хорошим дипломатом, вы бы на этом лозунге сыграли бы куда лучше большевиков.

— В принципе логично, — нахмурился Деникин. — Только скажу лишь одно: я никогда и ни при каких условиях не давал пустых обещаний. А уж если что обещал — полз на брюхе, но выполнял обещанное. И уж в чем, в чем, но в бесчестии себя упрекнуть не могу.

— Да, я могу подтвердить это! — произнес я со всей возможной искренностью.

Деникин посмотрел на меня странным взглядом: в этом взгляде сочетались благодарность за мои слова и то же время едва уловимое недоверие.

— Да, большевики много чего наобещали, — продолжал он. — Да что толку? У кого сейчас фабрики и заводы в Советском Союзе, у кого земля? Там же у них — самый обыкновенный государственный капитализм. Фабриками управляют уполномоченные государства, а ра-

бочие как были наемниками, так и остались. Разве они получили эти заводы и фабрики в свою собственность, как обещали большевики? А крестьяне — получили в личную собственность землю? Куда там! Их загнали в колхозы, а землей фактически обладает государство. Вот вам и цена их обещаний! Это называется обыкновенным обманом. Лишь бы захватить власть, а там — хоть трава не расти!

— Вы правы, Антон Иванович: большевики оказались хорошими дипломатами...

— А вот с этим я категорически не согласен! — горячо возразил Деникин. — Хороший дипломат — это прежде всего честный дипломат! А для них все средства оказались хороши. Цель оправдывает средства — вот их девиз во всех случаях жизни.

— Не ваша вина, что вам недосуг было заниматься дипломатией. Конечно, слабость Белого движения в том, что у него не было широкой, понятной массам и привлекательной, точнее, притягательной для них программы как по рабочему, так и по крестьянскому вопросу.

— Тут я могу повиниться, — согласился Деникин. Внезапно оборвав себя, испытующим взглядом уставился на меня. — А знаете, Дмитрий Викентьевич, что еще мне поведал полковник Северский?

— Что же, если не секрет? — насторожился я.

— Если честно, не хотел вам говорить о его домыслах. — Голос Деникина задрожал. — Но думаю, что между нами не должно быть никаких недомолвок. Так вот... Не помню уже, в связи с чем, но Северский вдруг объявил мне, что у него якобы есть сведения, что вы, Дмитрий Викентьевич, — Деникин все время делал паузы, как бы оттягивая момент, когда ему придется сказать мне нечто неприятное, — что вы... якобы вы, Дмитрий Викентьевич, каким-то образом... в какой-то мере... связаны с ЧК. — Он остановился. — И якобы давно, давно подсланы ко мне, чтобы... чтобы...

Он так и не закончил этой, столь трудной для него, фразы.

И вдруг мне пришла в голову ясная и простая мысль: открыться ему во всем, покаяться и снять со своей души

ту тяжесть, которую я нес все эти годы и которая отравляла мне жизнь.

— Ваше превосходительство! — спокойно обратился я к Деникину, вставая из-за стола, как делают подчиненные при докладе своему начальнику. — Вы с первых минут нашей встречи тогда, в станции Егорлыцкой, назвали меня своим сыном. Клянусь вам своей жизнью, что я всегда оставался вашим верным сыном. — Тут я перевел дух: никогда еще в своей жизни мне не приходилось делать такие страшные признания. — Полковник Северский прав: к вам меня направила ЧК. Более того, направил лично председатель ВЧК Дзержинский и его заместитель Петерс.

Произнося эти слова, я боялся смотреть Антону Ивановичу в лицо, боялся, что с ним сейчас произойдет инфаркт или что-то еще более страшное.

И впрямь, после моих слов Деникин застыл на месте, опустив свою большую лысую голову, будто это не я, а он совершил что-то недостойное человека, не подлежащее никакому оправданию.

— Но я готов дать клятву под присягой, ваше превосходительство, что я не выполнил этого задания. Не выполнил потому, что проникся к вам... проникся...

Помимо моей воли слезы появились у меня на глазах, искал слова, которые могли бы наиболее точно выразить мое истинное отношение к Деникину, и не находил их.

— Не продолжайте, Дима, — вдруг нарушил свое молчание Деникин. — Скажу откровенно: у меня и раньше появлялась мысль о том, что вы не случайно появились... Да и полковник Донцов постоянно намекал мне, что к вам следует присмотреться основательнее, прежде чем доверять что-либо важное, особенно то, что касалось наших оперативных разработок. Но я всегда отгонял от себя эту мысль. Я не мог поверить, что сын полковника Бекасова может оказаться перебежчиком.

Он как-то трогательно посмотрел на меня:

— И не называй меня «вашим превосходительством», очень прошу.

— А я умоляю вас называть меня как прежде — Димой, — сказал я. Мне хотелось в этот момент подойти к

Антону Ивановичу, обнять по-сыновнему, убедить старика, что я буду предан ему до конца.

— Я верю тебе, Дима, — Деникин сам подошел ко мне и обхватил за плечи так же крепко, как тогда, в Егорлыцкой. — Я вижу твою преданность во всех делах. Это куда дороже слов.

— Да, Антон Иванович, посудите сами. Если бы я работал на красных, разве стремился бы уехать вместе с вами? Пока я жив, я не покину вас. И по-прежнему буду вашим верным помощником.

— Спасибо, Дима. А что касается Северского, я предпочел бы при его появлении держать двери закрытыми.

— Вряд ли стоит делать это, — сказал я. — Вы же знаете, что вас и так в белоэмигрантской среде упрекают в том, что вы покинули своих добровольцев, отгородились от них.

— Какая глупая ложь! Я не покинул своих добровольцев и тем более не предал их. Я отгородился только от тех мнимых лидеров, которые внушают добровольцам ложные идеи и толкают их на достижение ложных целей. Они ратуют за военную интервенцию против Советской России, я же всегда был против иноземного вмешательства. Я убежден в том, что русский народ, испытав на себе «преlestи» тоталитаризма, в конце концов сам освободится от большевиков...

Ночь после этого я провел почти без сна. Да и как могло быть иначе? Ведь Деникин мог и не поверить моим клятвам и заверениям, тем более что в наше время цена этих клятв часто была крайне низкой, если не сказать нулевой. Беспокоило меня и другое.

Чем, например, можно было объяснить то, что Деникин не стал расспрашивать меня, как и почему я был завербован ЧК, передавал ли я какие-либо сведения красным. Меня крайне удивило, что Антон Иванович даже не особенно насторожился, когда услышал об этом. Я мог лишь предположить, что, расскажи я ему все тогда, в Егорлыцкой, вряд ли смог бы рассчитывать на его доверительное отношение. И насколько искренен он был сейчас, когда снова, как мне показалось, стал относиться ко мне с прежним доверием?

Одним из объяснений столь странного поведения Деникина было то, что, возможно, в нынешнем его положении, в положении эмигранта, генерала без войска, он не очень-то придавал значение тому, приставлен ли к нему агент ЧК или по-нынешнему ОГПУ. Какой интерес к его особе могло сейчас проявлять это грозное учреждение и что значительное мог бы передавать я, если бы и был его агентом? Разве что такие мало кого интересующие данные, как режим дня генерала или ход его работы над «Очерками»... Конечно, ОГПУ могли интересоваться связью Деникина с белой эмиграцией, и особенно с Российским общевоинским союзом. На Лубянке не могли не знать, что Антон Иванович всегда сторонился этих связей и никакого участия в деятельности союза не принимал.

Конечно, вряд ли можно было сбрасывать со счетов еще одну версию: Деникин для усыпления моей бдительности лишь сделал вид, что не придает моему признанию серьезного значения, рассматривает факт моей связи с ВЧК как простую случайность или как следствие того, что меня к этой связи принудили под страхом смерти.

Мне оставалось лишь теряться в догадках и судорожно искать выход из создавшегося положения. Я пришел к убеждению, что отныне я должен не просто помогать генералу, но и доказывать мою преданность ему конкретными действиями.

Я перебирал в уме возможные варианты этих действий, но, к своему огорчению, не смог придумать ничего существенного. Но, может быть, решил я, такой случай представится.

К моему величайшему несчастью, со мной не было моей Любы, уж она-то, несомненно, дала бы мне верный совет.

Вот так, ворочаясь с боку на бок, я провел ночь в мучительных размышлениях, то ища выхода из положения, то возвращаясь мыслями к Любе. Проклинал себя за многие ошибки и думал о том, что участь человека, у которого в мыслях нет ничего радостного, которого осаждают лишь горести, печали и стыд, в высшей степени трагична.

Александр Иванович Куприн частенько захаживал к Антону Ивановичу Деникину. Ему плохо работалось, а если и находило творческое вдохновение, то мимолетно, не располагая к деятельному труду. Без России Куприн чувствовал себя глубоко несчастным, брошенным на произвол судьбы и иной раз с грустью сравнивал себя с ветвью дуба, лишенного корней.

У Деникиных ему было уютно: от воспоминаний генерала ощутимо веяло Россией, прекрасной и непутевой Россией, которая взрастила писателя и которую он любил — искренне и самозабвенно, требовательно и придирчиво... К тому же супруга Деникина Ксения Васильевна была радушной хозяйкой, умевшей даже из скудных запасов продуктов накрыть приличный стол, чтобы хоть как-то поддержать Куприна, пребывавшего в еще более горькой нужде.

Несмотря на то что здоровье Куприна было не в лучшем виде, он не отказывал себе в удовольствии пропустить изрядное число «рюмашек», предпочитая французским винам — «этакой отвратительной бурде», как он отзывался о дешевой продукции тамошних виноделов, более серьезные, крепкие напитки.

За столом обыкновенно начинался долгий, порой нелюбезный разговор, переходивший в дискуссию, в которой Деникин защищал свои позиции и убеждения спокойно и взвешенно, стараясь не обидеть собеседника, а тем более не ранить его чувства. Что же касается Куприна, то он бросался в спор очертя голову, порой стремясь нанести удар побольнее и часто противореча самому себе.

Удивительно, но сколько бы раз они ни встречались, любой разговор неизбежно приводил к обсуждению купринского «Поединка». Начинал, как правило, эту тему сам автор, как бы специально стараясь выманить «медведя» Деникина из берлоги и раззадорить его.

— Так вы, Антон Иванович, по-прежнему не отказались от своего огульного охаивания моего «Поединка»? — пожалуй, уже в десятый раз задиристо, по-петушиному наскакивал захмелевший Куприн.

— Александр Иванович, с тех пор как мы знакомы, вы

имели возможность убедиться, что я никогда не меняю своих позиций. — Деникин хотя иной раз и злоупотреблял солдатской прямоотой, в разговоре с Куприным старался придать своим взглядам дипломатическое обрамление.

— То есть, как и прежде, отвергаете главные принципы моей повести? — настаивал Куприн: дипломатических уверток он не переносил. — Хотел бы я послушать ваши, так сказать, аргументики, очень хотел бы, — саркастически продолжал он, забыв, что эти «аргументики» Деникин высказывал ему уже не раз.

— Извольте, Александр Иванович, — начал Деникин. — Вы знаете, как я ценю ваш выдающийся талант — талант истинного русского писателя...

— А вот это уж оставьте! — запальчиво перебил Куприн. — Вы мне этой своей казарменной лестью голову не морочьте! Лучше употребите свои придворные способности при встречах с вашими вышестоящими начальниками! — Куприн начисто позабыл, что Деникин давно уже в отставке. — Речь идет о моем «Поединке», а вовсе не о моем таланте или моей бездарности.

— Хорошо. — Деникина было трудно да и попросту невозможно вывести из себя, тем более что манера поведения Куприна была ему хорошо известна. Искренне преклоняясь перед талантом Александра Ивановича, он прощал ему любые, даже самые обидные выпады в свой адрес. — Могу вновь и вновь повторить: «Поединок» при всей вершинности его художественного исполнения показывает нашу русскую армию в основном лишь в черном цвете. Полк, в котором служит поручик Романов, — некая тюрьма для солдат, прибежище офицеров-садистов, которым все сходит с рук...

— Не приемлю ваших выпадов, отмечаю с порога! — едва не подскочил в своем кресле Куприн. Татарские глаза его разгорелись так неистово, что, чудилось, могли прожечь собеседника насквозь. — Смею предложить, что вы, Антон Иванович, или вовсе не читали моей повести и помните критические пасквили, которые в свое время обрушила на меня официальная пресса, или пробежали ее между строк! Между тем спешу вам сообщить, милостливый государь, что «Поединок» — лучшее творение из всего, что я создал! Это мой самый любимый ребенок! И, до-

ложу вам, поручик Ромапов — самая светлая личность, истинно русская, это, если хотите, — честь и совесть русской армии. Я ничего не выдумывал, ничего не высасывал из пальца, господин Деникин, я срисовал все это с натуры! — Последнюю фразу Куприн выкрикнул. — Если хотите знать, то Ромапов — это я сам! Точно так же, как для Флобера — госпожа Бовари!

— Вы подтвердили мое убеждение. — Деникин старался сохранить спокойствие. — Ромапов — поистине светлый тип русского офицера. Он человек долга и чести, умеющий сострадать не только ближним, но и тем, кто стоит ниже его на ступеньках военной иерархии — простым солдатам. Но вы же сами показали его как человека слабого духом, запутавшегося в личной жизни, разочаровавшегося в ценностях военной службы. Разве на таких, как Ромапов, держалась русская армия?

— Русская армия держалась на таких, как капитан Деникин! — с запальчивой ехидностью ответил Куприн, выпивая очередную рюмку, и, чтобы не прерывать своей тирады, резко отодвинул от себя тарелку с закуской. — Послушать ваши воспоминания, так вы, Антон Иванович, были суцим ангелом во плоти! Понимаю, понимаю, к чему вы клоните: армия наша держалась на таких, как вы, и я, писатель Куприн, должен был живописать только вас и вам подобных. Но я ни за какие коврижки не изменю жизненной правде, хоть тащите меня на эшафот! — Куприн почти кричал, будто и в самом деле Деникин требовал от него живописать только таких, как он. — Может, вы еще расскажете мне сказочку о том, что ни разу за всю службу не дали вашему обожаемому русскому солдату в морду?

— Могу поклясться перед этой иконой, — сказал Деникин, указывая на образ, висевший в углу гостиной. — А если не верите — это вопрос вашей совести, Александр Иванович. Согласен, в русской армии было немало того чудовищного, о чем вы так красочно поведали в своем «Поединке». Было и рукоприкладство, и издевательства над нижними чинами, и безобразные кутежи офицеров, и самодурство иных командиров. И все же не это определяло лицо армии. И позвольте вам доложить, что жестокого в русской армии было гораздо меньше, чем в арми-

ях так называемых цивилизованных государств, скажем, таких как Германия или Австрия. Где вы видели в русской армии, чтобы провинившемуся солдату выбивали зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог? Или же подвешивали...

— Подвешивали? — недоверчиво переспросил Куприн.

— Да, вот что означало сие действие: солдата со связанными руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног. Думаю, в том полку, где служил ваш Ромапов, такого садизма не случалось. А в австрийской армии — сплошь и рядом. Или же — цепью прикручивали правую руку к левой ноге — на шесть часов.

— Не думаю, чтобы наши военные самодуры так уж ничего и не почерпнули из зарубежного опыта. Мы же всегда обезьянничали, «слизывали» все, что есть худого на Западе, — не унимался Куприн. — И вы еще будете утверждать, что наше офицерье было преисполнено любви к солдатам, а солдаты отвечали ему такой же преданной любовью?

— Не хочу теоретизировать, приведу пример, — тут же отозвался Деникин. — Пример сей взят из моих наблюдений в ходе русско-японской войны. Однажды в японском плену оказался по воле случая раненый капитан Каспийского полка Лебедев. Осмотрев его, японские врачи пришли к заключению, что спасти его ногу от ампутации можно, лишь прирастив к ней пласт живой человеческой ткани. И что же? Двадцать солдат предложили свои услуги, причем совершенно добровольно, по зову сердца так сказать. Выбор пал на стрелка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя часть мышцы. И даже отказался от применения хлороформа! Об этом с восторгом и даже с удивлением писала как японская, так и русская пресса. Вас это не впечатляет?

— Ну, положим, — с хмурой недоверчивостью усмехнулся Куприн: он не любил, чтобы его клали на лопатки. — Но как можно из подобного рода единичных проявлений позволять себе делать широкие обобщения за всю армию? С какого же угару ваши солдаты, столь само-

забвенно любившие офицеров, поднимали их на штыки в семнадцатом?

— Удар не в те ворота, — парировал Деникин. — Вряд ли мне нужно объяснять вам, дорогой Александр Иванович, причины и обстоятельства, по которым солдаты поднимали на штыки своих офицеров. Это — тема особая, мы с вами пережили все это на своем собственном опыте. И вы прекрасно знаете, кто с дьявольской настырностью подбивал солдат к такого рода «подвигам».

— Кстати, Антон Иванович, вы ведь и сами в своих «Армейских заметках» рисовали читателям такие картинки военного братства, что мои эпизоды в «Поединке» меркнут перед вашими.

Деникин с удивлением взглянул на Куприна.

— Да, да, — заулыбался Куприн. — Слава богу, что меня пока что моя маразматическая память не совсем подводит. Помню, читывал однажды я вашу заметку. В ней вы описывали полковую жизнь и горькую долю одного армейского капитана. Рота его благополучно прошла смотр, учиненный вышестоящим начальством, и вдруг неожиданно-негаданно сей незадачливый капитан прочел, что в его роте полный порядок, за исключением одного серьезного недостатка: в кухне во время смотра пел... сверчок! За такой «недосмотр» последовало взыскание, что привело к тому, что сам капитан запел сверчком и был отправлен в больницу для душевнобольных. Вот, на-те, еще гол в ваши ворота!

Деникин расплылся от удовольствия: надо же, знаменитый писатель читает его «Армейские заметки»!

— Весьма польщен, что запомнили мои скромные писания, — не без гордости заметил Деникин. — Прошу только учесть, что сей опус, который вы пересказали почти дословно, не более чем шарж. Но если желаете послушать, я вам расскажу, какая реакция последовала за этой, вроде бы невинной, публикацией. Генерал Сандецкий, мой вышестоящий начальник в Казанском округе, был в отъезде, а начальник штаба округа генерал Светлов, посоветовавшись со своим помощником и прокурором военно-окружного суда, решил привлечь меня к судебной ответственности. И едва Сандецкий возвратился в Казань, тотчас же доложил ему об этом.

И представьте себе (это для всех было полной неожиданностью) Сандецкий сказал: «Читал и не нахожу ничего особенного». «Дело о сверчке» вроде бы заглохло, — продолжал Деникин, видя, что рассказ его припелся Куприну по вкусу. — Зато на меня одно за другим посыпались дисциплинарные взыскания — выговоры, наложенные Сандецким за какие-то упущения по службе. А после смотра в Саратове Сандецкий отозвал меня в сторону и сказал: «Вы совсем перестали стесняться последнее время — так и сыплете моими фразами... Ведь это вы пишете «Армейские заметки» — я знаю! Отвечаю: «Так точно, ваше превосходительство, я». Сандецкий нахмурился: «Что же, у меня одна система управлять, у другого — другая. Я ничего не имею против критики. Но Главный штаб очень недоволен вами, полагая, что вы подрываете мой авторитет. Охота вам меня трогать...»

— Да это хоть в новый «Поединок» вставляй! Или рассказ пиши! — восторженно воскликнул Куприн. — Такое нарочно не придумаешь! И что же вы ответили этому Сандецкому?

— А ничего не ответил, — улыбнулся Деникин.

Куприн помолчал и принялся усиленно закусывать.

— А не поведаете ли вы мне, Антон Иванович, что-либо занятное из своей боевой жизни? — вдруг с искренним интересом спросил Куприн не без тайного умысла.

— Занятное? — Деникина покорило это слово: как можно так обзывать боевые эпизоды? И все же решил не отказываться, тем более что самому приятно было вспомнить минувшее. — Извольте, расскажу вам одну примечательную историю. Правда, она слегка смахивает на анекдот.

— Да вся наша жизнь не более чем анекдот! — воскликнул Куприн, предвкушая нечто интересное.

— Так вот, было это на русско-австрийском фронте, в Карпатах. Приметил я как-то, что противник ослабил свою боевую линию, а он, противник, был от нас, можно сказать, рукой подать — менее чем в полуверсте. Поднял я бригаду и без всякой артподготовки ринулся на австрияков. У тех — паника! Риск — благородное дело: устремились мы за ними прямо в их глубокий тыл.

Отправил в штаб корпуса телеграмму: «Бьем и гоним австрийцев». Взяли мы селение с прямо-таки поэтическим названием — Горный Лужок. Снова докладываю в штаб. Там не поверили, потребовали еще раз доложить — не произошла ли ошибка в названии. Подтверждаю, что не произошла: он самый, Горный Лужок. Оказалось, что в Горном Лужке — штаб самого эрцгерцога Иосифа. Тот тоже не поверил, пока не услышал на улице стрельбу русских пулеметов. И что вы думаете, Александр Иванович? Вошли мы в дом, где только что располагался сей штаб, и увидели там накрытый стол с кофейным прибором, на котором были вензеля самого эрцгерцога.

— Потрясающе! — Куприн был в полном восторге. — Да вы кофе-то хоть попробовали?

— Еще бы! — радостно ответил Деникин. — Превосходнейший, доложу я вам, был напиток! Никогда больше такого кофейку не пивал.

— Так вкусно рассказываете, что и мне кофейку захотелось, — признался Куприн.

— Так это мы мигом! Ксюша, сооруди-ка нам по чашечке кофе! — попросил Антон Иванович жену.

— Сейчас, сейчас, — откликнулась Ксения Васильевна.

Отведав кофе, Деникин улыбнулся:

— Ничего схожего с эрцгерцогским, однако же недурен.

— Недурен, вовсе недурен, — подхватил Куприн. — Не откажусь и от второй чашечки. Признаюсь, в доме у нас — ни одного кофейного зернышка. А Ксения Васильевна у вас просто чародейка.

— Знаю я вас, знаю, Александр Иванович, — откликнулась Ксения Васильевна, польщенная похвалой Куприна. — Умеете вы радовать женщин комплиментами! Сейчас сварю еще, пейте на здоровье!

— А между тем, — снова заговорил Деникин, — эпизод сей имел необычайное продолжение. Хотите узнать? — Еще бы! — загорелся Куприн.

— Так вот, семь лет спустя, когда я уже в качестве эмигранта оказался в Будапеште, нам пришлось как-то вызывать доктора к нашей больной дочери, Мариночке. Услышав фамилию «Деникин», доктор вдруг поинтере-

совался, не тот ли я генерал, который командовал «железными» стрелками. Я подтвердил. Доктор кинулся ко мне и стал радостно жать мою руку. Я даже растерялся: что это с ним? А доктор говорит: «Представьте себе, мы с вами чуть не познакомились». — «Где же?» — удивился я. «В Горном Лужке!» — «Как так?» — я был в совершеннейшем изумлении. «Очень просто, — сказал доктор. — Я был врачом в штабе эрцгерцога Иосифа».

— Умопомрачительно! — вскричал Куприн. — Да это же готовый рассказ!

Тем временем Ксения Васильевна принесла «подкрепление»: кофе в крошечных чашечках и сухарики.

— А в Гатчине мы с Елизаветой Морицевной варили кофе из сухой морковной ботвы, — задумчиво произнес Куприн, вспоминая свою гатчинскую жизнь в девятнадцатом году. — А какие она изготавливала печеньица из овсяной муки! Голодное было время, да еще и страшное в своей непредсказуемости. Особенно жуткими были ночи. Выстрелы, пулеметные очереди, а то и гром пушек. Да, да, я даже морковку и свеклу, выращенные на огороде, вырывал в такт выстрелам, забавно, не правда ли? — Куприн весь ушел в воспоминания. — Как-то раз вызывают меня в гатчинскую комендатуру. Прихожу, пытаюсь скрыть волнение: чем обязан? «Вас хочет видеть у себя генерал Глазенап». Отвечаю: извольте, я готов. Препроводили меня в штаб, и угадайте, кто был первым, с кем я там столкнулся? И не старайтесь, не угадаете. А встретил я столь не любимого вами генерала Краснова.

— Краснова? — изумился Деникин.

— Да, да, Петра Николаевича! — громко подтвердил Куприн. — Встретил он меня с такой радостью, будто мы с ним всю жизнь ходили в друзьях. Вылил на меня столько елей, что я едва не захлебнулся.

— Вы употребили слово «нелюбимый», — раздумчиво произнес Деникин. — Не совсем так, Александр Иванович. Понятия «любить» и «не любить» здесь вряд ли уместны, ибо не отражают моего истинного отношения к генералу Краснову. Да, он, можно сказать, талантливый литератор, храбрый генерал. Знал я его еще с той поры, как встретился с ним в вагоне сибирского экспресса, ког-

да ехал на русско-японскую войну. А надо сказать вам, Александр Иванович, компания в нашем поезде подобралась интересная. Да вы сейчас ахнете: ехал, к примеру, сам адмирал Макаров, только что назначенный командующим Тихоокеанским флотом.

— В Макарова была влюблена вся Россия! — восторженно воскликнул Куприн.

— Да, великие надежды на него возлагались, и он, бесприменно, оправдал бы их, если бы не трагическая гибель. Заслуги славного адмирала знали все: в русско-турецкую войну он на приспособленном коммерческом пароходе «Великий князь Константин» с четырьмя минными катерами на нем наводил панику на регулярный турецкий флот: взорвал броненосец, потопил транспорт с полком пехоты, делал отважные налеты на турецкие порты. Затем с отрядом моряков принял участие в Ахал-Текинском походе генерала Скобелева. И что еще весьма ценно: карьерой своей был обязан только лишь самому себе, что, согласитесь, случается не столь часто.

— Да уж! — тут же откликнулся Куприн, что удивило Деникина: в какой-то момент ему показалось, что Александр Иванович, слушая его, задремал.

— Адмирал исходил все моря на разных должностях. — Ожившее внимание Куприна побудило Деникина продолжать свой рассказ. — Вы, наверное, знаете о том, что Макаров в свое время разработал большой океанографический материал по Черному морю, Ледовитому и Тихому океанам, за что был удостоен премии Академии наук. А его прекрасный трактат о морской тактике!

— А еще — построил ледокол «Ермак»! — порывисто вклинился в рассказ Деникина Куприн, желая показать и свою осведомленность.

— Я уж не говорю о его легендарной храбрости. Кажется, самой судьбой Макаров был предназначен восстанавить престиж Андреевского флага.

— Однако вы так увлеклись Макаровым, что, кажется, совсем позабыли о том, что собирались поведать мне и о других ваших спутниках в сибирском экспрессе.

— Действительно, — улыбнулся Деникин. — И потому спешу выполнить свое обещание. В нашем салон-вагоне ехал также, надеюсь, известный вам генерал Ренненкампф, в то время начальник Забайкальской казачьей дивизии, с коим в пути я был в постоянном общении. Доложу я вам, Александр Иванович, что ехали мы весело, разумно сочетая обсуждение военно-политических проблем с дружескими пирушками. Устраивали и литературные вечера, в коих участвовали три военных корреспондента. Один из них — сотрудник «Биржевых ведомостей» — писал свои корреспонденции с дороги, честно говоря, скучно и неинтересно. От «Нового времени» ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Кстати, он прямо в поезде написал превосходный портрет Ренненкампфа. Его корреспонденции пришлись нам по сердцу своей теплотой и правдивостью. А вот третьим как раз и был упомянутый вами Краснов, в то время корреспондент официоза военного министерства «Русский инвалид», был он в звании подьесаула.

— Будущий Донской атаман, — усмехнулся Куприн.

— Совершенно точно. Статьи его были, несомненно, талантливы, но никак я не мог избавиться от весьма неприятного чувства: очень уж много было в них красивостей, пафоса и, главное, вымысла.

— Это перечеркивает все его литературное дарование, — непререкаемо прокомментировал Куприн.

— Да, Краснов, кажется, всегда был не в ладах с правдой. А вообще-то наш сибирский экспресс был отмечен печатью рока, — с грустью сказал Деникин. — Восьмого марта Макаров прибыл в Порт-Артур, реорганизовал технически и тактически оборону, поднял дух флота. А уже двенадцатого апреля броненосец «Петропавловск» под флагом Макарова от взрыва мины в течение двух минут пошел ко дну... Ренненкампф в позднейших боях был ранен, а Кравченко погиб в Порт-Артуре. Не знаю лишь о судьбе корреспондента «Биржевых ведомостей».

— Но вы-то живы! — горячо возразил Куприн. — И Краснов жив!

— Да, я жив, — хмуро подтвердил Деникин. — Но

разве, Александр Иванович, это жизнь? Да как мы живем? Прозябаем, небо коптим от тоски и бессилия...

— Надолго же вы прервали мой рассказ о том, как я был призван в Гатчине к генералу Глазенапу, — усмехнулся укоризненно Куприн. — А ведь я собирался поведать о том, как неожиданно стал издателем некоей газеты.

— Простите, Александр Иванович, — нахлынуло. Охотно послушаю вас.

— Благодарю за милостливое разрешение, — не без ехидства произнес Куприн. — Так вот, о Глазенапе. Единственное, что мне тогда врезалось в память, — это его роскошные усы.

— Глазенапа я знаю хорошо, — вставил Деникин. — Ведь он был участником Ледяного похода. Отчаянный конник, храбрый до безумия.

— Вот этот самый Глазенап с ходу и взял меня в оборот. Оказывается, ему нужна газета, чтобы, видите ли, плодотворно влиять на умы. И на общественное мнение.

— Поздновато он спохватился, — усмехнулся Деникин. — Влиять на умы надо было значительно раньше.

— И тем не менее ваш покорный слуга ухватился за эту возможность, — оживленно продолжал Куприн. — Посудите сами: вынужденное безделье для литератора означает медленную, но верную смерть. А Глазенап рисовал радужные картинки. Деньги, сказал он, непременно найдутся: Северо-Западное правительство печатает кредитки. Типографию, мол, найдем, бумагу тоже. Я поинтересовался: чем будут платить наборщикам? И когда улыхал, что этими самыми кредитками, запротестовал: какой человек, будучи в здравом уме, согласится получать за свой труд какие-то бумажки? Тогда Глазенап заверил, что будет платить солдатским пайком. Я понял и согласился. «А предводителем вашим будет генерал Краснов», — улыбнулся Глазенап так, будто вручал мне награду. С Красновым мне довелось придумывать названия газеты... Каких только названий мы не перебрали; вплоть до самых экзотических! Первого осенило Краснова: «Приневский край». Честно говоря, дурацкое название, отделите от него «при», вставьте запятую, какой

призыв получится? «Приневский край!» Плонул я на упрямство Краснова, заклинило его на этом названии, да и засучил рукава. И дело шло! Чуть больше суток — и первый номер готов! Да еще с передовой статьей самого Краснова!

— Наверняка с «поэтическим вымыслом»? — иронизировал Деникин.

— Разумеется! — захохотал Куприн.

— Сейчас поймал себя на мысли, что мне крайне неприятно вспоминать даже фамилию этого человека, — невольно вырвалось у Деникина.

Куприн не откликнулся. Его основательно разморило, он был крайне утомлен длительным разговором, хотелось прилечь и вздремнуть. Ксения Васильевна, чуткая к желаниям гостей, тотчас же заметила это.

— Иваныч, — обратилась она к мужу, — неужели не видишь, что гость очень устал, ты его заговорил. Александр Иванович, милый, не хотите ли часок поспать? В гостиной у нас прохладно, сиренью пахнет, куст прямо под окном.

— Спасибо, голубушка, — расчувствовался Куприн. — Я уж лучше посижу в вашем чудесном кресле, в нем я всегда испытываю блаженство.

Он с трудом, по-стариковски поднялся из-за стола, перебрался в кресло и тут же закрыл глаза, готовясь погрузиться в благодатную дрему.

Прошло несколько минут, и Куприн вдруг очнулся.

— Ненавижу Толстого! — вскричал он, изрядно напугав Ксению Васильевну. Глаза его, дотоле сонные, засверкали бешено, по-азиатски!

Деникин вздрогнул: какая собака укусила Александра Ивановича? Ведь еще недавно он до небес превозносил Толстого, уверяя, что рядом с ним в литературе и поставить некого.

— Что это вы устались на меня с таким удивлением? — набросился на своего собеседника Куприн. — Хотите сказать, что старик выжил из ума? В таком случае — к барьеру! Дуэль!

— Александр Иванович, бог с вами! Какое презрение? Какая дуэль? Неужто вам не ведомо, с каким уважением и почтением я отношусь к вам и вашему творчеству? —

Деникин принял слова Куприна всерьез и был крайне огорчен.

— Да, да, ненавижу! — не унимался Куприн, уже успевший напрочь забыть о дуэли. — Пока не было этого демона, мы воображали из себя гениев, карабкались на литературный утес, в кровь обдирая локти... И чего мы достигли? Измазали себе морды чернилами, не более того! Пришел Он и указал нам истинное наше место, которого мы только и заслуживаем — в литературном болоте! Квакайте себе там на здоровье! Да, да, в сравнении с этим Львом мы — бездари, школяры, графоманы! Он глыба, а мы — песчинки!

— Полноте, Александр Иванович, — начал было Деникин, — литература, как и все человечество, не состоит из одних только гениев, иначе и сравнивать было бы не с кем...

И тут же осекся, поняв, что спорить с Куприным сейчас совершенно бессмысленно: тот, уронив голову на грудь, опять задремал...

Деникину вдруг вспомнилось, как кто-то из его знакомых весьма красочно, в лицах, рассказывал об одном приключении, происшедшем с Куприным в Ялте. Приключение сие смахивало то ли на досужий вымысел острословов, то ли на легенду.

А суть приключения была такова.

Однажды писатели, отдохавшие в Ялте, кажется в «Ореанде», как это частенько случалось, собрались в ресторане. Изрядно выпили, вдосталь побалагурили, а потом угомонились. Куприн, принявший свою обычную норму, уселся в кресло и тотчас же задремал. Однако пробудился и решил прогуляться по набережной. По пути заметил вывеску «Телеграф», зашел. Потребовал телеграфный бланк и начертал на нем: «Его императорскому величеству Николаю Второму. С получением сего требую немедленно объявить Ялту вольным городом. Куприн». Отправил телеграмму и вернулся в ресторан, где снова, удобно устроившись в кресле, заснул.

Спустя несколько часов к ресторану подкатила коляска градоначальника Ялты князя Домбадзе. Взволнованный, он вбежал в ресторан и, увидев дремавших в креслах писателей, вскричал:

— Это кто?

— Горький, — поспешно и почтительно ответил сопровождавший князя метрдотель.

— Не надо! — отмахнулся градоначальник. — А это кто?

— Короленко.

— Тем более не надо! А кто там спит в дальнем углу?

— Куприн.

— Вот он-то мне и нужен! Разбуди его!

Куприна разбудили. А градоначальник, выхватив из папки телеграфный бланк, гортанно и торжественно прочел текст:

— «Градоначальнику города Ялты князю Домбадзе. С получением сего немедленно разыщите писателя Куприна и самым внимательным образом следите за тем... — Он сделал продолжительную паузу и почти прокричал последние слова телеграммы: — И самым внимательным образом следите за тем, чтобы он... хорошо закусывал!» Подписал его императорское величество Николай Второй!

Деникин не раз порывался спросить у Куприна, правда все это или легенда, но так и не решился, считая такого рода вопрос несколько бестактным.

...Куприн неожиданно очнулся.

— Состояние души... — забормотал он, ни к кому не обращаясь и как бы говоря это самому себе. — Какая переменчивая штука... В юности готов был взмыть в облака, на дно морское опускаться... Предавался безумным затеям, безумным страстям... Пил шампанское чуть ли не ведрами... Женщин любил... неистово... — Тут голова его вздрогнула и опустилась на грудь, но через минуту он с тревогой открыл глаза, будто пытаясь понять, где он и что с ним происходит. — Все — и хорошее и дурное — воспринимал с восторгом. Душа пела... — Он почмокал влажными губами. — А теперь умерла... Все обрыдло, ничто не радует... Природа? Туман и слякоть... Женщины? Какие-то бесполые и чертовски вредные существа... Вино? Кажется, единственное, что еще радует. Впрочем, тоже настраивает на глухое ворчание... Душа закована в кандалы... — Он снова надолго умолк, и Деникин уже решил уйти к себе, наверх, где находился его

кабинет, как Куприн вдруг ожил: — Уезжал из России, не уезжал — бежал с радостью, верил, что навсегда, проклинал ее, подлую, постылую и неблагодарную. Отвергла меня, матушка, так и пропади все пропадом! А нынче душа вопиет: не она тебя отвергла, ты ее, ты ей изменил... Покайся, стань перед ней на колени, вернись, блудный сын... — Куприн заплакал навзрыд. — Россия, ведьма проклятая, околдовала меня, обольстила, не могу без нее, нет мне без нее покоя! Как прав, как прав был Шаляпин!

Деникин заинтересованно, с немым вопросом посмотрел на Куприна.

— Да, да, как возмутительно он был прав! Уехав из России, он вскоре в письме признался, что здесь, за рубежом, у него есть все: и доллары, и фунты стерлингов, и франки. Нет только его дорогой родины...

Куприн умолок. Слезы текли по его потемневшим дряблым щекам. Деникина поразило то, что сейчас он выглядел совершенно трезвым.

Неожиданно с тоской Куприн вскричал:

— Возьми меня обратно, молю тебя, возьми!

Деникин испуганно взглянул на него: «Захмелел старик, перебрал как всегда».

— Александр Иванович, дорогой, — будто ребенку начал внушать Деникин. — Не возьмет вас Россия, она уже совсем другая, она сошла с рельсов, обезумела! Возвратиться туда нашему брату — все равно что самому себе петлю на шею накинуть да и затянуть потуже. Там таких, как мы, тут же к стенке поставят или, на худой конец, в лагере сгноят, неужто вы оглохли и ослепли? В какую Россию вы стремитесь? России, которую вы любите, давно уже нет. Есть некий Советский Союз, тоталитарное государство, в котором народ русский мается и стонет, прозябает на задворках великой империи.

— Стыдитесь, генерал! — неожиданно со страстью воскликнул Куприн, привставая с кресла. — Россия всегда была, есть и будет Россией! Без нее все мы здесь — черви навозные, человеки без роду и племени. Возвращаться надобно, прощения просить, каяться. Бога молить, чтобы отпустил грехи наши тяжкие!

«Кажется, начинает бредить, — с тревогой подумал Деникин. — Пора проводить его домой. Очнется — по другому заговорит...»

6

Из записок поручика Бекасова

Однажды, появившись у Деникина незадолго до полудня, я застал его за чтением какой-то книги. Заметив мое удивление — в это время Антон Иванович, как правило, работал над своими рукописями, — он улыбнулся:

— Вот случайно взял с книжной полки подарок Бунина, думал, просто полистаю вместо отдыха, а теперь не могу оторваться. Гилберт Кит Честертон. Знакомо вам это имя?

Я откровенно признался, что мне не доводилось читать произведений этого автора.

— Вы много потеряли, Дима! — оживленно воскликнул Антон Иванович. — Впрочем, я ведь тоже только что открыл его для себя. Между тем Честертон написал много романов, рассказов, стихов. Я вот читаю его замечательные эссе. Какая сила ума, непредсказуемой логики. Он ослепителен, как фейерверк! А как он умеет смеяться над самим собой! Поверьте, это первейший признак мудрых людей.

Видя, что я заинтересовался его рассказом, Антон Иванович, полистав книгу, продолжил:

— Вот послушайте, сделайте милость. Он утверждает: истории нет! Как вам это нравится? Каково умозаключение? Казалось бы, явный ценизм. А он ведет свою мысль так, что начинаешь с ним соглашаться, несмотря на то что этот Честертон чертовски парадоксален. Оказывается, истории нет, есть историки. К тому же среди них совершенно нет беспристрастных. Представьте, он делит историков на две группы: одни говорят половину правды, другие — чистую ложь. И потому настаивает Честертон, следует читать не историю, а историков. К примеру: хотите узнать правдивое жизнеописание Кромвеля — читайте только то, что писалось при его

жизни. Предпочтительнее письма и речи самого Кромвеля, опубликованные Карлейлем. Только прежде, чем читать эти письма, заклейте поаккуратней все, что писал Карлейль. И вот вам совет Честертона: перестаньте хоть на время читать то, что писали о живых давно умершие люди.

Деникин умолк и задумался. Что касается меня, то я, кажется, понял, куда он клонит. И не ошибся.

— Почитайте, что пишут обо мне советские историки. Любой, кто прочтет все это, скажет: Деникин — исчадие ада! Вот одна из причин, почему я корплю над своими мемуарами. Пусть потомки читают их, а если их снабдят своими комментариями новоиспеченные историки, пусть читатель тщательно заклеит эти страницы — тогда только он получит правду о генерале Деникине, да и не только о нем.

— Однако мемуаристы обычно не склонны говорить о своих ошибках, — осторожно и мягко, чтобы не обидеть генерала, сказал я. — Ведь согласитесь, вряд ли кто-то из знаменитых людей, вошедших в историю, напишет о себе, что он — бездарь, что по его вине допущены трагические просчеты или что он занимает высокий пост не благодаря своим талантам и способностям, а лишь с помощью сильных мира сего.

Как я ни старался изложить свою мысль так, чтобы Антон Иванович не принял мою оценку мемуаристов на свой счет, я сразу почувствовал, что генерал обиделся, хотя и пытался не показать этого.

— Неужто, Дима, вы можете даже предполагать, что я утаю свои ошибки, заблуждения и поражения? — Он так укоризненно посмотрел на меня, что мне стало известно.

— Вот Честертон, например, утверждает, что легенда правдивее факта: «легенда говорит нам, каким был человек для своего века, факты — каким он стал для нескольких ученых-крохоборов много веков спустя. Легенда историчнее факта: факт говорит об одном человеке, легенда — о миллионах». — Это Антон Иванович уже читал прямо из книги. — Вот я и раздумываю: что во благо человечества — диктатура или демократия? Если верить Честертону, то нет ничего трудней демократии по той

причине, что люди не могут спокойно слышать, что каждый из них — король. А также, нет ничего труднее христианства, утверждает этот мудрый англичанин. И объясняет почему: люди не могут спокойно слышать, что все они дети Божьи.

Деникин встал из за стола и взволнованно прошелся по комнате.

— Хотелось бы мне брать с него пример, и знаете, в чем особенно? В его писаниях совершенно нет ненависти. Я почувствовал, что у него нет ненависти к людям, да он просто не умеет ненавидеть людей. А вот идеи... Идеи он может и высмеивать, и восхищаться ими, и предавать анафеме. Удивительный человек, удивительный писатель! Лишь в одном эссе я ощутил его клокочущую ненависть к человеку, впрочем, если этого отъявленного диктатора и палача можно назвать человеком. Он пишет, что надо относиться к Гитлеру, как люди относились к Ироду.

Он снова вернулся на свое место, придвинул поближе к себе папки с рукописями.

— Ну, вот я и отдохнул. — Голос его зазвучал совсем по-другому, стал деловым и даже несколько будничным. — Пора за работу, Дима. Что бы я делал без вашей помощи? Жизнь моя стремительно идет к финалу, и больше всего я боюсь не успеть.

— Что вы, Антон Иванович! — воскликнул я. — Вы еще в самом расцвете сил!

— А знаете, что мне сказал Бунин при встрече в Одессе? Он сказал: «А я фанатично боюсь, у меня всегда жуткое изумление перед смертью». Какая искренняя душа у этого человека!

Кажется, ему захотелось поговорить о Бунине, но он преодолел себя:

— Что нового вы мне сегодня принесли, Дима?

— Очень интересные материалы о внешних сношениях Юга России с Францией, Англией и Польшей во второй половине тысяча девятнадцатого года, — ответил я. — И еще — о взаимоотношениях Юга с Кубанью.

— В сущности, все это еще свежо в моей памяти, — заметил Деникин. — Но мне не доставало документов. Вы мне делаете прекрасный подарок.

Он бегло просмотрел документы и вздохнул:

— Вот вы говорите — сношения с Францией. Не знаю, то ли мы были недостаточно энергичны, или французы слишком инертны, но экономические отношения с Францией у нас толком таки не наладились. Когда летом девятнадцатого года по моей просьбе генерал Драгомиров посетил Париж, Клемансо обещал помочь всем, чем может, но только не людьми. Драгомиров настаивал на том, чтобы Франция признала правительство Колчака и тем оказала нам большую моральную поддержку. Но все было тщетно: просьбы Драгомирова повисли в воздухе. Осенью у меня появилась большая надежда на приезд миссии генерала Манжена, целью которой, как о том свидетельствовала его верительная грамота, было облегчить сношения между Добровольческой армией и французским командованием для взаимной пользы противобольшевистской борьбы и укрепления связей, соединяющих издавна Францию с Россией. И каково же было мое разочарование, когда я понял, что миссия эта носит лишь осведомительный и консульский характер!

Обычно немногословный Антон Иванович говорил долго, все более и более накаляясь эмоциями. Я старался поддерживать его в этом, зная, что именно в таких воспоминаниях сейчас и состоит главный смысл его жизни.

— Великобритания, насколько я понимаю, тоже не очень-то усердствовала, — заметил я и этой репликой вызвал новую волну эмоций.

— Именно! — воскликнул Деникин. — Вы, надеюсь, не забыли о прибытии к нам главы британской военной миссии генерала Хольмана?

Я, конечно, не забыл. Тем более что, отправляясь к Деникину с новыми документами из архива, я прочитал письмо Черчилля Деникину, которое по прибытии генерала Хольман вручил Антону Ивановичу. В нем говорилось:

«Я надеюсь, что вы отнесетесь к нему с большим доверием... В согласии с политикой его величества мы сделали все возможное, чтобы помочь вам во всех отношениях. Мое министерство окажет вам всякую поддержку, какая

в нашей власти, путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов. Но вы, без сомнения, поймете, что наши ресурсы, истощенные великой войной, не безграничны... тем более что они должны служить для выполнения наших обязательств не только в Южной, но и в Северной России и Сибири, а в сущности, на пространстве всего земного шара».

— Англичане, — не скрывая возмущения, сказал Деникин, — не поддерживали лозунга «Единой России». Им нужна была слабая, немогущая, ползающая на коленях Россия. Это их политика во все времена! Самую грозную опасность они видели в могучей и великой России, двигающейся подобно леднику по направлению к Персии, Афганистану и Индии.

Я достал еще одну папку и протянул ее Антону Ивановичу:

— Вот здесь есть подтверждение ваших слов, Антон Иванович.

Деникин взял из папки документ. Это было выступление главы британского кабинета Ллойд Джорджа в парламенте:

«Я не могу решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, в стране, где проникавшие внутрь ее чужеземные армии всегда терпели страшные неудачи... Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне... Большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России...»

— Бедненькая Англия, — ядовито произнес Деникин, прочитав документ. — Это с ее-то богатствами и возможностями! Ну что ж, они еще не раз пожалеют о своей патологической жадности. А что уж там говорить о поляках!

Я знал, что польская тема — самая болезненная для Деникина. Он так надеялся на помощь Польши, именно Польши! Он мечтал о совместных действиях с польскими войсками. И в самом деле, если бы поляки предприняли

наступление к Днепру, они отвлекли бы серьезные силы большевиков и надежно обеспечили бы прикрытие с запада Добровольческой армии, наступающей на Москву. В ушах моих до сих пор звучало выступление Антона Ивановича в Таганроге на банкете в честь прибытия польской миссии. Это было 13 сентября 1919 года. Деникин с воодушевлением говорил о том, что после долгих лет взаимного непонимания и междоусобной распри, после тяжелых потрясений мировой войны и общей разрухи два братских славянских народа выходят на мировую арену в новых взаимоотношениях, основанных на тождестве государственных интересов и на общности внешних противодействующих сил.

И он поднял бокал за возрождение Польши, за будущий кровный союз и за то, чтобы пути наши более не расходились.

Однако глава миссии Карницкий, кстати бывший генерал русской службы, воспринял пожелания Деникина без всякого воодушевления. На проникновенные слова Антона Ивановича он ответил до неприличия сухо и беспредметно. А начальник штаба миссии майор Пшездецкий даже превзошел его, заявив без всяческих обиняков нагло и самоуверенно:

— Нам незачем сговариваться из-за боязни большевиков. Большевиков мы не боимся. Более сильной армии, чем у нас, теперь ни у кого уже нет. Мы можем двигаться вперед вполне самостоятельно. Назад мы не пойдем. Мы дошли до своей границы, теперь подходим к пределам русской земли и можем помочь вам. Но мы желаем знать заранее, что нам заплатят за кровь, которую нам придется пролить за вас. Если у вас нет органа, желающего говорить по тем вопросам, которые нас волнуют, под тем предлогом, что он не авторитетен для решения вопросов о территории, то нам здесь нечего делать.

И вот сейчас я напомнил об этом Антону Ивановичу. Он горестно покачал головой и сказал:

— А сейчас я расскажу вам самое интересное. Знаете, кто таков этот самый Карницкий? Надо же, как затейливо переплетаются события и судьбы! Так вот. Когда я служил в артиллерийской бригаде, мы как-то шли поход-

ным порядком через Седлец. Там квартировал Нарвский гусарский полк. И надо было случиться такому: наш подпоручик Катанский, порядочный и образованный офицер, правда отличавшийся весьма буйным характером, оскорбил, уж не помню за что, гусарского корнета Карницкого. Каков выход? По тем временам единственный — дуэль! Представляете, Дима, почти целую ночь я уговаривал его отказаться от дуэли и помириться. Но в гусарском полку мои доводы восприняли в штыки: примирение, мол, не соответствует оскорблению. Затем к нам приехала делегация суда чести Нарвского полка. И мы постарались представить инцидент в благоприятном для Карницкого свете. И что же? Карницкий был оставлен на службе, дуэль не состоялась. И вот, Дима, встреча в Таганроге через четверть века!

— Он вас конечно же узнал? — Я заинтересовался. — Наверное, вспомнили о делах минувших?

— Куда там! Сделал вид, что не помнит! Гонор так и пер из него! Чистый индюк!

— Поразительно, настолько поразительно, что даже верится с трудом! — воскликнул я.

— Это еще куда ни шло, — мрачно сказал Антон Иванович. — Главное в том, что этот самый Карницкий в донесениях своему правительству употребил все усилия, чтобы представить в самом темном свете, и не только в темном, но и в ложном, белые русские армии и их политику по отношению к возрождающейся Польше. И тем самым внес свою лепту в предательство вооруженных сил Юга России Пилсудским. Более того, Дима, Пилсудский утверждал самым бессовестным образом, что и Колчак и Деникин — реакционеры и империалисты.

— Кстати, в этой папке — ваше письмо Пилсудскому, — заметил я. — Да вот оно. Хотите, Антон Иванович, я вам его напомню?

— Я его не забыл, — ответил Деникин. — Впрочем, прочтите, будьте добры.

И я прочел:

— «Встретив некогда с чувством полного удовлетворения поворот русской политики в сторону признания национальных прав польского народа, я верил, что этот по-

ворот знаменует собой забвение прошлых исторических ошибок и союз двух родственных народов.

Но я ошибся.

В эти тяжкие для России дни вы, поляки, повторяете наши ошибки едва ли не в большей степени...

Непонятная для русского общества политика польского правительства может дать серьезную опору германофильскому течению — роковое значение для Польской республики. Этого допустить нельзя. Восточная польская армия, успешно наступавшая против большевиков и петлюровцев уже около трех месяцев, прекратила наступление, дав возможность большевикам перебросить на мой фронт до 43 тысяч пштыков и сабель.

Русские армии Юга вынесут новое испытание. Конечная победа наша несомненна. Вопрос лишь в том, как долго будет длиться анархия, какую ценою, какую кровью будет куплено освобождение.

Но тогда, встав на ноги, Россия вспомнит, кто был ей другом.

От души желаю, чтобы при этом не порадовались немцы.

Уважающий Вас А. Деникин».

— Да, вот такие были у меня союзники, — вздохнул Деникин. — Уже позже я узнал, что Карницкому были даны инструкции настаивать на том, чтобы границы «Великой Польши» включали в себя Литву, Белоруссию и Вольнь.

— Ничего себе, аппетиты! — возмущенно воскликнул я.

— Ну, Бог им судья, — уже миролюбиво произнес Антон Иванович. — Давайте-ка примемся за следующую папку. А то ведь уже скоро Ксения Васильевна потребует нашего незамедлительного прибытия на обед...

7

Иван Алексеевич Бунин появился в доме, где жили Деникины, в сумрачный, дождливый день, и Антон Иванович вдруг вспомнил, что в произведениях этого писателя часто встречаются прекрасные описания дождя. И по-

тому был совершеннейшим образом растроган. Это чувство особенно проявилось в его душе, когда Бунин с необыкновенным изяществом поцеловал руку Ксении Васильевны, которая была просто потрясена неожиданным визитом живого классика.

И от дождя за окнами, поразительно схожего в этот день с дождем где-то под Москвой, и от изысканных, но не приторных, а чрезвычайно естественных манер Бунина вдруг с ошеломляющей силой повеяло Россией, — не той, мятежной и окровавленной, какую они покинули не так уж давно, а той — с ароматом пирогов, яблок, скошенной травы, какую они знали во времена своего детства. И потому Антон Иванович пытался и не мог сдержать сильнейшего волнения.

В свою очередь, Ксения Васильевна, испытывая смущение, не могла не любоваться Буниным. Высокий, стройный, гордо несущий породистую аристократическую голову, он и сейчас не скрывал, что при всей радости встречи выше всего ценит свое собственное достоинство, дорожит им и счастлив той реакцией, какую вызвало его появление в доме старого генерала.

Антон Иванович был искренне польщен этим визитом, будучи страстным почитателем таланта писателя. Проза Бунина очаровала его, и он обычно долго не мог успокоиться после того, как откладывал книгу после прочтения: щемило сердце, в груди волнами катились, переменяя друг друга, чувства тоски, радости, тревоги и счастья. Ни в единой строке прозы Бунина не ощущалось и толики фальши — все была правда, истинная правда о России. Деникин был наслышан, что Бунин, обнаружив фальшивое звучание даже в произведениях великих, приходит в ярость. И всегда объявлял себя страстным поклонником Льва Толстого, не уставая повторять, что у этого великана русской литературы нет ни одного лишнего слова.

Сразу же после рукопожатий и первых слов приветствий Бунин достал из портфеля свою книгу «Чаша жизни» и вручил ее Деникину. Антон Иванович с благоговением принял дар и взволнованно прочел на титульном листе поразившие и обрадовавшие его слова:

— «Антону Ивановичу Деникину в память прекрасного дня моей жизни — 25 сентября 1919 года в Одессе, когда я не задумываясь и с радостью умер бы за него!»

Деникину вспомнился тот день. Именно 25 сентября Антон Иванович приехал в освобожденную от красных Одессу.

...День первого месяца осени выдался, как это почти всегда бывает на юге, превосходным. Уже не было изнурительной летней жары, море чуть штормило, облака в небе плыли еще высоко. Кортёж с Деникиным и встречавшими его на вокзале направился в собор. Звонили колокола. В соборе генерала встречало духовенство в торжественном облачении. Епископ осенил Деникина крестным знаменем — так раньше встречали монархов. Затем состоялся молебен о даровании победы над красными. Несколько позже Деникин принимал парад. После парада поехали на банкет. Под машину Деникина восторженные одесситы бросали охапки цветов. В ресторане произносились бесчисленные тосты...

Деникин бережно принял книгу из рук Бунина и горячо поблагодарил. Между тем Иван Алексеевич уже извлекал из своего портфеля баночки с красной и черной икрой, шпроты, другие деликатесы и торжественно вручал их смущенной Ксении Васильевне.

За столом и Бунин и Деникин «ударилась» в воспоминания, и чем больше было выпито, тем эти воспоминания становились оживленнее.

— Никогда не забуду один праздничный стол в Ялте, — весело говорил Бунин, когда была упомянута фамилия Куприна. — Дело было весной, кажется, шел девятьсот первый год. Решили мы с Куприным пойти в гости к начальнице местной гимназии Варваре Константиновне Харцевич. Дама, я вам доложу, была весьма пикантная. И — восторженная почитательница писателей. Мы пожаловали к ней как раз на Пасху и, к сожалению, не застали ее дома. И что увидели — в столовой был накрыт превосходный праздничный стол. Ну мы и дорвались до него! Вволю попили винца, основательно закусили. Куприн возьми и предложи: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И я тут же их накатал. — Бунин,

глядя на Ксению Васильевну и явно желая развеселить ее, произнес вслух:

В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно длинный.
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.

Стихи и впрямь развеселили Ксению Васильевну, она долго и заразительно смеялась.

— А стихи-то я написал прямо на белоснежной скатерти, — продолжал Бунин. — И представьте, хозяйка так ликовала, что даже выпила эти строки! Помню, рассказали мы эту историю Чехову. Видели бы вы, как он хохотал! Кстати, знаете, как он меня шутливо величал? Нет? Букишон! Да, да, господин Букишон! Страсть как любил придумывать разные фамилии и прозвища!

— Чехов — это моя любовь, — разоткровенничалась Ксения Васильевна. — Не поверите — в который раз перед сном перечитываю его «Вишневый сад».

Бунин с удивлением вскинул брови:

— Перечитываете «Вишневый сад»? Но я не в силах читать пьесы. Тем более «Вишневый сад».

— Но почему же? — изумилась Ксения Васильевна. — Ведь это такое чудо!

— У Чехова, Ксения Васильевна, очень много истинно прекрасного, я причисляю его к самым замечательным русским писателям, но что поделать? Вынужден признаться: пьес его я не люблю.

— Неужели это возможно? — еще более удивилась Ксения Васильевна.

— Как видите, возможно, — спокойно ответил Бунин. — Когда я читаю его пьесы, мне даже неловко за автора, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симеонов-Пищик.

Ксения Васильевна онемело смотрела на говорившего Бунина, а он все более воодушевлялся.

— Видите ли, Ксения Васильевна, я рос как раз в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых. И совершенно невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не дав их бывшей владелице даже выехать из дому. Все это очень уж ненатурально: просто автору нужно было, чтобы зрители Художественного театра услышали стук топоров, воочию увидели гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» А Гаев? Он просто несносен. Он постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, вроде бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» И неужели вас приводит в восторг Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, которая то и дело плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо... Белый, весь белый сад мой!» Истерики Ани, а рядом — студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник». «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставайте, друзья!» Милейшая Ксения Васильевна, неужто вы не чувствуете во всем этом фальши?

Бунин, вероятно, был твердо уверен в том, что сумел убедить ее в своей правоте, но никакие доводы не могли истребить в душе Ксении Васильевны нежной и трогательной любви к Чехову и к его «Вишневому саду». О какой фальши он смеет говорить, когда и в театре, и наедине с книгой она искренне плакала над «Вишневым садом», смеялась и снова плакала. Разве способна фальшь высекать искры из сердца человека? Нет, нет, он произносит чудовищные, кощунственные слова, которые нельзя простить и которые приводят, кажется, к тому, что она начинает разочаровываться в этом живом классике. Не зависть ли движет его мыслями?

Ксении Васильевне очень уж хотелось выпалить все это Бунину, сразиться с ним в горячем споре, но она сдер-

жала себя, посчитав, что не следует обижать гостя. И потому лишь тихо сказала, когда он наконец умолк:

— И все же, Иван Алексеевич, и весь Чехов, и особенно «Вишневый сад» — это моя вечная любовь...

— Моя любовь — тоже, — вдруг улыбнулся Бунин. — И потому я имею право на критику.

— Ксюшу с Чеховым не разлучить и спорить с ней бесполезно, — рассмеялся Деникин. — И потому не лучше ли нам выпить еще по стопочке водки?

— С величайшим удовольствием! — подхватил Бунин.

Он с особым изяществом взял двумя пальцами ломтик черного хлеба, ножом аккуратно намазал на него горчицу и, выпив рюмку водки, с удовольствием закусил.

— Прекрасная закуска, лучше деликатесов! — провозгласил он. — А какой зверский аппетит был у моего отца! — Он снова ударился в воспоминания. — Както, уже совсем одетый, чтобы отправиться на охоту, проходил мимо буфета, на котором стоял не початый еще окорок. И представьте, остановился, отрезал ломоть и, видимо, так был очарован этим окороком, что съел его весь. Да и вообще, аппетиты у помещиков были легендарные: некий помещик Рышков съел в Ельце за ужином девять порций цыплят. А вот Петр Николаевич Бунин заваривал кофий — в чем вы думаете? — в самоваре!

Воспользовавшись тем, что Ксения Васильевна на время удалилась на кухню, Деникин и Бунин перешли к другим, теперь уже политическим темам. Бунин из чувства такта не хотел говорить о причинах поражения Белого движения и тем более винить в этом поражении Деникина. Но Деникин сам дал ему повод затронуть эту тему.

— Признаюсь, Иван Алексеевич, — разоткровенничался Антон Иванович, — никогда не смогу простить себе, что проиграл битву, от которой зависела судьба России. Но что я мог поделать? Революцию начал народ...

— Нет уж, извольте с вами не согласиться! — возразил Бунин. — Вы повторяете небылицы, рожденные некото-

рыми интеллигентами. Нет, вовсе не народ начал революцию! Народу было совершенно наплевать на все, чего хотели интеллигенты, большевики. Они — фанатики, исступленно верят в мировой пожар. И всего боятся как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть и за свою жизнь. Разве вы не видите? Да вы только вспомните, что они сотворили! Появился у них «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, настоящее умопомешательство.

— Одна надежда, что скоро народ одумается, поймет, в какую пропасть его ведут, — вставил Деникин.

— Черта с два он одумается! — горячо продолжал Бунин. — Десятки, а может, и сотни лет пройдут, пока он одумается! Уж я-то знаю, ох как знаю русского мужика! Как вспомню свое пребывание в этом адском котле, так оторопь берет: день и ночь в ожидании смерти! Да что там говорить! Одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. — Он помолчал, выпив еще и доев «бутерброд» с горчицей, проникновенно воззрелся на Деникина. — А сколько надежд возлагал я на вас, дорогой вы мой Антон Иванович! Когда вы брали один за другим российские города, одни названия которых приводили мою душу в трепет, — какая чудная музыка пела во мне! А когда мечты не сбылись — все померкло, я с ужасом обнаружил, что во мне исчезло даже ощущение весны! Зачем, спрашивал я себя, зачем мне теперь весна?! А эти окаянные словоблуды талдычили: «Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» Реки крови, море слез, а они?! А Горький еще и подпевал: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...»!

Произнеся это, Бунин едва не застонал от злости и возмущения.

— Да, русский мужик — это особый мужик, — несколько успокоившись, продолжил Бунин. — Права пословица: посади мужика у порога, а он под образа лезет.

— Сам по себе русский мужик хорош, — заметил Ан-

тон Иванович, — но уж если его отравить каким-либо зельем, а пуще того, ядом, — он становится страшен; по бо- роде Авраам, а по делам Хам.

— Молодец Орлов-Давыдов! Знаете, какую телеграмму прислал он мужикам, разграбившим его имение? «Жгите дом, режьте скот, рубите лес, оставьте только одну березку — на розги и елку, чтобы было на чем вас вешать».

— Казнями ничего не решишь, — вздохнул Деникин. — Только озлобление вызовешь. Народ сам про себя хорошо сказал: «Из нас, как из дерева, — и дубина и икона». Все зависит от того, кто это дерево обрабатывает.

— Была Россия! Была! — сокрушенно воскликнул Бунин. — Где она теперь? Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят! Вам-то не знать, что, к примеру, в Киеве офицерам прибывали погоны! Людоеды! Читал такую газетенку — «Власть народа». В ней передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру». Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?! Выходит, народу, революции все прощается. Прибили к плечам погоны гвоздями — это, видите ли, всего лишь «экспессы». А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито — родина, матери, отцы, сестры, — «экспессов», конечно, быть не должно.

— Все это — как страшный сон! — слушая слова Бунина, сказал Деникин.

— А знаете, за что я возненавидел Блока? — все более хмелея, спросил Бунин. — Сей сладкоголосый пиит призывал: «Слушайте, слушайте музыку революции!» Ничего себе музыка: расстрелы, грабежи, еврейские погромы.

— Да, революция — это стихия...

— Куда там! Землетрясение, чума, холера тоже стихия. Однако никто не прославляет их, с ними ведут борьбу. Как-то в Петербурге, на улице, встретил некоего профессора Щепкина, который умудрился пристроиться на роль «комиссара народного просвещения». Идет медленно, с идиотской тупостью смотрит вперед. Красный бант в петлице. Помешались на красном цвете! И

вспомнилось мне, как большевик Фельдман как-то выступал перед крестьянскими «депутатами». Орет: «Товарищи, скоро на всем свете будет только власть Советов!» И тут — голос из толпы: «Сего не буде!» Фельдман яростно встопорился: «Это почему?!» Из толпы — тут же ответ: «Жидов не хватает!» А я подумал: ничего, не беспокоитесь, зато хватят Щепкиных.

— Бесконечно прав Достоевский, — заметил Деникин. — Помните, он писал в том смысле, что если дать всем этим учителям полную возможность разрушать старое общество и строить новое, выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено.

— Пророческие слова! — подхватил Бунин. — Рухнет, непременно рухнет! Но пока все в своих стальных руках держит диктатор. Рухнет диктатор — рухнет и здание!

— Да, по мере умножения царства Христа будет возрастать и царство Антихриста, — убежденно сказал Деникин.

— Весьма одобряю, Антон Иванович, ваше стремление запечатлеть историю великой смуты и гражданской войны. — Кажется, Бунин устал от проклятий в адрес революции и большевиков. — Читал, с пристальным вниманием читал ваши «Очерки». Не горазд я на похвалу, но тут могу твердо и искренне сказать: «Молодец русский генерал!»

— Высоко ценю ваши добрые слова, — обрадовался Деникин. — Сказал бы это кто другой — пропустил бы мимо ушей, а ваша оценка растрогала меня до глубины души. Благодарен вам, бесконечно благодарен, дорогой Иван Алексеевич!

Бунин заговорил на другую тему:

— Антон Иванович, чуть не забыл! Знаете, какой плакат я видел в Москве? Нарисована краснорожая баба с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами. В руках — вилы, она их всадила в зад убегающему генералу. Генерал — с вашим лицом, естественно окарикатуренным, Антон Иванович! Из зада хлещет кровь! И подпись: «Не зарись, Деникин, на чужую зем-

лю!» Питекантропы! Как язык коверкают! Вместо «не зарься» накатали «не зарись»! И еще вам в назидание, Антон Иванович, выдержка из красной газеты. Это по поводу вашей декларации с обещанием прощения красноармейцам, которые сдадутся в плен. И что они пишут: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача». Ну как, нравится?

— Очень, — улыбнулся Деникин. — Да и что иного можно было от них ожидать? Честно говоря, меня это уже не трогает.

— Хочу дать вам один совет, — пристально глядя на Деникина, произнес Бунин. — Не будьте отшельником, не замыкайтесь в келье со своим гусиным пером. Ваш авторитет и теперь велик. Надо спланировать вокруг себя белую эмиграцию.

— Это мне уже не по силам, — честно признался Деникин. — Да вы, вероятно, и сами видите, что эмиграция уже не та. Раздоры, склоки, сплетни, грызня за первенство в эфемерной власти... И главное, чего я не приемлю — это готовность иных лидеров нашей эмиграции вернуться в Россию на чужеземных штыках.

Бунин, промолчав, выпил еще одну рюмку.

Говорили они до позднего вечера, спорили, но каждый понимал, что все останется по-старому и в среде белой эмиграции, и в самой России. По крайней мере, до тех пор, пока там правит Сталин.

...Прощаясь уже близко к полуночи, Бунин сказал:

— Жаль, не повидал я Куприна. Тут уж, наверное, мы поспорили бы с ним не так, как с вами: до кулаков бы, пожалуй, дошло.

— Болеет старик, — сказал Деникин.

— Самолюбив до бешенства, — заметил Бунин. — Знаете, как он часто повторял? «Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую».

Оглянувшись, он увидел вышедшую в прихожую проводить его Ксению Васильевну.

— Простите, ради бога, милейшая Ксения Васильевна. — Бунин, хотя и был изрядно пьян, не забывал об

этикету. — Если бы знал, что вы меня слышите, никогда бы не цитировал этого забияку Куприна.

— Да прощаю вас, прощаю, Иван Алексеевич! — воскликнула Ксения Васильевна. — Счастлива была видеть вас, истинный бог, счастлива. Только одна у меня к вам просьба. Исполните? — Она лукаво прищурилась.

— Любую вашу просьбу исполню! — горячо заверил ее Бунин.

— Никогда больше не ругайте при мне Чехова!

— Клянусь! — И он с прежним изяществом припал губами к ее руке.

8

В кругах белой эмиграции в Париже отношение к Деникину было не только разным, но и, более того, крайне противоречивым. Одна из групп, правда не очень многочисленная, все еще считала его неким символом Белого движения, способным в перспективе выполнить роль знамени. Другие же прямо и недвусмысленно «списали» его, обвиняя во всех смертных грехах, и прежде всего в том, что именно он повинен в крахе Белого движения на Юге России. Причины тут высказывались самые разнообразные, в зависимости от направления ума тех или иных деятелей. Кто-то пытался доказать, что Деникин никудышный полководец, кто-то делал вывод, что поражение произошло оттого, что Деникин всячески увиливал от соединения с Колчаком, как на том настаивал Врангель, кто-то — главным образом из среды бывших политиков — громко и ясно объявлял, что все беды пошли от ошибочной политики Деникина, не желавшего заниматься идеологией и погрязшего в сугубо военных проблемах. Обвиняли Антона Ивановича и в том, что он не сумел как следует поладить с союзниками, восстановив их против себя и тем ограничив возможности получения необходимой помощи. Говорили, что Деникин окружил себя льстецами и бездарями и потому лишился должного авторитета в войсках. Находились даже якобы хорошо информированные личности, которые где шепотком, а где и во

весь голос намекали на то, что Деникин продался большевикам.

Деникин был хорошо осведомлен об этих настроениях, и это еще более отдаляло его от бывших соратников, от активного участия в работе Российского общевойскового союза, в который его усиленно пытались вовлечь. Уже одно то, что союз был сформирован Врангелем, вызывало у Деникина стойкую неприязнь этой организации. Правда, Антон Иванович искренне скорбел, когда узнал о кончине Петра Николаевича, кончине безвременной (барон не дожил до пятидесяти лет), но тем не менее так и не признал роли и значения РОВСа, хотя тот имел уже свои отделы во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Венгрии, Латвии, Эстонии, Литве, Болгарии, Турции, Югославии, Греции и Румынии.

Барон Врангель, возглавив РОВС, объявил, что входит в подчинение к бывшему Верховному главному российским императорскими армиями великому князю Николаю Николаевичу, который жил во Франции и вокруг которого объединились довольно широкие круги эмиграции. Великого князя прочили на роль руководителя русским национальным движением. Однажды Александр Павлович Кутепов, в свое время состоявший помощником главнокомандующего Врангеля, прислал Антону Ивановичу письмо, в котором просил высказать свои суждения по поводу предполагаемой роли Николая Николаевича. Деникин с присущей ему прямоотой ответил, что, разумеется, великий князь пользуется популярностью. Но он — знамя, которое годится лишь на то, чтобы хранить его на почетном месте. Подтекст был такой: великий князь представляет собой некую монархическую бутафорию, любые его реальные действия в условиях укрепления власти большевиков и по причине отсутствия средств неминуемо обречены на провал. Кроме того, Деникин считал, что Николай Николаевич в силу традиций своего рождения, воспитания, всей своей жизни действовать только с определенным кругом своих сторонников, а эти сторонники в силу приверженности к уже обреченным идеям и сами обречены.

В следующем письме Кутепов сообщал, что Николай Николаевич относится к Деникину с большим уважением и желает увидеться с ним, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы. Этим предложением великий князь поставил Деникина перед трудной дилеммой. Встретиться и сказать Николаю Николаевичу все, что он думает о РОВСе, и в частности о Врангеле, — значило бы не только обидеть великого князя, но и заронить в его душу немалые сомнения. Деникин же оставался верен своему принципу — не создавать помех всем тем, кто желает бороться за свободную Россию. Хорошо понимая, что отказ вызовет у великого князя обиду, Деникин тем не менее уклонился от встречи. И этот отказ всегда тяготил совесть Антона Ивановича...

Вскоре Кутепов, освобожденный в Сербии от должности помощника Врангеля, приехал в Париж и создал здесь боевой отдел РОВСа, целью которого была организация подрывной, террористической работы в Советской России. И здесь, в Париже, еще ближе сошелся с Деникиным. Даже внешне у них было много общего — и бородки клинышком, и «рыцарски» подкрученные усы, хотя взгляды были порой самые противоположные. Александр Павлович стойко держался за монархию, хотя, бывая у Деникина, всегда подчеркивал, что он вовсе не ортодоксальный монархист.

Деникин и Кутепов крепко сдружились и семьями. Дочка Деникина Марина, пока ее отец и Кутепов вели бесконечные разговоры, играла с сыном Кутепова Павликом. Более информированный в делах эмиграции Кутепов охотно сообщал Деникину новости, и вместе они «анатомировали» их в жарких, хотя и дружественных спорах. Антон Павлович особенно любил посвящать Деникина в успехи своей подпольной деятельности против Советов.

Так, захлебываясь от восторга, Кутепов рассказал Антону Ивановичу о создании на территории СССР подпольной антисоветской, промонархической организации «Трест», состоящей из кутеповских боевиков, фамилии которых Александр Павлович не скрывал от своего друга.

— Александр Павлович, дорогой, я просил бы не называть имен, — как-то сказал ему Деникин. — Право, законы конспирации велят не открывать такого рода тайны даже тому человеку, которому во всем доверяешь.

— Да кому же тогда и доверять, Антон Иванович, как не тебе. Не было у меня от тебя секретов и не будет.

— И все же, Александр Павлович, прислушайся к моему доброму совету...

Слушая рассказы Кутепова, проницательный Антон Иванович уже на первых порах испытал смутные сомнения. Он наслышан был о силе и могуществе ОГПУ и диву давался, как это боевикам Кутепова так легко удается вести подрывную деятельность в России, успешно добывать там секретнейшую информацию, проникать в святая святых большевиков.

— Антон Иванович, не сомневайся! Я же не дураков засылаю в Совдепию. Мои боевики — преданнейшие и талантливейшие люди! Один Савинков чего стоит!

— Дай-то Бог. — Деникина заверения Кутепова не могли разубедить. — Однако не забывай: все подвергай сомнению.

Не зря опасался Деникин: пришел день, когда Кутепов ошеломил его сообщением:

— Представь себе, чекисты взяли Савинкова! И какие дикие вещи он рассказывает в трибунале! Какими помощниками тебя обливает! Говорит, что Деникин, мол, не послушал его требования и советов и потому оказался банкротом. И что Черчилль якобы разделял его точку зрения и возмущался действиями генерала Деникина.

— Патентованный лжец! — возмутился Деникин.

— У тебя же есть документы, чтобы опровергнуть его клевету!

— Не стану. Зачем вредить обреченному человеку? — Деникин и в этой ситуации оставался Деникиным, для которого библейские заповеди не были пустым звуком.

В следующий раз Кутепов принес Деникину радостную весть: Шульгин, проникший в СССР, творит чудеса! Ему удалось наладить связи с лидерами «Треста» и ознакомиться с его деятельностью. Он уже, избежав всевидящего глаза чекистов, побывал в Москве, Киеве и Ленин-

граде и, восхитившись успехами «Треста», пишет сейчас книгу «Три столицы».

Деникин прекрасно знал Василия Витальевича Шульгина еще тогда, когда он был одним из лидеров правого крыла IV Государственной думы, а затем, после революции, активным борцом против советской власти. И все же столь легкое, похожее на увеселительную прогулку «путешествие» Шульгина не внушало Антону Ивановичу никакого доверия.

— А что, если все это, Александр Павлович, разыграно по сценарию ОГПУ? — без обиняков спросил он Кутепова. — Уж слишком похоже на провокацию.

— И с каких это пор ты стал болезненно осторожен? — подивился Кутепов.

— Просто я не забываю: иди вперед, а оглядывайся назад. — Упрек в болезненной осторожности не мог не обидеть.

— Так я ведь ничем не рискую, — самоуверенно заявил Кутепов. — Я «им» не говорю ничего, слушаю только, что говорят «они».

Деникин еще более насторожился по поводу деятельности пресловутого «Треста», когда оказался свидетелем и в некотором смысле участником весьма странного и загадочного события, связанного с генералом Монкевицем.

Кутепов знал, что семья Деникиных испытывает затруднения с жильем, и потому посоветовал Антону Ивановичу переснять квартиру Монкевица в бывшей резиденции французских королей городе Фонтенбло. Этот город был хорошо знаком Кутепову, так как его семья проводила там лето. Однако, пока шли переговоры и велась переписка, квартира эта оказалась уже занятой. Поэтому Деникин, приехав в Фонтенбло, снял там другой дом. Вскоре Антон Иванович встретился и с генералом Монкевицем, который жил там со своей семьей в крайней бедности.

Через несколько дней после этой встречи к Деникину пришли чрезвычайно встревоженные дочь и сын Монкевица, которых Антон Иванович видел впервые. Дети Монкевица вручили Антону Ивановичу записку отца. Прочитав ее, Деникин пришел в крайнее волнение:

Монкевиц писал, что решил покончить жизнь самоубийством, ибо совершенно запутался в денежных делах. И так как не хочет обременять семью расходами на похороны, сделает все, чтобы труп его не был обнаружен.

Вместе с детьми Монкевица Антон Иванович принялся обсуждать сложившееся положение, стараясь найти выход из ситуации. Ничего путного в голову не приходило. Оставалось одно: обратиться в местную полицию. И тогда дочь Монкевица попросила Деникина разрешения перенести к нему в дом секретные дела по кутеповской организации, которые хранились у генерала. Эту необходимость она обосновала тем, что хозяйке, к которой они незадолго до этого перебрались, деньги еще не были заплачены и она вправе арестовать их вещи. К тому же полиция, узнав о самоубийстве, тоже вмешается и, скорее всего, заинтересуется секретными материалами и документами.

Деникин согласился. Дочь и сын поздно вечером, чтобы не привлекать постороннего внимания, принесли к нему шесть чемоданов с документами и поставили в столовой. Ксения Васильевна утром поспешила на почту и послала телеграмму Кутепову с просьбой, чтобы он немедленно приехал и забрал свои вещи.

До приезда Кутепова Антон Иванович вместе с Ксенией Васильевной принялись перебирать содержавшиеся в чемоданах бумаги. Повод был явный: попытаться уберечь от возможного обыска французской полиции хотя бы наиболее важные документы. Они обнаружили в чемоданах переписку с «Трестом». Просмотрев ее, Деникин пришел в ужас: ему стало совершенно ясно, что «Трест» — самая настоящая большевистская провокация. Прежде всего настораживали письма из СССР: в них, как из рога изобилия, лилась неприкрытая лезть в адрес Кутепова. Сплошь и рядом Деникин наткнулся на перлы такого, например, рода: «Вы, и только Вы, спасете Россию, только Ваше имя пользуется у нас популярностью, которая растет и ширится...» Про великого князя Николая Николаевича в письмах говорилось весьма сдержанно, генерал Врангель же откровенно высмеивался. Во многих письмах восторженно сообщалось, что

в СССР неудержимо растет число сторонников РОВСа, беспрестанно происходят тайные съезды «Треста» с большим количеством участников, что на всех съездах Кутепов избирается то почетным членом, то почетным председателем. И не было письма, в котором бы не содержались просьбы о немедленной присылке денег и особенно новых и подробнейших сведений о деятельности РОВСа.

Деникин много раз убеждался в том, что Кутепов искренне верит в антибольшевизм «Треста» и охотно посылает в Москву все новые и новые сведения о Белой эмиграции, ее намерениях и действиях, ее лидерах и достигнутых результатах.

— Прочитай-ка вот это. — Ксения Васильевна протянула мужу какой-то документ. — Тут и о тебе вспомнили...

Деникин взял лист бумаги. В документе, поступившем из «Треста», просили срочно сообщить, какова была цель приезда в Париж генерала Деникина на так называемый «марковский праздник».

Действительно, Антон Иванович был на этом событии в роли почетного гостя, да и как он мог там не быть? Сергей Леонидович Марков был одним из самых близких сподвижников Деникина. Познакомились они еще на русско-германском фронте, куда Марков, оставив преподавание в Академии Генерального штаба, прибыл в составе штаба генерала Алексеева, а позже был назначен начальником штаба 4-й стрелковой бригады, которой командовал Деникин. Приехал он в бригаду никому ранее не известный и, следовательно, неожиданный. Тем более что Деникин просил о назначении к нему другого офицера. Интересно, что с первого же дня Марков произвел на Антона Ивановича крайне неблагоприятное впечатление. Деникин попросил его поехать на позицию, занимаемую бригадой, на что тот довольно резко заявил:

— Я только что перенес операцию, нездоров, пока ездить верхом не могу и поэтому на позицию не поеду.

Деникин, не привыкший к такого рода ответам, недовольно поморщился, штабные, присутствовавшие при этом, молча переглянулись между собой, а за глаза сразу же окрестили Маркова «профессором».

...Вскоре Деникин вместе со своим штабом выехал к стрелкам, которые вели бой у города Фриштака. Неожиданно вблизи от них разорвалась шрапнель. И тут Деникин с изумлением увидел, что в сторону цепи несется, прыгая на ухабах, огромная колымага, запряженная парой коней, а в колымаге во весь рост стоит веселый, смеющийся Марков. Увидев Деникина, он соскочил на землю, подбежал к нему:

— Ваше превосходительство! Прошу вас, извините: уж больно скучно стало в тылу. Вот примчался посмотреть, что тут происходит!

Деникин улыбнулся, лед растаял. И постепенно Антон Иванович убедился, что лучшего помощника ему не найти. Марков был молод, общителен, умел найти общий язык и с офицерами и с солдатами, подкупал своей честностью и прямоотой. В короткой меховой куртке, сдвинутой на затылок фуражке, размахивающий неизменной нагайкой, он всегда был в цепи, под огнем противника, поражая всех отчаянной храбростью. Особо он проявил себя в Карпатах, в феврале пятнадцатого года, когда бригада попала в тяжелейшее положение. Горные тропы были почти непроходимы, противник наседал превосходящими силами, бригада несла большие потери. Был тяжело ранен командир полка Гамбурцев, его нечем было заменить. Деникин мрачнее тучи в растерянности вышагивал по маленькой хате. И тут к нему подошел Марков: «Ваше превосходительство, дайте мне этот полк». Деникин растрогался: «Голубчик, пожалуйста, я очень рад!» Собственно, у самого Антона Ивановича была эта мысль, но он не решался предложить Маркову полк, ибо тот мог подумать, что его хотят устранили из штаба. И что же? Командуя полком, Марков заслужил и Георгиевский крест, и Георгиевское оружие.

Марков никогда не берег себя. Однажды Деникин совсем потерял надежду когда-либо встретиться с ним. То было во время Луцкой операции. Марков прорвал фронт австрийцев и неожиданно исчез. Целые сутки о нем не было никаких вестей. И вдруг Деникин услышал бравурные звуки духового оркестра, доносившиеся из леса. Это вел свой полк Марков.

— В такую кашу попал, что сам черт не разберет — где мой стрелки, где австрийцы, а тут еще ночь подходит. Решил подбодрить и собрать стрелков музыкой, — объяснил он Деникину причину своего исчезновения.

Деникин никогда не видел Маркова растерянным, подавленным, чувство уныния, казалось, было ему незнакомо.

И лишь однажды, под Перемышлем, он увидел Маркова в состоянии подавленности. Марков выводил из окружения остатки своих рот и был весь залит кровью. Оказалось, то была кровь командира соседнего полка, которому осколком снаряда оторвало голову, а Марков в это время стоял рядом...

Девизом Маркова было: «Одно из двух: либо деревянный крест, либо Георгий 3-й степени!»

Сергей Леонидович Марков геройски погиб в июле семнадцатого года. Это был трагический день для Деникина. На могилу был возложен венок с надписью, предложенной Антоном Ивановичем: «И жизнь и смерть за счастье Родины».

Вот на дне памяти своего генерала и побывал Деникин. И теперь чекистам не терпелось узнать, как Деникин вел себя там, какие мысли высказывал... Антон Иванович нашел среди материалов и ответ Кутепова. Александр Павлович сообщал, что политического значения факт присутствия Деникина на Марковском празднике не имеет и что добровольцы приветствовали своего бывшего Главнокомандующего, не более того.

Деникина особенно возмутил один документ, обнаруженный им в кутеповских чемоданах. Как-то он попросил Кутепова через «трестовцев» навести справки о своем тесте, который оставался в России и жил в Крыму, работая на железной дороге. Антон Иванович и Ксения Васильевна очень хотели каким-то образом перевезти одинокого пожилого человека во Францию. Обращаясь к Кутепову, Деникин просил, чтобы тот в своем запросе ни в коем случае не говорил о родстве старика с проклятым в СССР генералом. И вот после этого Антон Иванович обнаружил кутеповский запрос со следующим текстом: «Деникин просит навести справки, сколько будет

стоить вывести его тестя из Ялты!» Деникина едва не хватил удар!

Когда чемоданы с секретными материалами у Деникина забрал помощник Кутепова по конспиративной работе полковник Зайцев, Антон Иванович высказал Александру Павловичу свои упреки, с трудом сдерживая гнев. Кутепов же был абсолютно безмятежен и не находил в своем запросе ничего страшного:

— Антон Иванович, дорогой, уверяю вас, что я писал очень надежному человеку.

— Мне не хочется порывать с вами, Александр Павлович. — Деникин никак не мог успокоиться, тем более что беспечность Кутепова еще более взорвала его. — И потому не скажать: вы или очень наивны, или слишком самоуверенны! Я вновь и вновь не устану повторять вам, что «Трест» — не ваш, «Трест» — это собственность ОГПУ! Неужто до вас до сих пор не дошло, что это самый настоящий капкан?!

Но даже такие гневные слова не смогли поколебать Кутепова.

— Пока нет оснований ставить «Трест» под сомнение. И кроме того, «Трест» — не единственная организация, в которой действуют мои люди. У меня есть еще другие «окна» и «линии». Конспирация отменная! Они не связаны между собой, абсолютно автономны и даже не подозревают о существовании друг друга!

Однако предчувствия Деникина начинали сбываться. Один из тайных сотрудников «Треста» Эдуард Оттович Опперпут, якобы готовивший операцию по свержению большевиков, взявший себе псевдоним Стауниц, бежал из России в Финляндию и там объявил во всеуслышание, что «Трест» — не более чем ловушка, западня, созданная для отлавливания белоэмигрантов деятелями ОГПУ. Потом уже выяснилось, что это «разоблачение», предпринятое ОГПУ, было нацелено на то, чтобы скомпрометировать Кутепова. Но пока Кутепов не только попался на «приманку» Опперпута, но и послал ему в помощь своего доверенного офицера. Эта пара отправилась в Москву для совершения террористического акта, однако замысел не

удался, кутеповец погиб, а Опперпут исчез, о чем Деникин узнал из советских газет.

Особые надежды Кутепов возлагал на некую Марию Владиславовну Захарченко, женщину с весьма экстравагантной биографией. Александр Павлович, захлебываясь, рассказывал о ней Деникину:

— Антон Иванович, дорогой, это не женщина, а сущий клад! Можешь поверить, эта дама служила в гусарском полку, участвовала в двух войнах. Представь себе, она много раз ходила в атаку. И даже некоторое время была командиром партизанского отряда. Смелая до безумия! А женщина, какая женщина! — Кутепов говорил о женских достоинствах Захарченко так, будто сам имел с ней близкие отношения. — Трижды была замужем! Вместе с третьим мужем отправилась по моему заданию в СССР. Они удивительно удачно добрались до Москвы и сняли там квартиру. Позже их пригласил жить у себя Опперпут. И что ты думаешь? Она в него встрескалась по самые уши! И они вдвоем создали целую организацию! Представляешь, какие незаурядные таланты! Назвали ее «Союз национальных террористов». Опперпут прислал мне донесение. Он считает необходимым отравление нескольких советских пароходов, груженных хлебом, уничтожение элеваторов, потопление советских нефтеналивных судов. Представляешь, если это сбудется, какой потрясающий получится эффект! Тут и массовые отравления, и срыв контрактов на поставку нефтепродуктов, и колоссальные неустойки. Мало того, он намерен организовать серию взрывов в южных портах России.

Деникин слушал Кутепова внимательно, взвешивая каждое его слово, и недоверие все прочнее укоренялось в нем. Слишком уж фантастичным выглядело все это. Но Кутепов стоял на своем.

Лишь трагедия, случившаяся вскоре, наконец показала, кто был прав, а кто жестоко заблуждался...

Морозным январским днем 1930 года Александр Павлович Кутепов, объявив своей жене, что отправился в церковь Галлиполийского союза на улице Мадемуазель, вышел из дома. Телохраниителей, бывших своих сослуживцев,

генерал отпустил, так как день был воскресный и он хотел, чтобы офицеры провели выходной по собственному усмотрению.

Часы показывали половину одиннадцатого утра, когда Кутепов покинул свою квартиру на улице Русселя. Жене он сказал, что вернется домой не позднее часа дня.

Едва генерал отошел от дома на какую-то сотню шагов, как рядом с ним заскрежетали тормоза подъехавшей автомашины. Кутепов удивленно оглянулся. Еще минута — и выскочившие из машины неизвестные цепко и жестко схватили его за руки.

— В чем дело, господа? — изумился Кутепов.

Неизвестные молча втолкнули его в машину. Кутепов пытался сопротивляться, но тут же почувствовал резкий запах: ему на лицо набросили смоченный эфиром платок.

Машина на бешеной скорости понеслась в сторону морского побережья. Нашлись очевидцы, которые утверждали, что видели своими глазами, как генерала волокли по морскому пляжу к стоявшей у пристани моторке...

Уже много позже Деникин узнал, что Кутепова переправили на советский пароход «Спартак». Не узнал он только того, что Александр Павлович скончался от сердечного приступа на корабле по пути в Новороссийск. В тот самый Новороссийск, из которого он бежал в двадцатом году.

Круг замкнулся...

9

В тот солнечный ветреный день, когда Марина Ивановна Цветаева появилась у Деникиных, Антону Ивановичу почудилось, что в доме засверкал фейерверк. Впрочем, «появилась» совершенно не соответствовало тому, что произошло: Марина ворвалась в дом как штормовой порыв ветра. Ее летящий шаг, дорожная сумка, перекинутая через плечо, как у почтальона, порывистые движе-

ния, то тревожные, то радостные взгляды светло-зеленых глаз сразу же вызвали у Антона Ивановича смутное беспокойство, ощущение того, что установившийся в доме покой сегодня будет взорван, что этот неожиданный гость будет совсем не таким, каких генералу уже доводилось у себя принимать.

Едва поздоровавшись, Марина, не ожидая приглашения, уселась на диван и вперила в Деникина огромные, жаждающие немедля утолить любопытство, вопрошающие глаза. Это длилось настолько долго, что Антон Иванович смущенно заерзал на стуле.

— Все понятно! — вдруг громко воскликнула Марина, радуясь так, как обычно радуются люди, открывшие до толе неразгаданную тайну. — Да вы и не могли победить! Не могли! Вы были обречены на поражение!

Деникин вздрогнул от обиды, хотя где-то в глубине души и сознавал правоту ее беспощадных слов.

— А я-то надеялась, а я-то верила, самозабвенно, до одури! Какая же я была идиотка! Побеждают гордые, смелые, не знающие сомнений! Побеждают герои, а не приходские священники!

Сравнение с приходским священником еще более оскорбило Деникина, он едва удержал себя от того, чтобы встать и уйти, дав понять взбалмошной гостье, что не желает слушать ее вздорные обвинения. Кажется, она сразу почувствовала это. Лицо ее, только что горевшее праведным гневом, сказочно преобразилось. Теперь на Деникина смотрела улыбчивая, добрая, едва ли не влюбленная в него женщина.

— Да вы не придавайте значения моим бредням! — вскричала она, теперь уже радуясь, что воспринимает Деникина совсем по-другому. — Просто в мою сумасбродную голову втемяшились обычные штампы! Именно такие, как вы, мученики идеи, страдальцы за народ, люди, лишённые героического ореола, и призваны побеждать!

— Однако же я потерпел поражение... — начал было Деникин.

— Нет! — почти истушленно воскликнула Цветаева. — Вы — победитель! Белые победили своей идеей —

чистой, праведной, неистребимой! Разве я стала бы воспевать побежденных? Никогда!

Она выхватила из сумки пачку папирос, нервно вытащила одну, долго чиркала спички о коробок, беспрестанно ломая их, и наконец закурила.

Ксения Васильевна поспешно отвела укоризненный взгляд: она не привыкла к такой беспредемонности, да к тому же и не переносила запаха табака.

— Вы не рады моему визиту? — Марина стремительно сменила тему. — Но я не могла не прийти! Я жаждала лицезреть знамя Белого движения!

Деникина покорило от возвышенных слов, ему хотелось остановить ее, но он не посмел. И вообще он не мог понять, как надо вести себя с этой эмоциональной взрывчатой поэтессой.

— Напротив, я очень рад... Мы рады... — поспешил заверить ее он.

— Я не могла не прийти, тем более после того, как узнала, что вас навещал Бунин.

— Да, да, я был очень рад его визиту, — подтвердил Антон Иванович.

— Это удивительно, — уже спокойно заговорила Марина. — Бунин — не прост. С ним нелегко вести беседу.

«Как, впрочем, и с тобой», — невесело подумал Деникин.

— К тому же Бунин так высоко несет себя — как на блюде! Сам перед собой благоговеет, будто он единственный гений земли русской.

Антону Ивановичу были неприятны эти слова, особенно потому, что они произносились как бы за спиной Бунина, в его отсутствие. Но он промолчал, не опровергая Цветаеву, но и не соглашаясь с нею.

Ксения Васильевна между тем пригласила гостью за стол. Марина восторженно ахнула, увидев перед собой деликатесы, не догадываясь, впрочем, что эти яства — из старых запасов, в том числе и из тех, что приносил Бунин. Особенно же Марине понравилось красное французское вино. Она наслаждалась им, то и дело затягиваясь папиросой. Вино сделало ее еще более раскованной.

Когда Деникин поинтересовался, как ей живется в Париже, Цветаева, несмотря на свою обычную гордость, пустилась в откровения:

— Нищеты, в которой я живу, вы себе представить не можете — у меня же никаких средств к жизни, кроме писания.

— А муж? — поинтересовалась Ксения Васильевна. — Ваш муж — Сергей Эфрон? Кстати, Антон Иванович знает его, он же служил в Добровольческой армии.

— Прекрасный был офицер, — подтвердил Антон Иванович.

— Сейчас он болен, работать не может. Дочь вяжет шапочки, представляете — пять франков в день, всего-то! На них вчетвером и живем, если это можно назвать жизнью, просто медленно подышаем с голоду. У меня же еще и сын... А Серж спит и видит Россию, уговаривает меня вернуться.

— Боже упаси! — с тревогой воскликнул Деникин. — Боже вас упаси от этого губительного шага! России сейчас нет — есть некая Совдепия!

— Так и ему пытаюсь внушить то же самое! — всплеснула руками Цветаева. — Куда там, и слышать не хочет.

— А вы ему почитайте Достоевского, — посоветовал Антон Иванович. — Я тут недавно наткнулся на весьма занятное место из его писаний. Как будто о нынешней России. Не ручаюсь за точность цитаты, но смысл такой: если дать всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить новое, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, бесчеловечное, что все здание рухнет, прежде чем его возведут. Причем рухнет под проклятиями всего человечества!

— Достоевский? — переспросила Цветаева. — Но у меня нет сил читать даже Достоевского! — Она расчувствовалась окончательно. — Мне душно здесь. Нет, нет, не у вас, здесь, на чужбине. Хочу быть свободной от всего. Быть одной и писать. Особенно утром и днем. Но жизнь съедает у меня утро и день, а вечером — люди. Можно прийти в отчаяние — я и прихожу! И никто не виноват. Не виноваты же дети! Виновата сама. Сережа часто скры-

вается из дому... Эх, удрать бы на какой-нибудь остров Пасхи! Исчезнувшая культура полинезийцев! Каменные скульптуры, дощечки, покрытые письменами! Вот чего мне не хватает, а не русских березок!

— Остров Пасхи? — задумчиво произнес Деникин. — Но там же вулканы...

— Таких вулканов, на которых мы сидели в России, нигде больше не сыщешь! — Глаза Марины горячечно блеснули. — А здесь нас выплеснули на берег, вот мы и трепыхаемся, как рыбы, с открытыми ртами. И все благодаря вашей милости. Ну кто, кто мешал вам войти в Москву? Все было бы сейчас по-другому!

— Это долгий разговор, — сухо заметил Деникин. — Да и не в моих правилах оправдываться...

— А хотите, я вам почитаю стихи? — неожиданно предложила Цветаева, и уже от самого предчувствия, что сейчас будет читать, опять неузнаваемо преобразилась. Сейчас напротив Деникина сидела помолодевшая привлекательная женщина.

— Еще бы! — обрадованно воскликнул Деникин.

— Будем счастливы! — подтвердила Ксения Васильевна.

Марина порывисто встала из-за стола, будто взошла на эстраду. Она выглядела гордой. Независимой, всем своим видом показывая, что живется ей прекрасно, что она испытывает истинное счастье.

В голосе ее, когда она читала стихи, слышалось что-то колдовское:

— Где лебеди? — А лебеди ушли.
— А вороны? — А вороны — остались.
— Куда ушли? — Куда и журавли.
— Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались.
— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
— Куда возьмет? — На лебединый Дон.
Там у меня — ты знаешь? — белый лебедь...

— Господи... — тихо прошептала Ксения Васильевна и заплакала.

А Марина продолжала без пауз, и трудно было понять, продолжает ли она читать все то же стихотворение, или это уже совсем другое:

Белогвардейцы! Гордые узел
Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди
Песенки русской!
Белогвардейцы! Белые звезды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди
В ребра Антихристу!

Теперь уже не выдержал Антон Иванович. Он низко склонил голову над столом и закрыл лицо ладонями.

— А вот еще! — воскликнула Марина. — Это — как клятва:

Ветреный век мы застали, Лира!
Ветер, в клоки изодрав мундиры,
Треплет последний лоскут шатра...
Новые толпы — иные флаги!
Мы ж остаемся верны присяге,
Ибо дурные вожди — ветра.

Деникин встал, подошел к Цветаевой, бережно взял ее ладонь, трогательно поцеловал. Теперь он прощал ей все дерзости.

— Все это писалось еще в восемнадцатом, — заметила Марина. — Это — как прощание с жизнью...

— Нет! — горячо воскликнул Антон Иванович. — Это — гимн, настоящий гимн Белому движению! Ни одному историку не удастся так запечатлеть эту страницу русской истории, как это удалось вам, дорогая Марина Ивановна, своими стихами.

— Ваш отзыв дорого стоит, — смущаясь, призналась Марина. — И уж коль вы так меня превозносите, прочту еще и лирику:

Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой.
Твой день седьмой, твое седьмое небо.
Там, на земле, мне подавали грош
И жерновов навешали на шею.
— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея!

...Вызвав неприязнь Деникиных при своем появлении, Цветаева к моменту своего ухода совершенно обворожила их. Они наперебой приглашали ее заходить к ним в любое время.

Уже на пороге Цветаева с прежней пристальностью посмотрела на Антона Ивановича и тихо прошептала:

— *Badate, e passato un quarto d'ora della vostra vita.*

— Что она сказала? — спросил Антон Иванович, когда захлопнулась дверь.

— Она воспроизвела слова дежурного монаха в монастыре Неаполя. Этот монах четверть часа стучит в келье и произносит одну и ту же фразу: «Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни».

10

Из записок поручика Бекасова

Таинственные события, произошедшие в Париже в 1937 году, участниками которых оказались генералы Деникин, Миллер и Скоблин, могли бы послужить прекрасным сюжетом для детективного романа, и если бы я был мастером этого жанра, то непременно написал бы такой роман. Но если не дано, то не дано. И потому расскажу об этом в привычном мне стиле.

Надо сказать, что после исчезновения Кутепова Российский общевойсковой союз возглавил генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. На русско-германском фронте он, выпускник Академии генерального штаба, командовал корпусом, а в гражданскую войну после высадки англичан на Севере России был назначен Колчаком главнокомандующим войсками северных областей.

Я не хочу обидеть Евгения Карловича, но, к сожалению, он не обладает тем качеством, которым в полной мере обладает Деникин, а именно природной интуицией, своеобразным «шестым» чувством, способным уберечь всякого, обладающего им, от грозящих неприятностей и даже от смертельной опасности.

А коль Миллер этим ценнейшим качеством не обладал, то и совершил непоправимую ошибку: еще в 1935 году он поставил во главе самого конспиративного отдела

РОВСа, который вел пристальное наблюдение за «неблагонадежными» эмигрантами, а также занимался подбором агентов для засылки в СССР, некоего генерал-майора Скоблина.

Уже при самой первой встрече с этим человеком у меня возникла к нему стойкая антипатия. Сперва я даже сам себе не мог ответить на вопрос, в чем источник этой неприязни. Казалось бы, Скоблин по своим внешним данным должен был бы воздействовать на окружающих самым благоприятным образом: это был еще сравнительно молодой мужчина (к тому времени ему было едва ли за сорок), он был атлетически сложен, динамичен, умел привлекать к себе нужных ему людей, пользовался неизменным успехом у женщин. Совершенно безупречен был и его послужной список: еще в 1917 году он вступил в 1-й ударный Корниловский отряд. Деникин назначил Скоблина командиром Корниловского полка, а у Врангеля он стал командиром Корниловской дивизии.

Я долго думал: чем же он так не нравился мне, хотя и пытался завоевать мое расположение, конечно же, главным образом потому, что знал о моих близких многолетних отношениях с Деникиным? И вдруг меня осенило: его то испуганные, то жестокие, то горделивые, но неизменно бегающие глаза — вот что вызвало у меня не только смутное беспокойство, но и понимание того, что на этого человека нельзя положиться! Хотя, видимо, многие и не придавали этому значения, как не придавал и генерал Миллер. А зря...

Чтобы читателю представить Скоблина более обстоятельно, я вынужден хотя бы коротко рассказать о его личной жизни.

Случилось так, что осенью 1919 года в Одессе корниловцы, изгнав красных, слушали гастролировавшую там чрезвычайно популярную эстрадную певицу Надежду Васильевну Плевацкую. У нее было шикарное меццо-сопрано, и ее хорошо знали в России как исполнительницу русских народных, главным образом городских песен. Многочисленные поклонники нарекли Плевацкую «курским соловьем», и, пожалуй, вполне заслуженно.

Нелишне будет отметить, что Плевацкая — это ее фамилия по первому мужу, поручику, который погиб на русско-германском фронте. Девичья фамилия ее была Дежка, и происходила она из бедной крестьянской семьи Курской губернии. Благодаря своему прекрасному голосу Плевацкая оказалась в Москве и вскоре стала петь в Большом зале консерватории. Почитателем таланта певицы был даже сам Николай Второй.

Росту своей небывалой популярности Надежда Плевацкая обязана знаменитому Собинову, который всячески содействовал ей в продвижении на сцену мировой эстрады. Да что там говорить! Сам Сергей Васильевич Рахманинов аккомпанировал Плевацкой в ее турне по Америке в 1927 году!

Возвращаясь назад, к девятнадцатому году, замечу, что Плевацкая, попав к белым, сразу открестилась от красных и увлеклась красавцем корниловцем Скоблиным. Она быстро окрутила его, они обвенчались, причем с благословения самого Деникина, почти точь-в-точь, как это произошло и у нас с Любой. Вместе они эмигрировали во Францию.

Скоблин стал выступать в роли антрепренера своей жены, устраивал ее гастрольи. И все бы ничего, но, как это часто происходит со знаменитостями, успех Плевацкой постепенно начал сходить на нет, а это привело к резкому снижению доходов. И разве кто-либо мог даже подумать, что этим обстоятельством воспользуются чекисты, которыми в ту пору был наводнен Париж, воспользуются для того, чтобы использовать эту известную пару в своих целях. Иначе чем объяснить стремительную перемену в жизни Скоблина и Плевацкой? Совершенно неожиданно они приобрели роскошный двухэтажный дом в предместье Парижа и дорогой автомобиль. К тому же — зажили на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем, устраивали многолюдные пирушки и отправлялись в поездки по разным странам.

Разумеется, все это воспринималось окружающими как везение и почти не вызывало подозрений. Лишь Деникин относился к Скоблину настороженно, но старался не показывать этого...

Однажды Скоблин с какой-то странной улыбкой вручил мне пакет для передачи Деникину.

— Что это? — поинтересовался я.

— Это приглашение Антону Ивановичу. — Все та же улыбка не сходила с его самодовольно-многозначительного лица.

— Приглашение? — переспросил я. — Куда?

Скоблин изобразил крайнее удивление и посмотрел на меня взглядом, каким обычно смотрят на несмышленного подростка.

— Неужто вы запомнили? — произнес он с нескрываемой укоризной. — Нашему родному Корниловскому полку исполняется двадцать лет! Знаменательнейший юбилей! Кстати, вот вам тоже персональное приглашение, я не забываю, что вы ходите у Антона Ивановича в любимчиках!

Меня покорило от его слов, но я решил не связываться.

— Благодарю, — коротко и сухо ответил я, принимая пригласительный билет.

— Смотрите, не перепутайте дату — девятнадцатое сентября, — вновь, будто он разговаривает с мальчишкой, назидательно произнес Скоблин. — Простите, но не имею времени продолжать далее наш приятный разговор. Еще столько организационных дел! Завидую вам, что вы не вовлечены в эту сложную юбилейную чехарду.

Заметив, что я крайне удивлен его словами, пояснил:

— Представьте, сколько обид, сколько упреков приходится мне выслушивать, причем совершенно незаслуженно! Одних не устраивает предложенный им ряд в зале, других заранее беспокоит, что их имена не будут упомянуты в докладе, третьи чуть ли не падают от инфаркта из-за того, что им, видите ли, не предложено места в президиуме. А каково мне? Неужто и вы не пожалеваете бедного корниловца?

— Весьма вам сочувствую, — едва не усмехнулся я и откланялся.

Когда Деникин вскрыл конверт и ознакомился с пригласительным билетом, оказалось, что ему оказана высокая честь — находиться в президиуме на корниловских торжествах, причем было даже помечено, что его мес-

то — справа от председательствующего Скоблина, слева от него должен был сидеть генерал Миллер.

— Разумеется, юбилей корниловцев мне дорог, — сказал Деникин. — Вот только душа не лежит сидеть рядом со Скоблиным.

Он помолчал, раздумывая, видимо, откровенничать со мной или нет, но все же продолжил:

— До меня доходили сведения еще в прошлом году, что этот бравый генерал каким-то неведомым образом связан с НКВД.

Для меня это не было открытием: я знал, что год назад состоялся строго засекреченный суд чести старших генералов, на котором Скоблину и были предъявлены эти обвинения. Однако он каким-то чудом выкрутился, скорее всего, потому, что суду не доставало конкретных фактов и прямых улик, а слухи, как известно, к делу не подопьешь. Однако же Миллер поспешил снять Скоблина с должности начальника секретного отдела РОВСа, как он говорил, «на всякий случай, ибо дыма без огня не бывает». После этого долго дебатировался вопрос о том, кому быть главным на корниловских торжествах, и все же решили доверить это Скоблину, ибо он-то и был командиром Корниловского полка и проявил в боях отчаянную храбрость.

Торжества прошли так, как и полагается торжествам подобного рода. Было много речей, в которых прославлялось Белое движение, подвиги корниловцев, было много трогательных, порой весьма длинных и утомительных воспоминаний, немало было пролиты искренних слез, прозвучали громкие клятвы в верности России и готовности продолжать борьбу за ее освобождение от большевизма. Все было так, как бывает, когда прошлое вдруг оказывается нужным всем и воспринимается как лучшее время жизни. Антон Иванович так расчувствовался, что, кажется, напрочь забыл о своей неприязни к Скоблину. На последовавшем затем банкете он то и дело чокался со своими сподвижниками, совершенно не принимая во внимание настойчивые наставления Ксении Васильевны «не перебирать и соблюдать меру» с учетом возраста. Особенно долго и трогательно он беседовал с генералом Шапроном дю Ларре, приехавшем из Брюсселя вместе со

своей женой — дочерью генерала Корнилова Натальей Лавровой. Он много расспрашивал Наталью Лавровну и ее сына, которого родители в честь бабушки назвали Лавром, с искренней печалью вспоминал о Лавре Георгиевиче и так же искренне сожалел, что сегодня генерала нет на этом торжестве.

На этом юбилей не закончился, завершилась лишь его парижская часть. Через несколько дней юбилейные торжества должны были продолжиться в Брюсселе. Когда уже все далеко за полночь расходились по домам, к Деникину подошел Скоблин. Он был в прекрасном расположении духа, разгорячен вином и говорил с Антоном Ивановичем как бы на равных.

— Как вам наш юбилей, ваше превосходительство? — осведомился он, подчеркнув слово «наш», будто Деникин не имел прямого отношения к Корниловскому полку. Вероятно, он при этом надеялся, что Деникин осыплет его комплиментами и благодарностями, подчеркнув особые заслуги Скоблина как главного организатора торжеств. Однако Антон Иванович не вышел за грань официальнойности.

— Я счастлив, что мы не забываем о корниловцах, они достойны большего, — ответил он на вопрос Скоблина.

Я заметил, что главный организатор был явно неудовлетворен.

— А ведь еще мы гульнем и в Брюсселе! — тем не менее бодро воскликнул Скоблин.

— Гульнем? — с недоумением переспросил Антон Иванович. — «Гульнуть» можно и без всякого повода. Вряд ли это подходит для юбилея такого рода.

— Простите, ради бога! — Скоблин понял, что сказал чужь. — Вырвалось дурацкое словечко помимо моей воли! И во всем виноваты эти французские вина. Впрочем, корниловцы всегда умели и воевать и гулять!

— Согласен, — сказал Деникин, видимо желая положить конец неприятному разговору.

— Ваше превосходительство, перед тем как проститься, хочу предложить вам свои услуги. Я надеюсь, что вы пожалуете и в Брюссель, где будете самым почетным и желанным гостем. Но не добираться же вам туда на перекладных! У меня в распоряжении автомобиль. С огром-

ным удовольствием довезу вас на своей машине. Сделайте милость, окажите мне эту высокую честь! Мы можем выехать завтра же.

Деникин задумался. Я сразу был против того, чтобы принимать предложение этого человека, благо, еще не стерлось в памяти таинственное исчезновение генерала Кутепова. Но как предупредить об этом Антона Ивановича? Я был крайне взволнован: вдруг Антон Иванович согласится? И успокоился только тогда, когда Деникин вежливо поблагодарил Скобелева и добавил:

— Хорошо, я подумаю. С некоторых пор я перестал загадывать даже на день вперед. Как говорится, доживем до понедельника.

На том мы и расстались...

На следующий день я проснулся довольно поздно и не спешил к Деникину, полагая, что после обильных возлияний на банкете генерал тоже встанет не рано. Однако я ошибался.

Когда я приехал в Севр, пригород Парижа, где в то время квартировали Деникины, генерал был уже на ногах. Я осведомился первым делом о его самочувствии.

— Самочувствие отличное! — бодро воскликнул Антон Иванович и тут же предложил мне «пропустить» рюмочку коньяку, как он выразился, для достижения «баланса» в организме.

— Я уже пропустил, — признался он. — И не одну. Первую — когда проснулся, благо супруга еще спала. А еще две — на пару с неутомным Скоблиным.

— Со Скоблиным?! — удивлению моему не было предела. — Он уже побывал у вас?

— Представьте себе, — улыбнулся Деникин. — Примчался ни свет ни заря. Ему все не терпится лихо прокатить меня на своем автомобиле!

— И вы согласились? — встревоженно спросил я.

— За кого вы меня принимаете? Сказал, что на автомобиле такой марки, как у него, меня укачивает.

...Двадцать второго сентября Скоблин снова наведася к Деникину.

— Никогда не прощу себе, ваше превосходительство, если лично не доставлю вас в полной целостности и сохранности в Брюссель!

Но и на этот раз Антон Иванович вновь проявил характер и, сославшись на сильное недомогание, сказал, что вряд ли он вообще сможет поехать в Бельгию, хотя очень хотел бы этого.

И правильно сделал, что отказал Скоблину! Вскоре я узнал ужасную новость: в тот день, когда Скоблин нанес визит Деникину, всего несколько часов назад этот перевертыш уже «доставил» на торжества своего начальника генерала Миллера.

Оказывается, перед тем как ехать в Брюссель, Скоблин пригласил Евгения Карловича якобы на встречу с германскими представителями. Он привез его в район Парижа, где советское посольство имело дома. Вместе со Скоблиным Миллер вошел в здание пустующей в этот день школы, в которой учились дети советских дипломатов. Их сопровождал довольно крупный, физически крепкий мужчина. Прошло некоторое время, и у подъезда школы остановился небольшой грузовик с дипломатическим номером. Связанного Миллера впахнули в грузовик. Машина, с места набрав скорость, помчалась в Гавр, на торговую пристань, где был пришвартован советский пароход «Мария Ульянова». Едва Миллер оказался на пароходе, как «Мария Ульянова» развела пары и поспешно отчалила от пристани. Позднее стало известно, что Миллера доставили в Ленинград, а оттуда препроводили на Лубянку. И вряд ли есть необходимость пояснять, чем заканчиваются подобные «путешествия»...

Так вот, после проведения «операции» с генералом Миллером Скоблин имел наглость приехать к Деникину и уговаривать его отправиться вместе с ним в Брюссель!

— Вы были бы там же, где и генерал Миллер, — сказал я Антону Ивановичу много позднее, когда «раскрутилась» вся история, связанная с «деятельностью» генерала Скоблина.

А история была такова. Оказывается, предусмотрительный Евгений Карлович, отправляясь на встречу с германскими представителями, оставил своему помощнику генералу Кусонскому запечатанный конверт, предупредив:

— Прошу вскрыть этот конверт лишь в том случае, если я вдруг не вернусь...

Миллер как в воду смотрел: он не вернулся. Кусонский вскрыл конверт. В нем находилась записка:

«У меня сегодня встреча в половине первого с генералом Скоблиным на углу улицы Жасмен и улицы Раффэ, и он должен пойти со мной на свидание с одним немецким офицером, военным атташе при лимитрофных государствах Шторманом, и с господином Вернером, причисленным к здешнему посольству. Оба они хорошо говорят по-русски. Свидание устроено по инициативе Скоблина. Может быть, это ловушка, и на всякий случай я оставляю эту записку».

Эту записку Кусонский прочел лишь в одиннадцать часов вечера. И немедленно отправил своего офицера на квартиру Скоблина. Тот уже спал и изобразил крайнее удивление тем, что его беспокоят так поздно. Офицер, не отвечая на его настойчивые вопросы о причинах неожиданного вызова, привез Скоблина в канцелярию РОВСа.

Там, в кабинете, Кусонский предъявил записку Миллера. Он напряженно вглядывался в лицо Скоблину, полагая, что тот не выдержит и невольно выдаст себя. Но этого не произошло. Выдержке Скоблина можно было позавидовать: он остался совершенно невозмутимым.

— Это какое-то недоразумение, — ровным голосом, в котором не чувствовалось никакого волнения, сказал он Кусонскому. — Генерал Миллер или заблуждается, или же эту записку ему кто-либо продиктовал, угрожая расправой. Могу подтвердить под присягой, что я не видел генерала Миллера с прошлого воскресенья.

Кусонский, попросив Скоблина подождать в приемной, решил обсудить сложившуюся ситуацию с находившимся в кабинете адмиралом Кедровым. В приемной сидел офицер, доставивший Скоблина в канцелярию РОВСа. Он и не подозревал, с какой целью ему поручили привезти сюда Скоблина. И тот был сейчас волен поступать так, как это было в его интересах. Он с достоинством проследовал мимо ничего не подозревающего офицера, вышел на лестницу, поднялся несколькими

этажами выше. Там находилась квартира Третьякова, родственника основателя знаменитой Третьяковской галереи, который, по неподтвержденным данным, был тоже связан с НКВД. Какое-то время Скоблин отсиделся в этой квартире, а потом исчез из нашего поля зрения навсегда...

Я так увлекся описанием этого необычайного события, что совсем запамятовал упомянуть об одном, на мой взгляд, важном эпизоде, происшедшем на банкете в честь корниловского юбилея. Дело в том, что именно на этом банкете Скоблин представил Деникину свою жену Надежду Плевицкую. Сам Антон Иванович вовсе не имел желания знакомиться с ней, потому что, как я догадывался, считал ее не просто женой генерала-авантюриста, но и его сообщницей. Однако Скоблин сам проявил инициативу и подвел свою супругу к Деникину. Тот, естественно, принужден был соблюсти правила этикета и хотя и суховаато, но в должной мере любезно поговорил с ней несколько минут. Вероятно, чтобы побыстрее отвязаться от Плевицкой, Антон Иванович, воздав должное ее голосу и ее популярности, выразил надежду, что она непременно споет для корниловцев.

Однако Плевицкая, жеманно сославшись на простуду горла, пообещала непременно выполнить желание Деникина в другой раз. И вскоре кто-то из участников банкета увлек Плевицкую на танец. Я заметил, что Антон Иванович облегченно вздохнул.

Я его понимал: Плевицкая при всей ее притягательной красоте обладала манерами простолюдинки и, как я был наслышан, была из тех женщин, которые главным в жизни считают нескончаемые любовные приключения, кутежи и вообще развлечения, подобные тем, которыми увлекались римские матроны. Прекрасный же голос ее притягивал к себе многочисленных поклонников.

...Когда раскрылась истинная сущность Скоблина и его спутницы жизни, Антон Иванович страшно переживал, что хотя и накоротке, но вынужден был общаться с Плевицкой.

Много лет Деникин, живя затворнической жизнью, писал свои воспоминания: создал пять томов «Очерков русской смуты». И, вероятно, пришла пора, когда ему захотелось переключиться, возникла потребность живого общения с людьми. И он решил читать публичные лекции в Париже.

Первое выступление Деникина состоялось в зале Шопена на улице Дарю.

Интерес к выступлению одного из бывших руководителей Белого движения был огромен. Зал был переполнен.

Темой доклада Деникина был «Русский вопрос на Дальнем Востоке». Слушала его весьма разношерстная публика. В зале находились и крайне правые, и социал-революционеры, и меньшевики. Однако едва Деникин появился на сцене, как большинство присутствующих встало и устроило шумную овацию.

Деникин, как всегда, был прям и откровенен. Говоря о современных международных событиях, он призвал эмиграцию не вмешиваться в чужие распри и резко осудил тех, кто ратовал за то, чтобы Япония выступила в союзе с Германией против большевистской России.

— Японская помощь вредна для России, — заявил Антон Иванович под аплодисменты одних и улюлюканье других. — Участие наше на стороне захватчиков российской территории недопустимо.

В другом докладе на тему «Мировые события и русский вопрос» он прямо, без обиняков, сказал:

— Наш долг кроме противобольшевистской борьбы и пропаганды проповедовать идею национальной России и защищать интересы России вообще. Всегда и везде, во всех странах рассеяния, где существует свобода слова и благоприятные политические условия — явно, а где их нет — завуалированно. В крайнем случае молчать, но не славословить. Не наниматься и не продаваться.

— Но почему бы нам не помочь Гитлеру? — раздался нетерпеливый голос из зала. — Так вы будете ждать падения большевиков до конца света!

Деникин встретил эту злую реплику совершенно спокойно.

— Мне хотелось бы сказать, — продолжил он, — не продавшимся, с ними говорить не о чем, а тем, кто в добросовестном заблуждении собирается в поход вместе с Гитлером: если Гитлер решил идти, то, вероятно, и без вашей помощи. Зачем же давать моральное прикрытие предприятию, если, по вашему мнению, не захватническому, то, во всяком случае, чрезвычайно подозрительному? В сделках с совестью в таких вопросах двигателями служат большей частью властолюбие и корыстолюбие, иногда, впрочем, отчаяние. Отчаяние — о судьбе России. При этом для оправдания своей противонациональной работы и связей чаще всего выдвигается объяснение: это только для раскачки, а потом можно будет повернуть штыки...

— А что? — выкрикнули из зала. — Это логично! Зато выпустим кровушку из чекистов!

Деникин даже не повернул головы в сторону кричавшего.

— Простите меня, но это слишком наивно. Наивно, войдя в деловые отношения с партнером, предупреждать, что вы его обманете, и наивно рассчитывать на его безусловное доверие. Не повернете вы ваших штыков, ибо, используя вас в качестве боевой силы — заключенной в клещи своих пулеметов, — этот партнер в свое время обезвредит вас, обезоружит, если не сгноит в концентрационных лагерях. И прольете вы не «чекистскую», а просто русскую кровь — и не для освобождения России, а для вящего ее закабаления.

— А что делать, если Гитлер нападет на Россию и народ русский, вместо того чтобы идти против Сталина, пойдет против Гитлера? — прозвучал новый вопрос к докладчику.

— Я не могу верить, — сказал Деникин, — чтобы вооруженный русский народ не восстал против своих работодателей. Но если бы подобное случилось, мы, не меняя отнюдь своего отношения к советской власти, в этом случае, только в этом единственном, были бы бессильны вести прямую борьбу против нее. Для нас невозможно было бы морально, ни при каких обстоятельствах, пря-

мое участие в действиях той армии, которая ныне именуется «Красной», доколе она не сбросит с себя власть коммунистов. Но и тогда наша активность тем или другим путем должна быть направлена не в пользу, а против внешних захватчиков.

— Да он продался Советам! Позор! — раздались злобные выкрики.

— Мой лозунг, — голос Деникина стал еще тверже, — неизменен: свержение советской власти и защита России!

— Вы, генерал, хотите впрячь в одну телегу коня и трепетную лань! — подал голос кто-то из первого ряда. — Ваш лозунг на практике потерпит крах! Наш лозунг другой: или большая петля, или чужеземное иго!

— Никогда! — горячо воскликнул Деникин. — Я не приемлю ни петли, ни ига!

— Вот и останетесь на бобах, новоявленный Дон Кихот!

— Я закончил, господа, — устало сказал Деникин: он не пожелал отвечать на последнюю реплику из зала.

12

Из записок поручика Бекасова

После исчезновения Скоблина Надежда Васильевна Плевицкая была арестована. До суда она более двух лет содержалась в женской тюрьме «Петит Рокетт». Процесс над ней начался 5 декабря 1938 года. Деникина вызвали в суд в качестве свидетеля. Он жаловался мне:

— Вот видите, Дима, чего стоит трехминутное общение с госпожой Плевицкой.

Думаю, что дело не только в Плевицкой и, может быть, вовсе не в ней. Суду надо было как можно больше узнать об этом проходимце Скоблине.

Появление Деникина в зале суда вызвало сенсацию. Еще бы! Ведь перед публикой появился бывший Главный командующий вооруженными силами Юга России! Приступовавшие с жадным любопытством всматривались в генерала, одетого в штатское платье, спокойно и уверенно шедшего через весь зал, чтобы занять свидетельское место. Многие отметили его манеру держаться с подчерк-

нутым чувством собственного достоинства. Самому же суду импонировало то, как прямо, точно и коротко Деникин отвечал на поставленные ему вопросы.

Пожилой председатель суда, одетый в судейскую мантию, обращал на себя внимание орлиным носом и крупным, как у римских сенаторов, подбородком. Традиционный его вопрос, обращенный к Деникину, был таков:

— Состоит ли генерал Деникин в родстве или свойстве с обвиняемой?

Деникин, подумав несколько секунд, простодушно ответил:

— Бог спас!

Надо ли говорить, с каким напряженным вниманием слушал я вопросы судьи и ответы Антона Ивановича. Более того, я застенографировал почти весь допрос в своем блокноте.

Как я и предполагал, суд более всего интересовали сведения о Скоблине.

Антон Иванович сообщил, что знал его: Скоблин с первых дней состоял в Добровольческой армии, занимая в ней довольно высокие посты.

— Знали ли вы его в Париже? — последовал новый вопрос.

— Встречался с ним в военных собраниях, это были чисто формальные отношения. Близких контактов со Скоблиным у меня не было.

— Знали ли вы Плевицкую?

— Никогда не был знаком. Не посещал ее дома, не бывал на ее концертах. За несколько дней до похищения генерала Миллера Скоблин познакомил меня с Плевицкой на корниловском банкете.

Вслед за судьей несколько вопросов Деникину задал прокурор Флаш.

— Был ли у вас Скоблин с визитом двадцать второго сентября?

— Да, был. Скоблин вместе с капитаном Григулем и полковником Трошиным приехали ко мне, как они объяснили, благодарить меня за участие в корниловских торжествах. В то время генерал Миллер был уже похищен.

— Не предлагал ли вам Скоблин совершить в его автомобиле путешествие в Брюссель, на корниловский праздник?

— Предлагал раньше два раза совершить поездку в его автомобиле, то было третье предложение. Скоблин был на удивление настойчив.

— Почему вы отказались?

— Я всегда... вернее, с тысяча девятьсот двадцать седьмого года подозревал его в большевизме.

— Вы его опасались или ее?

— Обоим не доверял.

После этого в процесс включился адвокат Плевицкой Филоненко. Я знал, что этот Филоненко в свое время был комиссаром Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего Корнилова. Многие знали его как человека весьма ненадежного, держащего нос по ветру, способного переметнуться из одного лагеря в другой. Эмигрировав, он осел в Париже и занялся адвокатской практикой. Антон Иванович как-то поведал мне, что Филоненко после одного из выступлений Деникина во всеуслышание заявил:

— Я люблю и уважаю генерала Деникина, но его нужно расстрелять, и я сниму шляпу перед его могилой.

И вот этот человек выступал сейчас как адвокат арестованной певицы!

— Вы убеждены, что Скоблин был советским агентом?

Я предчувствовал, что Филоненко задаст именно этот вопрос.

Деникин ответил на него утвердительно.

— Имеете ли вы доказательства этого? — Филоненко ехидно скривил тонкие губы.

— Нет, не имею, — честно признался Антон Иванович.

— Думаете ли, что Плевицкая знала заранее о преступлении?

— В этом я убежден, — ответил Деникин.

Филоненко саркастически усмехнулся.

Суд приступил к опросу Плевицкой. Она, как и следовало ожидать, все начисто отрицала. И тем не менее была приговорена судом к двадцати годам каторги.

О дальнейшей ее судьбе мы с Деникиным узнали впо-

ледствии. Плевицкая отбывала срок в каторжной тюрьме города Рени, административном центре департамента Иль-и-Вилен, бывшей столице герцогства Бретань. Конец ее был ужасен. Когда немцы вошли во Францию, ее вывели во двор тюрьмы, привязали к двум танкам и разорвали.

Постепенно Деникин полюбил Францию, привык к ней, хотя и по-прежнему тосковал по России. Однако политика правительства Франции, заигрывавшего с Советами, возмущала его.

— Спит мировая совесть, — как-то раз с досадой высказал он свои мысли мне. — Жертвы мировой войны забыты. А как Франция трясется перед Гитлером! С молчаливого согласия Франции и Англии Гитлер захватил Австрию, а в результате Мюнхенского соглашения с британцами и французами гитлеровцы оккупировали чехословацкие Судеты. Сейчас пишу об этом статью для «Добровольца».

Газету «Доброволец» Деникин издавал в Париже, это помогало ему высказывать свои взгляды по многим проблемам международной политики.

Еще больше возмущался Антон Иванович, когда в 1939 году Германия полностью оккупировала Чехословакию. И долго не мог успокоиться, когда узнал из газет, что СССР заключил договор с германскими нацистами.

— Это верх цинизма! — негодовал Антон Иванович. — Неужели Сталин не понимает, что Гитлер его обманулит? Вопрос лишь в том, кто первым нарушит договор? Кто кому воткнет в спину нож? Я убежден, что первым это сделает Гитлер!

Антон Иванович развернул на столе карту Франции.

— Французы надеются на линию Мажино. Тщетные надежды. Хотя она и представляет собой грозную оборонительную силу. Вы знаете, Дима, что собой представляет Мажино? Это система долговременных фортификационных сооружений и заграждений на границе с Германией. Протяженность этой линии весьма велика — около четырехсот километров по фронту и до восьми километров в глубину.

— Откуда произошло ее название? — поинтересовался я.

— Линия названа в честь генерала Мажино, который в конце двадцатых — начале тридцатых годов был военным министром Франции. Собственно, именно он был инициатором ее строительства. Вы не представляете себе, сколько денег вбухали французы в ее строительство! Вот взгляните на карту. Вот тут она проходит. — Деникин провел карандашом по карте. — Наиболее мощные оборонительные сооружения располагаются между реками Шьер и Рейн, вот здесь. Всего на линии Мажино около шести тысяч долговременных оборонительных сооружений, артиллерийских, пулеметных и других. Крупные сооружения соединены между собой подземными галереями и имеют убирающиеся внутрь орудийные башни со стотридцатипятимиллиметровыми пушками и пулеметами. Есть помещения для личного состава, склады с трехмесячным запасом продовольствия и боеприпасов. Тут и установки для фильтрации воздуха, и автономные электростанции, водопровод, канализация...

— И насколько прочны эти сооружения? — спросил я. Меня удивила такая осведомленность Деникина.

— Бетонные перекрытия имеют толщину до трех метров и способны выдержать прямое попадание четырехстадвадцатимиллиметровых снарядов.

— Но ведь для содержания таких сооружений, вероятно, требуется уйма людей?

— Вы абсолютно правы. Во Франции созданы специальные войска, как-то мне довелось прочитать в одном источнике, что они уже насчитывают более двухсот тысяч человек. Представьте, французские военные считают линию Мажино неприступным барьером для германских войск в случае их вторжения. Я убежден, что они глубоко и опасно заблуждаются! Французы так увлеклись строительством этих сооружений, что позабыли о необходимости финансирования бронетанковых войск и авиации. Точнее, не позабыли, просто карманы и кошельки оказались пусты, все поглотила эта пресловутая линия!

— Но в таком случае у французов, видимо, ослаблена противотанковая и противовоздушная оборона? — предположил я.

— Разумеется, это так и есть. К тому же линия эта имеет недостаточную глубину, сковывает маневр войск. Французы делают ставку на эту преграду, отсюда совершенно пассивный характер их военной стратегии. А взгляните-ка вот сюда, на участок границы Франции с Бельгией. Тут почти полностью отсутствуют какие-либо укрепления, это ахиллесова пята линии Мажино. Что стоит немцам нанести удар именно в этом месте? Да-да, на левом фланге, они будут наступать на севере Франции и выйдут в тыл французам. Как можно в наше время возлагать надежды на безопасность страны с помощью даже мощных укреплений! Помяните мое слово, Дима, французы в будущем еще долго будут сожалеть о пассивной обороне, о том, что они так слепо доверились своему военному «гению» генералу Мажино! И поверьте мне, как это ни прискорбно, нам с вами, кажется, придется быть в роли вечных беженцев.

13

Из записок поручика Бекасова

Ничего не скажешь: провидцем оказался Антон Иванович, истинным провидцем! 10 мая 1940 года Германия начала свое вторжение во Францию. Гитлеровские войска заняли Северную Францию и, наступая с рубежа рек Сомма и Эна, ударили в тыл французской армии. Уже через две недели даже школьнику стало понятно, что эта армия не сможет сдержать натиска фашистских войск и что денежки налогоплательщиков, вложенные в линию Мажино, плакали.

Такой паники, какая началась в Париже при известии о стремительном наступлении немцев, мне еще не приходилось видеть. Многие жители ринулись спасаться на юг. Невообразимый хаос и бегство начались особенно тогда, когда капитулировали Бельгия и Нидерланды, а остатки французских частей попали в окружение под Дюнкерком.

Именно в эти дни решили бежать на юг и Деникины. Антон Иванович приходил в ужас даже при мысли о том, что ему придется жить под немецким сапогом. Я поехал вместе с ними.

Решено было отправиться в местечко Мимизан на берегу Бискайского залива Атлантики, поблизости от Бордо.

Легко было сказать «отправиться!»! Все дороги на юг были забиты до отказа. Нескончаемым потоком двигались к южному побережью автомобили, повозки, конные и пешие, велосипеды и мотоциклы. Повозки и машины были доверху нагружены всяческим скарбом. Стояла нестерпимая жара, в воздухе висели облака пыли, воды на всех не хватало.

Деникины наняли автомобиль, погрузили в него сумки, мешки и чемоданы. С трудом разместились сами среди этого вороха вещей. Марина, дочь Деникиных, сидела впереди, Ксения Васильевна и ее дед — сзади. Рядом с ними, едва не вываливаясь из машины, пристроился Антон Иванович, на коленях у него дремал огромный рыжий кот, его неизменный любимец. Впрочем, я помнил, как Антон Иванович иной раз жаловался на своего баловня:

— Представляете, Дима, этот увалень и хитрец постоянно пытается отвлечь меня от работы. Я сажусь за стол, тут же появляется этот рыжий субъект, бесцеремонно разваливается прямо на моих рукописях и этак наглова-то взирает на меня. Мол, хватит тебе заниматься ерундой, лучше поиграй со мной.

— Да взял бы да и согнал со стола этого негодника! — вступала в разговор Ксения Васильевна.

— Ну разве можно этак? — удивлялся Антон Иванович. — Ведь это живое существо. Кто-то из мудрых сказал: мы ответственны за тех, кого приручили.

— Ну тогда и не жалуйся!

По дороге мы пытались передохнуть в гостинице какого-либо городка, встречавшегося на пути. Увы! Все гостиницы были переполнены такими же, как мы, беженцами, не то что переночевать, но даже и перекусить не было возможности. Мы очень страдали от голода, хотя я заметил, что Антон Иванович, сам не бравший в рот ни крош-

ки за весь день, чем-то подкармливает кота, да еще и приговаривает ему тихонечко, что скоро они будут на берегу моря и уж там-то рыбы будет вдоволь.

Я видел, что особенно мучительно переносит тяжелые условия Ксения Васильевна. Она и без того не отличалась крепким здоровьем, частенько прибалывала, а тут, в машине, ей всю дорогу пришлось сидеть согнувшись: колени к подбородку, за спиной тук с подушками, под ногами чемодан с книгами... Кажется, бедная женщина не выдержала бы всех тягот переезда, если бы наконец в Шаранте не произошло чудо. Хозяйка местной усадьбы, француженка, узнала известного русского генерала и пригласила Деникина к себе немного отдохнуть.

Переночевав, мы отправились дальше. Когда наконец нашему взору открылась нескончаемая череда прибрежных песчаных дюн, все приободрились. Мы были уже у цели.

С океана повеяло крепким и свежим морским воздухом. Стало легче дышать. Вскоре мы подъехали к роскошной вилле, стоявшей в окружении вековых сосен. Это была вилла родителей подруги Марины Деникиной.

— Кажется, мы спасены, — облегченно вздохнул Деникин, выбираясь из машины и помогая Ксении Васильевне. — Вряд ли бои пойдут дальше Парижа.

— Антон Иванович, а не вернее ли предположить, что их непременно привлечет это побережье?

— И это вполне возможно, — согласился Деникин. — Они могут расположить здесь свои части вплоть до испанской границы. Что ж, тогда нам придется снова стать беженцами.

Так оно и получилось. Вскоре мы узнали, что немцы заняли Бордо. А встречаться с ними Антону Ивановичу ох как не хотелось! Ведь немцам прекрасно были известны антигерманские настроения русского генерала!

Вскоре было решено перебраться подальше от побережья — к небольшому озеру Мимизан. Природа здесь была восхитительная, чего нельзя было сказать об условиях жизни. Поселиться пришлось едва ли не на опушке леса в жалком бараке, построенном для немец-

ких военнопленных прошлой войны. Удобств никаких: колодец и уборная за хозяйским курятником. Барак плотно заселен другими жильцами. Но Ксения Васильевна радовалась уже тому, что хотя бы есть электричество.

С первых дней мы почувствовали себя совершенно отрезанными от внешнего мира: ни радио, ни газет. Приемник, который был у Деникиных в Париже, по дороге случайно раздавили в тяжело нагруженном автомобиле. Жизнь, как часто говорила Ксения Васильевна, очень сузилась.

Что касается Антона Ивановича, то, как мне казалось, ему было по душе такое уединение. Он словно сбросил со своих плеч груз нескончаемых политических страстей и перепалок, освободил мозг от напряженных дум и писательских изысков и теперь хотел хоть немного отдохнуть, отдаться природе и забыть обо всем прошлом. Он хорошо понимал, что такое блаженство продлится недолго, что и сюда вот-вот подберется война, и потому дорожил каждый днем.

Особенно его привлекла рыбалка.

— Вы знаете, Дима, в чем чудодейственная сила рыбалки? Сидишь себе с удочкой, и одна-единственная мысль гложет тебя: клюнет или не клюнет? Центром притяжения всех твоих помыслов и желаний становится обыкновеннейший поплавок! И забываешь решительно обо всем: о мире, в котором живешь, о том, что в нем происходит, о семье, о детях. Даже о самом себе! Странное и прекрасное чувство! Конечно же оно скоротечно, и стоит тебе смотать удочки и оправиться домой, как все тревожения мира вновь врываются в тебя как ураган! Но зато ты уже успел познать радость и беззаботность одиночества.

— Понимаю вас, Антон Иванович, хотя сам не увлекаюсь ни рыбалкой, ни охотой. Наверное, такие часы продлевают жизнь.

— Вот именно! — радостно подхватил Деникин. — К тому же рыбка — прекрасный продукт питания, и ох как кстати на нашем столе появится дымящаяся ароматная уха!

Однажды мне довелось видеть Антона Ивановича на рыбалке. Он неохотно взял меня с собой на озеро, потому что любил рыбачить только в одиночку, без шумных компаний, без традиционных выпивок под ушницу, сваренную на костре. Он очень дорожил уединением и особенно тишиной. И говорил мне, что даже пенье птиц в ближних рощах не было для него однозначно желанным: он на дух не переносил карканье ворон, пустую стрекотню сорок и даже полное неизъяснимой грусти кукованье кукушки. Всякий раз, когда она начинала куковать, выдерживая удивительно точный ритм, Деникин инстинктивно, помимо своей воли, принимался считать, как бывало в детстве, стремясь узнать, сколько еще лет осталось ему жить на этой земле. И всякий раз выходило до обидного мало: хитрая кукушка неожиданно умолкала, и возникшая вдруг тишина вызывала печальные предчувствия.

Обо всем этом я узнал от Антона Ивановича, когда он был настроен говорить о себе.

— Вы знаете, Дима, — делился он со мной своими мыслями, — я уже с давних пор заметил: на какой бы реке мне ни приходилось рыбачить, неизменно вспоминается Висла — река моего детства. На Вислу я ездил верхом с местными уланами на водопой. В Висле мы купали лошадей. Какой прохладной, чистой, ласковой была вода! Порой вспоминаю, что не каждый день мог посещать купальню на берегу реки: вход в нее стоил целых три копейки! И хотя родители не пускали меня на открытый берег Вислы, боясь, что я утону, я, улучив благоприятный момент, когда они, занявшись своими делами, забывали обо мне, часами барахтался в воде.

— Теперь мне понятно, отчего вы такой прекрасный пловец, — заметил я.

— А еще я тоскую о курганах в кубанских степях, — продолжал Антон Иванович. — Вы не думали о том, что это не просто холмы мертвой земли?

— Я тоже всегда восхищался курганами.

— Ими нельзя не восхищаться. Что-то необъяснимо волшебное таится в них, вызывая тихий восторг. Я как-то приложил ухо к земле на вершине кургана, и мне по-

чудилось, что я услышал голоса далеких предков и словно бы увидел их лица. Вы знаете, Дима, иной раз мне казалось, что не будь на земле ничего, кроме этих зеленых курганов с их колышущимся под степными ветрами ковылем, — все равно жизнь воспринималась бы как одно нескончаемое счастье...

Я удивленно смотрел на Антона Ивановича: вот уж никогда не думал, что он так лирично воспринимает окружающее.

— Я много раз думал о том, что вот кончится эта треклятая война, улягутся страсти, и тогда я ни за что не стану жить ни в Москве, ни в Петрограде, а брошу все и сбегу на Кубань. — Деникин, говоря это, даже прослезился. — Но конечно же не так, как сбежал в сумасбродном семнадцатом. И хотелось бы сбежать не генералом, обремененным властью, а простым смертным. И опять очутиться на вершине кургана, подставить лицо ветру и остаться в тех краях навсегда.

Он долго молчал, стараясь не глядеть на меня.

— Несбыточная мечта, — горько проронил он наконец. — Вместо Кубани — какое-то озерико Мимизан...

Прошли лето, осень, началась зима. Еще, наверное, никогда жизнь Деникиных не была столь тяжелой, как теперь. Об этом красноречиво говорят записи, которые изредка делала Ксения Васильевна в своем дневнике:

«27 декабря 1940 года. Пятый день стоят лютые морозы. Беда... У нас было еще кило 10 картошки — померзла... Сколько у нас градусов в комнате — не знаю, но думаю — не больше 2—3. Я лежу одетая в четырех шерстяных шкурках, под периной, с грелкой, и руки стынют писать... Иваныч ходит как эскимос, все на себя наворотил».

А «Иваныч» в это время, вооружившись молотком, попросил меня помочь ему. Я поинтересовался, что он хочет делать.

— Давайте прибьем на стенку карту.

— Какую карту?

— А вот извольте посмотреть. Карта бывшей Франции и бывшей Европы.

Он еще способен был на юмор!

...А весной стало еще хуже. Об этом опять-таки сообщила в своем дневнике Ксения Васильевна. Кстати, добавлю, что с этими дневниками она знакомила меня уже значительно позже, после войны.

«30 марта 1941 года. Вчера мы съели последнюю коробку сардинок, а масло из нее сберегли, чтобы заправить сегодняшнюю чечевицу. К великому возмущению кота Васьки, который всю свою жизнь считал своей кошачьей привилегией вылизывать сардиночные коробки. Бедный наш старичок научился есть серые кисловатые макароны, но при этом всегда смотрит на нас с укором... Хуже всего наше дело со штанами: не успела я вовремя мужу купить. Последние снашиваются, а пиджаков хватит».

Но не только о быте писала Ксения Васильевна. Мне запомнилась еще одна ее запись:

«2 мая 1941 года. Здесь живем среди маленьких людей — рабочих, крестьян, обывателей. Одиночество вдвоем. Моя болезнь приковывает меня неделями к кровати. Все друзья, знакомые и люди нашего образа мыслей далеко. Вот и решила записывать, что вижу, слышу и думаю. Благодаря радио знаем о больших событиях мирового масштаба и имеем о них свое суждение; благодаря условиям своего нынешнего существования видим жизнь страны внизу, в самой народной толпе, и улавливаем настроения и реакции простых людей».

А в воздухе уже пахло новой, еще более неистойвой грозой. Близилось нападение гитлеровской Германии на Советский Союз...

И Ксения Васильевна в своем дневнике выразила то, что думали и мы с Антоном Ивановичем:

«21 июня 1941 года. По радио говорят только о «слухах», идущих чаще всего от Швеции. Московское радио совершенно выхолостилось, даже никаких намеков нет. Корректность и абстрактность неестественные. Что думать про это нам? Огорчаться, радоваться, надеяться? Душа двоятся. Конечно, вывеска мерзкая — СССР, но за вывеской-то наша родина, наша Россия, наша огромная, несуразная, непонятная, но родная и прекрасная Россия».

«23 июня 1941 года. Не миновала России чаша сия! Ошиблись два анархиста. А пока что немецкие бомбы врывают на части русских людей, проклятая немецкая механика давит русские тела, и течет русская кровь... Пожалеи, Боже, наш народ, пожалей и помоги!»

День 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на СССР, был днем, совершенно преобразившим Деникина: он перед всеми окружающими его людьми и даже перед самим собой предстал другим человеком, с новыми убеждениями, которых белая эмиграция никогда не могла ему простить. Главным для него сейчас стало не то, что в России продолжает править тоталитарный режим, не то, что этот режим должен быть свергнут самим народом, — главным сейчас стало для Деникина то, чтобы этот самый народ победил иноземного врага и сохранил Россию — великую, независимую и прекрасную. Даже ненависть к Сталину, которая никогда не остывала в душе Деникина, сменилась надеждой на то, что именно Сталин — человек со стальной волей — сможет сплотить народ против фашистского нашествия. Все было забыто Деникиным — и то, что в Советском Союзе даже само имя его давно предано анафеме, и то, что русский народ, выиграв в смертельном поединке с фашистами войну, тем самым укрепит существующий в стране режим. Главным было — сохранить Россию, все остальное — ее преобразование, обретение свободы — откладывалось на потом.

Деникин не скрывал своих взглядов и, разумеется, отдавал себе отчет в том, что немцы не будут благосклонны к генералу с подобными убеждениями. Но он оставался самим собой.

Еще за неделю до того, как немцы вторглись в Россию, гестапо проявило особый интерес к русским эмигрантам, на многих из которых оно еще задолго до войны завело досье. Сейчас же на основании агентурных данных гестаповцы приступили к основательной «чистке»: многие,

кого гестапо считало неблагонадежными, оказались за решеткой, за другими была установлена слежка.

...В один из летних дней Антон Иванович, как всегда, проснулся рано и отправился на огород: надо было полить грядки с укропом, салатом, огурцами. Но в первую очередь Антон Иванович занялся уходом за цветами, которые очень любила Ксения Васильевна. Утро было солнечное, тихое, и ничто не предвещало неприятностей.

Неожиданно к дому подъехал грузовик с немецкими солдатами во главе с унтер-офицером. Деникин, занятый грядками с другой стороны дома, не услышал шума мотора, и лишь когда его громко позвала встревоженная Ксения Васильевна, поспешил к воротам.

Там он увидел, что унтер-офицер пристально изучает паспорт его жены.

— Вы за мной? — спросил Деникин у унтер-офицера.

Тот бросил на него презрительный взгляд и брезгливо процедил:

— Старики нам не нужны!

А Ксении Васильевне приказал сесть в машину. Она повиновалась. В кузове уже находились и другие русские, которых арестовали по дороге, в том числе и племянница Ксении Васильевны с мужем.

Антон Иванович был до крайности взволнован. На все его вопросы унтер лишь усмехался. Машина тронулась.

Как потом оказалось, арестованных доставили в центральный город департамента и разместили в особняке, превращенном гитлеровцами в тюрьму.

Деникин от горестных переживаний слег в постель. Да и немудрено: ему уже было под семьдесят, он был сильно истощен — похудел почти на двадцать пять килограммов, заметно постарел. Слишком много забот лежало на его плечах, потому что Ксения Васильевна постоянно болела. Антону Ивановичу приходилось печь топить, пилить и колоть дрова, готовить еду, убирать квартиру и прочая и прочая... И кроме того — огород, цветник, хотя это и доставляло удовольствие. Правда, здоровье стало основательно сдавать — начались частые приступы грудной жабы. А тут еще неожиданный арест

Ксении Васильевны. Лучше бы арестовали его самого, так нет, им нужны те, кто помоложе! Сделать русских рабами — давнее желание Гитлера, русские для него — это не люди. Люди — это только арийцы. Все остальные — навоз для удобрения рейха. Антон Иванович был морально раздавлен.

Он удивлялся, что не арестовали его самого. Разве немцы не знали его откровенных антигерманских настроений? Деникин хорошо знал, что его брошюры, такие как «Брест-Литовск», «Международное положение. Россия и эмиграция», «Мировые события и русский вопрос», числятся в немецком «Указателе запрещенных книг на русском языке» и подлежат изъятию из магазинов и библиотек.

Деникина из состояния глубокой депрессии вывело лишь то, что под немецким арестом Ксения Васильевна пробыла недолго. Появившись дома, она едва успевала отвечать на нетерпеливые вопросы Антона Ивановича.

— Рассказывай, рассказывай, — просил он ее, с любовью глядя в осунувшееся лицо Ксении Васильевны.

— Иваныч, милый, да ты успокойся, видишь, я жива и здорова, все обошлось... — как могла успокаивала его Ксения Васильевна. — Обращались с нами прилично и все твердили, что мы не арестованные, а интернированные. Кормили неплохо, не хуже и не лучше, чем сейчас здесь все кормятся. Правда, сидели мы за решеткой, часовые нас охраняли, подушек и простыней не давали. Два раза в день допрашивали и все допытывались, кто из нас украинец. Уж не знаю почему. Но это нас насторожило. И так как переводчицей была я, то в украинцы никто из нашей группы не записался.

— Молодчина ты у меня, — растроганно произнес Антон Иванович.

— А знаешь, что было самое интересное для меня? Это — беседы с часовыми. Все они были старше сорока лет, большинство мастеровые из Баварии, но были и крестьяне из Бранденбурга и Шварцвальда. Они охраняли нас по трое, сменяясь раз в сутки, и, представь себе, все они были симпатичными и добродушными людьми, к нам относились не только хорошо, но и с явной симпати-

ей, часто делились с нами своим пайком, угощали фруктами и пивом.

— Даже не верится. Ведь эти боши — зверюги!

— Выходит, не все. Беседовали мы с ними долго и обо всем. Были среди них и очень воинственные, уверявшие, что с Советской Россией они покончат за шесть недель, что из Украины, включая Дон, Кубань, Кавказ и Баку, они устроят протекторат на манер чешского. И что в Москве будет поставлено «национальное» правительство.

— Зверские аппетиты! — возмутился Деникин. — А не станет ли им все это поперек горла?

— Говорили, что после разгрома России фюрер предложит мир, но Англия, наверное, откажется, и тогда этот злосчастный остров будет оккупирован, но при этом погибнет большинство населения. Мол, что поделаешь, гангрена должна быть уничтожена. И самое интересное: Германия, мол, установит новый порядок таким образом, что впредь никто не будет иметь возможности начать войну. И особенно меня возмутило их утверждение о том, что якобы Россия первая напала на них, нарушив все свои обязательства. Каково?

— С ними все понятно, — махнул рукой Антон Иванович, — ты лучше расскажи, как тебе удалось выбраться.

— О, это очень интересная история, — улыбнулась Ксения Васильевна. — Ты не представляешь, как я за тебя волновалась. Взяла и написала письмо на немецком языке генералу в комендатуру немецких войск в районе Биарритца. Назвала себя, сообщила, что вины за собой никакой не чувствую, сижу без предъявления обвинений. И передала письмо через офицера — начальника караула. Потом уже узнала, что письмо мое вызвало у немцев переполох. На следующий же день немецкий генерал сам явился в тюрьму. И спрашивает меня: «Кем вы приходите к генералу Деникину? Родственницей?»

— Вот видишь, милая, никто не верит, что у старика может быть такая молодая жена, — смущенно произнес Антон Иванович.

— Ну и пусть, это их проблемы! — задорно откликну-

лась Ксения Васильевна. — Так вот я и говорю ему: «Я его жена». — «Так зачем же вы не сказали об этом при задержании?» Отвечаю: «Я думала, что ваши власти знали, кого арестовывают». И, представляешь, генерал приказал сразу же освободить меня. Видишь, Иваныч, с именем Деникина еще считаются!

— Нашла чем гордиться! — горестно заметил Антон Иванович.

— Да, горжусь! А генералу сказала, что отказываюсь выходить из тюрьмы, пока не освободят всех, кого задержали вместе со мною. Говорю ему: я здесь единственная переводчица и не могу оставить всех, кто сидит со мной. Подействовало, Иваныч, еще как подействовало! Через три дня нас всех выпустили на волю!

— Слава богу, что все обошлось! — воскликнул Антон Иванович и истово перекрестился.

Жизнь Деникиных вошла в прежнее русло, но вскоре к ним пожаловали гости. Офицеры, посланные из комендатуры в Мимизане, приехали, чтобы выяснить у Деникина, согласен ли он принять у себя коменданта Биарритца. Деникин понимал, что в его положении отказываться нельзя. Он решил выяснить у офицеров, какие дела могут быть у него с немецким комендантом.

— Думаю, что речь пойдет о том, чтобы предложить вам сотрудничество с нами. И для этого вам будет предложено переехать в Берлин, где вы будете поставлены в другие, более благоприятные условия жизни.

Антон Иванович обратился к Ксении Васильевне:

— Будь добра, спроси у него: это приказ или предложение?

Ксения Васильевна перевела.

Офицер ответил, что это предложение.

Тогда Антон Иванович твердо произнес:

— В таком случае я остаюсь здесь.

Офицер вскочил, отдал честь:

— Может быть, мы здесь можем быть вам полезны?

— Благодарю вас, — все тем же тоном ответил Деникин. — Мне решительно ничего не нужно.

...В ноябре Деникина начали то и дело вызывать в мэрию и требовать, чтобы он и его семья зарегистриро-

вались как русские эмигранты. Антон Иванович неизменно отвечал в том смысле, что, оставаясь непримиримым в отношении большевизма и не признавая советскую власть, он считает себя и ныне гражданином Российской империи и поэтому ни о какой регистрации его и семьи не может быть и речи. В то же время всем своим друзьям и соратникам он настоятельно советовал не дразнить немцев и исполнить эту формальность.

15

В те дни, когда гитлеровцы уже подходили к самой Москве, Деникин с такой душевной болью переживал это трагическое событие, будто сам находился сейчас в российской столице и был лично ответствен за то, чтобы Москва не попала в лапы врагу. Он жадно ловил передачи радио, сводки Совинформбюро, возлагал все свои надежды на советского генерала Жукова: если бы случилось чудо и Жуков позвал бы его к себе на помощь, Деникин, ни секунды не раздумывая, помчался бы к нему, чтобы защищать Москву...

Зато какая радость охватила его, когда Красная Армия погнала немцев от стен Москвы и устроила им настоящее побоище, доказав всему миру свою стойкость и свое умение побеждать! Деникин тут же стал готовить статью, посвященную первой победе.

«Как бы то ни было, — писал он, — никакие ухищрения не могли умалить значения того факта, что Красная Армия дерется с некоторых пор искусно, а русский солдат самоотверженно. Одним численным превосходством объяснить успехи Красной Армии нельзя... Испокон века русский солдат был безмерно вынослив и самоотверженно храбр. Эти свойства человеческие и воинские не смогли заглушить в нем 25 советских лет подавления мысли и совести... Народ, отложив расчеты с коммунизмом до более подходящего времени, поднялся за русскую землю так, как понимались его предки во времена нашествия шведского, польского и наполеоновского...»

Первая победа под Москвой несказанно воодушевила Антона Ивановича и Ксению Васильевну. Они включились в пропаганду против нацизма, переводили и распространяли среди русских эмигрантов человеконенавистнические высказывания Гитлера, Геббельса, Розенберга, собирали материалы о зверствах фашистов на оккупированных ими территориях. Ксения Васильевна продолжала вести дневник:

«4 июня 1942 года. Восьмой приказ против евреев... разве это борьба, разве это подобает великой нации такое показное и мелочное издевательство!

Хорошо теперь известные распоряжения немецкого начальства касательно евреев (ношение на груди желтой шестиконечной звезды с надписью и т.д.) — глубоко оскорбительные достоинству всякого человека».

«7 января 1943 года. Совсем непонятно, с какой стороны в нашем захолустье немцы ждут опасности, укрепляют все, что могут. Даже на церковную колокольню водрузили пулеметы, некоторые боковые дороги преградили колючими рогатками и установили в лесу пушки».

«16 января 1943 года. Русские успехи продолжают. «Русские!!!» Ведь даже иностранное радио избегает этого слова. «Советские» надо говорить.

Затуманилось мировое положение до ужаса. Что решили, что думают вожди Англии и Америки? Какие уступки они принесли большевизму? И, избегнув холеры, не помрем ли мы все от чумы? Мучают эти мысли. Тщетно перебираем все возможности. Какой исход, как он может прийти?»

«21 января 1943 года. Лондонский говоритель предложил нам послушать голос «оттуда». Услышали мы русский голос, с актерской дикцией и актерским пафосом возглашавший «славу» бойцам, командирам и... «нашему гениальному полководцу Сталину».

Опять, опять... ничего не переменялось, ничего перемениться не может...»

«28 января 1943 года. Все хуже немцам. 6-я армия под Царицыном тает с каждым днем. Уже угрожает Харьков, а немцы все держатся в Тихорецкой и Майкопе.

В коммюнике с фронтов мелькают столь знакомые названия — Маныч, Ставрополь, Кавказская, имена донских и кубанских станиц, уже нашей кровью вписанных в историю. Кто думал, что в этих глухих местах будет решаться судьба России... да и судьба всего мира».

«1 июля 1943 года. Переехали на новую квартиру, в центре местечка. Немного было жаль расставаться с нашей окраиной. Привыкли к людям и климату».

«15 июля 1943 года. Вчера был национальный праздник... было объявлено в газетах считать 14 июля праздничным, но никаких демонстраций и проявлений не разрешается. Лондон по радио просил всех французов в знак протеста против завоевателя выйти гулять на главную улицу или площадь. Не знаю, как было в Париже и в больших городах, получилась ли демонстрация, но у нас тут единственных два французских патриота, которые принарядились и выгуливали четверть часа по главной площади вокруг церкви, — это были мой муж и я».

«Взят Нежин. Двигаются русские по всему фронту... Следим по карте за продвижением русского фронта. Гордимся тем, как дерется русский солдат, ибо это русский человек дерется за свою родину...»

«7 ноября 1943 года. Всего мы ожидали, только не этого! Вновь прибывшие немецкие солдаты, с лошадьми, обозом, занявшие школу, заполнившие улицы местечка, оказались наши соотечественники, прибывшие прямо из России! Набрали их немцы из военнопленных... Считаются «добровольцами», но к так называемой армии Власова (РОА) отношения не имеют. Они, конечно, от местного населения узнали, что тут есть русские, и приходят к нам. Приходят неловкие, несмелые, не очень знающие, как говорить с нами. Так нелепо, странно видеть этих русских людей в немецкой форме, а сказать прямо, как же это так? Понимаете ли, что врагу России служить нельзя... Нельзя!

И мы и они в лапах волка. Говорим обиняками, недомолвками, но, однако, они понимают: рассказывают о безвыходности положения, об ужасах плена, где из лагеря каждое утро выносили десятки трупов, как бревна, и,

чтобы избежать этой лихой смерти, выход был всего один. Говорят и про страшную каторжную жизнь большевизма. Но это больше старшие, седые, которые из них сражались в рядах нашей белой армии. А из молодых есть такие, что не находят, что было так уж плохо. Они ведь прежней жизни не знали и судить не могут. Большинство донские и кубанские казаки, но есть и сибиряки, и псковские, и астраханские, и курские, со всей России-матушки».

«9 ноября 1943 года. Все встречаемся и беседуем с компатриотами. Они, большинство по крайней мере, чувствуют неловкость своего положения, многие как-то подавлены... Ставят невероятные вопросы, удивляются, что нет бедно одетых, что все так чисто живут. Ведь они еще никакой «заграницы» не видели, прямо из России их в наше местечко привезли...

Когда мы им рассказали, что тут, рядом, есть русские военнопленные в лагере, они приняли известие очень сдержанно, даже с неловкостью. Молодой студент вздохнул: «Да вот мы одни русские, вы — другие, а они — третьи!»

«А Россия одна, и русский народ должен быть один», — сказал им Антон Иванович».

«11 ноября 1943 года. Приходят все соотечественники каждый день... очень интересуются фронтом, но свои чувства по поводу советского продвижения мало кто показывает.

Краснолицый, здоровенный черноморский моряк, оставшись последним, спросил: «А вы как соображаете, может кто-нибудь Россию победить?» — «Нет, никто Россию не победит», — ответил Антон Иванович, подчеркнув слово «Россия». «И я так думаю, — сказал моряк, — счастливо оставаться, папаша. Может, вместе отселя в Россию поедем». — «Может статься, — улыбнулся Антон Иванович, — а может, меня пустят, а вас нет, или наоборот!» — «Всех пустят, чего там. Народу сколько выбили и переморили, вся страна в развалинах лежит, строить-то нужно будет? Все пригодимся. У нас руки вон какие, а у вас — голова. Всякий свое принесет». — «Правильно», — обрадовался Антон Иванович, и они еще раз пожали друг другу руки.

Старик, так много боровшийся за Россию, всю жизнь только о ней и думающий, и молодой парень, ушедший от злой жизни на родине, так мало грамотный... поняли друг друга».

«14 ноября 1943 года. Вчера русских солдат еще пришло. Говорят, и Бордо, и все побережье будет занято этими войсками, которые, не знаю, как и назвать, «наши», когда они не «наши», немецкие, когда они не немецкие, а наймитами звать язык не поворачивается, да и по сущности это неправда...»

Деникин тяжело скорбел о судьбе русских военнопленных. Он знал, что, попав в плен, русские сразу оказывались в условиях, неизмеримо худших, нежели пленные других воюющих стран. Один француз говорил Антону Ивановичу: «Русских пленных легко узнать по их глазам: в них страдание и ненависть».

Еще бы! Деникин был хорошо наслышан о несусветной грязи и зловонии в бараках, где содержались русские военнопленные, о том, что эти бараки часто не имеют крыш, люди получают всего сто граммов хлеба в день, горячую грязную бурду из картофельной шелухи. И эту бурду пленные хлебуют из консервных банок, а то и из своих шапок. А порой и просто пригоршнями. Среди пленных свирепствует дизентерия, трупы постоянно выносят из барачков. Самое страшное и несправедливое было в том, что советское правительство всех пленных, независимо от того, сдались ли они добровольно или попали в плен ранеными, считало дезертирами и предателями: их заносили в списки НКВД. Их семьи лишались продовольственных карточек и тоже подвергались преследованиям. Неудивительно, что некоторые пленные соглашались надеть немецкие мундиры...

Антон Иванович любил беседовать с русскими солдатами, а они, в свою очередь, тянулись к нему. Германское командование строго-настрого запретило солдатам посещать частные квартиры, но многие из них, несмотря на запрет, пробирались впотымах через заднюю калитку и даже через забор, чтобы, как говорится, отвести душу и получить хоть какую-то информацию.

Солдаты засыпали Деникина вопросами. О чем только его не спрашивали!

— А далеко ли отсюда до испанской границы?
— Сто километров, — отвечал Антон Иванович.

— И все лесом?

— Последняя треть пути безлесная.

— На границе французы?

— Нет, границу охраняют, и весьма бдительно, немцы.

Находились и такие, кто спрашивал напрямик:

— Скажите, господин генерал, почему вы не идете на службу к немцам?

Казалось, Деникин был рад этому вопросу:

— Извольте, я вам отвечу: генерал Деникин служил и служит только России. Иностранному государству служить не будет!

Не зря, видимо, к нему относились с таким уважением!

Особенно любили русские, когда Антон Иванович собирал их вокруг карты.

— Как вы думаете, вернемся ли мы когда-нибудь в Россию?

Что мог ответить им этот странный эмигрант?

Были у него и споры с теми, кто пытался доказывать генералу справедливость коммунистических истин и восхвалять счастливую советскую жизнь. Деникин, опровергая это, старался оперировать фактами. В ответ его убеждали в том, что счастливая жизнь придет в недалеком будущем, когда будет построен коммунизм.

Антон Иванович чувствовал, что все эти подневольные люди страшно тоскуют по родине и ненавидят гитлеровцев. Порой это прорывалось в открытую:

— Вот придут союзники, перебьем немецких офицеров и вернемся домой.

...Через несколько лет Деникин с возмущением узнал, что союзники передают всех русских военнопленных в Советский Союз, независимо от их желаний...

В своем послании добровольцам-ветеранам Белого движения Деникин писал:

«Мы — и в этой неизбежности трагизм нашего положения — не участники, а лишь свидетели событий, потрясших нашу родину за последние годы. Мы могли

лишь следить с глубокой скорбью за страданиями нашего народа, с гордостью — за величием его подвига.

Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она зовется «Красной», а не российской, и радость — в дни ее побед. И теперь, когда мировая война еще не окончена, мы всей душой желаем ее победного завершения, которое обеспечит страну нашу от наглых посягательств извне».

16

Когда большой эсэсовский начальник, вызвав Деникина к себе, сказал, что хочет познакомить его с бывшим советским генералом Власовым, Антон Иванович отреагировал чрезвычайно резко:

— Власов? Не знаю такого генерала.

— Но вы же боролись с одним и тем же врагом — большевиками, — удивился эсэовец такой неожиданной для него реакции Деникина. — Правда, в разное время.

— Но я не служил большевикам, — все так же упрямо держался своих убеждений Деникин. — И не был первертышем.

Эсэовец, выкатив голубые надменные глаза, позволил себе усмехнуться:

— Сейчас, когда ставки борьбы с Советами слишком высоки, надо ли искать расхождения, не правильное ли было бы искать точки соприкосновения? Сейчас наш разговор носит слишком абстрактный характер. А личная ваша встреча с Власовым может дать самые положительные результаты, в которых мы чрезвычайно заинтересованы.

— Мне не хотелось бы встречаться с этим человеком, — настаивал на своем Деникин.

— Я не могу принять ваш отказ, генерал, — жестко заявил эсэовец, погасив усмешку. — Генерал Власов уже здесь, и я настаиваю на вашей встрече.

Деникину ничего не оставалось, как повиноваться.

Эсэовец нажал на сигнальную кнопку. Тотчас же в дверях появился солдат. Эсэовец подал ему знак, солдат исчез, а через минуту в кабинете возник высокий,

сутулый, нескладно сложенный человек в форме. Очень схожей с немецкой, но чем-то неуловимым отличавшейся от нее. Одутловатое лицо его было крайне напряжено, будто перед схваткой, глубоко посаженные глаза нервно бегали в разные стороны. Взгляд глаз был то заискивающий, когда он смотрел на эсэовца, то выжидательный и даже просящий, когда он переводил его на Деникина.

— Генерал Власов, — представил его эсэовец. — Генерал Деникин. Очень надеюсь, что вы найдете общий язык и генерал Деникин возьмет на себя почетную миссию привлечения белой эмиграции в ряды Русской освободительной армии. Я покину вас, господа, чтобы не мешать вашей беседе один на один.

Деникин мысленно усмехнулся: «Покину!» Небось записывающий аппарат в соседнем кабинете давно включен!

— Рад вас приветствовать, Антон Иванович! — Навязчивая приветливость так и хлынула из Власова, лицо его расплылось в широкой улыбке. — Я всегда высоко ценил ваш огромный вклад в святое дело борьбы с большевиками!

Деникин привстал, сухо поклонился, но руки не подал. Власова словно облили холодным душем. Он неуверенно сел на стоявший поблизости стул, сразу поняв, что Деникина вовсе не радует эта встреча, а дружеское приветствие Власова вызывает лишь неприязнь, пусть скрытую, но неприязнь. Тем не менее он решил идти напролом, особенно после того, как Антон Иванович резко заявил ему:

— Не имею чести знать вас, генерал. И потому не могу себе представить, о чем пойдет речь.

— Но вы только что слышали, в чем может состоять предмет нашей беседы. — Власов кивнул на дверь, за которой только что скрылся эсэовский офицер. — А чтобы вы узнали обо мне не только то, что пишет лживая большевистская пресса, извольте. Я готов рассказать о себе как можно обстоятельнее.

Антон Иванович молчал. Ему крайне неприятна была эта встреча, и он хотел, чтобы она окончилась как можно быстрее: ничего более омерзительного, чем разговор с че-

ловеком, способным предать, для него не было. Ему казалось, будто и он сам окунулся в болото предательства. Да, сегодня Власов изменил большевикам, которым много лет верно служит, но кто даст гарантию, что при выгодных для него обстоятельствах он снова не переметнется на противоположную сторону, а затем еще и еще раз? Антон Иванович не очень-то увлекался сочинениями Максима Горького, его раздражала «Песня о Буревестнике», но сейчас он с удовольствием припомнил слова писателя о том, что даже тифозную вошь сравнение с изменником оскорбило бы, и едва не произнес эту фразу вслух...

Власов расценил молчание Деникина как согласие выслушать его и начал:

— Антон Иванович, — при этих словах Деникин поерзал на стуле: ему было крайне неприятно, что Власов обращается к нему, будто к старому знакомому, — для первоначального знакомства я приведу вам несколько штрихов моей биографии. Родился я в тысяча девятьсот первом году, как видите, моложе вас и, следовательно, буду крайне нуждаться в вашем ценнейшем опыте. — Он намеренно польстил Деникину. — Как вам, вероятно, известно, я командовал Второй ударной армией. На сторону Германии перешел совершенно добровольно, когда армия оказалась в окружении...

— В истории войн я не знаю примеров, когда командующий бросает окруженную армию на произвол судьбы! — не выдержал Деникин.

Власов напрягся, но не смутился, решив продолжать и постараться все же обратиться упрямого генерала в свою веру.

— Я не бросал своих солдат на произвол судьбы, уверяю вас! Армия была окружена, разгром ее был неминуем! Немецкая армия — это сила, которую невозможно сломить. Вы сами скоро убедитесь в этом. Отдельные победы красных — не в счет, они носят временный, а часто и случайный характер. Уже с первых дней войны я мечтал перейти на сторону немцев, ибо даже когда вынужден был служить большевикам, я ненавидел их строй, смертельно ненавидел! Обстоятельства, в которые я попал, поистине трагические обстоятельства, помогли мне обрести свободу и дали возможность вести борьбу с Сове-

тами. День одиннадцатое июля тысяча девятьсот сорок первого года, когда я пришел в деревню Туховежи, Ордежского района, так называемой Ленинградской области, — этот день я буду отмечать всю свою жизнь как юбилей, как праздник! В этот день я перешел к немцам и был доставлен в штаб восемнадцатой немецкой армии, к ее командующему генерал-полковнику Линденманну. Выбор был сделан, и я остаюсь верен этому выбору и сейчас, до конца. Надеюсь, что и вы одобрите этот выбор.

Деникин угрюмо молчал.

— Поверьте, Антон Иванович, я и мои воины вовсе не изменники родины! — с пафосом произнес Власов. — Мы — за Россию, только без Советов. Я наслышан, что и вы такого же мнения.

Он призывно посмотрел на продолжавшего хранить молчание Деникина.

— Я буду с вами совершенно откровенен. — Власов сделал вид, что не придает молчанию значения. — Да, я сам, по своей инициативе обратился к германским военным властям с предложением приступить к созданию русской армии из советских военнопленных для борьбы с советской властью. Благо, что военнопленных великое множество! И считаю, что такое предложение вами будет одобрено. Во-первых, этот шаг легализует наше выступление против большевиков и устранил мысль о предательстве, тяготящую всех военнопленных, а также людей, находящихся в оккупированных областях. Без этого достижение победы над Красной Армией немыслимо. Ничто не подействует на красноармейцев так сильно, как выступление русских соединений на стороне немецких войск!

— Русские соединения на стороне немецких войск! — повторил последнюю фразу Деникин. — Но это же совершенно противоестественно! Это означает лишь одно: поработить Россию, да-да, помочь немцам поработить Россию своими же руками!

— Но разве вы не видите, что война Россией уже проиграна и надо помочь советским людям свергнуть свое правительство? Хочу вам сообщить, что отдел пропаганды вермахта еще ранее одобрил мое предложение о создании Русской освободительной армии. Мы обратились ко всем бойцам и командирам Красной Армии, ко всему

русскому народу с разъяснением своих целей и задач, а именно: свергнуть советское правительство, уничтожить большевиков, создать новое русское правительство и заключить мир с Германией. Мы призвали их переходить на сторону РОА.

— Я читал ваше обращение, — глухо произнес Деникин. — Не могу не сказать о том, что меня крайне удивило одно обстоятельство. В обращении указывается, что местом пребывания вашего «комитета» является город Смоленск. На самом же деле, что мне доподлинно известно, «комитет» этот находится в Берлине.

— Не более чем невинная уловка, — осклабился Власов, удивляясь, что генерал вместо разговора по существу обращает столь пристальное внимание на пустяки. — Все, кто пойдет за нами, должны быть уверены, что наш комитет образован русскими на своей собственной территории, а не кем-то другим в Берлине. Это несущественная деталь, и на обсуждение ее жаль тратить драгоценное время. Главное, что РОА пользуется полной поддержкой фюрера, нам покровительствует Гиммлер и в целом СС. Меня принимали у себя Геринг, Риббентроп, Геббельс... — Эту последнюю фразу Власов произнес с нескрываемой гордостью. И этим окончательно восстановил Деникина против себя. Сейчас, после этого горделивого признания, он уже не слушал Власова, а лишь внимательно вглядывался в его форму, которая показала ему еще более несуразной, чем в первый момент встречи: китель с отложным воротником цвета хаки, без погон. На брюках — шелковые лампасы малинового цвета. Черт знает что, клоунада, да и только!

Власов уловил мысли Деникина, его распирала злость. «Этот старикашка, просравший гражданскую войну, еще смеет не только сомневаться во мне, но и издеваться надо мной!» — мелькнуло в его мозгу, но вслух он сказал другое:

— Кажется, я вас так и не убедил. Ну что же, история покажет, кто был из нас прав... Может, вам и не понравится, но задам вам прямой и нелицеприятный вопрос: чем вы, генерал Деникин, отличаетесь от меня? Вы вели непримиримую борьбу с Советами. Эту же цель ставлю перед собой и я.

— Генерал Деникин, — с достоинством ответил Антон Иванович, — никогда в жизни не надевал на себя немецкую форму или еще какую-нибудь другую. Генерал Деникин носил и носит русский военный мундир.

— Позвольте заметить, что на мне нет немецкой формы. Это — форма РОА. Так что...

— Эту форму надели на вас ваши хозяева. Моя Добровольческая армия, в отличие о вашей, как вы выразились РОА, не воевала под чужими знаменами.

— Мы тоже независимы, — стараясь делать вид, что его не задевают обидные слова Деникина, произнес Власов. — И действуем вполне самостоятельно.

— Если не считать того, что действуете вы так, как того пожелают Геринг, Гиммлер и Риббентроп, а в конечном итоге сам фюрер.

— Однако я не ожидал, генерал, что вы столь одиозно воспримете наше движение. Главное ведь в том, чтобы свергнуть ненавистный режим большевиков, а там мы докажем, что способны управлять свободной Россией.

— Вы, генерал, или наивны, или притворяетесь. — Деникина все более возмущали рассуждения Власова. — Кто это вам отдаст Россию? Впрочем, какой смысл продолжать разговор? Ведь мы говорим на разных языках.

— Очень жаль, — насупился Власов. — А я надеялся, что вы воспримете меня и мои идеи как прямое продолжение идей Белого движения! И поможете мне привлечь на нашу сторону ряды белой эмиграции, особенно молодежь.

— Белая эмиграция, — спокойно ответил Деникин, — сама вольна выбирать те знамена, под которые она захочет встать. Но я верю, что это будут истинно русские знамена...

Война, самая грозная война XX века, продолжалась. Ксения Васильевна не забывала свой дневник.

«3 февраля 1944 года. Берлин сообщает, что английская авиация бомбардировала поезд, везший англоамериканских пленников, в результате более 500 из них убиты.

Конечно, такой факт мог произойти, ведь вражеская авиация, естественно, атакует все пути сообщения, но любопытно, что никто в это не верит. Первая реакция Антона Ивановича перед аппаратом была: «Сами убили, чтобы отомстить за бомбардировки».

«31 марта 1944 года. Слушали грохот московских залпов по случаю взятия Очакова. Производит впечатление даже по радио. Кажется, это второй раз в истории русские берут Очаков. Полтора года тому назад во времена Екатерины Потемкин взял его у турок. Но тогда это была слава России. А теперь? Может быть, тоже, говорит мне Антон Иванович».

«6 июня 1944 года. ВЫСАДИЛИСЬ! На берегу Ла-Манша, прямо, можно сказать, в лоб немецким страшным укреплениям. То есть еще высаживаются, и парашютисты падают массами. Я слышала с 2 часов ночи, что все авионы над нами летают, и так до утра. Так что в 6 часов встала, разбудила Антона Ивановича и говорю — что-то случилось... Узнали, что союзная авиация и флот разносят береговые укрепления и парашютисты падают в Нормандии. Началось... В 7 часов все местные люди про это только и говорят. В 8 часов мы уже знаем, что высаживаются в нескольких местах на пляжах... Ох, только бы удалось теперь...»

«3 июля 1944 года. Минск обходят и с севера, и с юга. Так долго отдыхавшая тесемочка на большой русской карте теперь передвигается каждый день.

Антон Иванович, выслушав вечером московскую сводку, вооружился молотком и передвигает булавки и гвоздики.

Как они идут хорошо и как правильно маневрируют!
И как болит старое русское солдатское сердце...»

«11 августа 1944 года. Вчера была нездорова и спала плохо. Утром позднее обыкновенного Антон Иванович разбудил меня, сказав, что американцами взят Шартр. Шартр? Но это невозможно, они же вчера были более чем за 100 километров от него! Однако пришлось сдать на очевидность... Смелым рейдом колонна теперь достигла Шартра в 75 километрах от Парижа. Все радуются...

Через несколько дней германская оккупация Мимизана была закончена».

«22 января 1945 года. Вся мировая пресса только и говорит о советских победах. Мы, русские, всегда знали, на что способен наш народ. Мы не удивились, но мы умилились и восхитились. И в нашем изгнании, в нашей трудной доле на чужбине почувствовали, как поднялась и наполнилась наша русская душа.

Наполнилась гордостью, но и болью и сомнением.

Что несет России и всему миру победа? Разве это во имя величия России... разве для будущего справедливого и лучшего жития всех людей — эта победа? А не для выполнения дьявольского плана привития человечеству изуверской доктрины, которая пришла в голову одному маньяку, а воспользовался ею другой маньяк? Воспользовался для удовлетворения своего незаурядного честолюбия, своего чудовищного властолюбия и своей бесчеловечной природы. И все русское геройство, все невероятные жертвы — лишь дань этому Молоху, лишь часть этого страшного плана».

«19 мая 1945 года. Поймали Розенберга. Вот кого следует выдать Советам, и пусть его судят как хотят. Этот все заслужил!»

«3 июня 1945 года. Вот мы и в Париже. Конец пятилетней ссылке, конец огородам, лесным прогулкам и общению с людьми маленькими, но непосредственными и настоящими. Много рук я пожала со слезами и с сознанием, что вряд ли еще их встречу...

Трудна была наша жизнь эти пять лет. Но я не жалею, и кусочек моей жизни, прошедший в случайной глуши Франции, открыл мне больше ее лицо и ее душу со всеми недостатками и достоинствами, чем предыдущие 15 лет парижской жизни».

18

Закончилась Вторая мировая война, но долго пожить во Франции Деникину не удалось. Победа СССР внесла разброд в белую эмиграцию. Было много таких, кто откровенно ратовал за сближение с Москвой, в Париже находила довольно большая группа эмигрантов, которая приняла предложение посетить советское посольство, да-

бы отметить великую победу. Антона Ивановича особенно возмущал Милюков, который поддерживал такого рода действия.

— Да это же советская Каносса! — повторял Антон Иванович, не переставая удивляться позиции Милюкова.

Дмитрий Бекасов, с которым Деникин постоянно делился своими мыслями, взглянул на генерала вопросительно.

— Неужто еще в юнкерах не слышали о Каноссе? — улыбнулся Антон Иванович. — Это, видите ли, Дима, замок маркграфини Матильды, что в Северной Италии. А знаменит этот замок тем, что где-то в тысяча семьдесят седьмом году император Священной Римской империи Генрих Четвертый был низложен и вынужден был унижаться и вымаливать прощение у своего противника — Римского Папы Григория Седьмого. Отсюда и выражение «идти в Каноссу», иными словами, соглашаться на унижительную капитуляцию.

Теперь, в Париже, с его новой атмосферой, вызванной победой над Гитлером, Антону Ивановичу не могли простить, что он неустанно настаивал на лозунге защиты России в то время, как эта Россия была большевистской, да еще и управлялась диктатором. К чему защита еще более окрепшего победоносным большевизмом СССР? Были и такие противники Деникина, которые с изрядной долей ехидства высмеивали Антона Ивановича за то, что он беспрестанно уповал на взрыв большевистского режима изнутри с помощью народного восстания.

— Вы посмотрите, Дима, какую ересь они несут, — читая газеты, возмущался Деникин. — Видите ли, они считают, что Октябрьская революция — органическая часть национальной истории! Какое недомыслие! А что пишет этот Милюков! Послушайте, что он утверждает: «Народ не только принял советской режим, но и примирился с его недостатками и оценил его преимущества». Или вот еще более возмутительное: «Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней». Ничего себе! Выходит, цель оправдывает средства? Какая гнусность! И это знаменитый кадет!

— Но в ваших высказываниях тоже иной раз встречаются противоречия, — осторожно напомнил Бекасов. — Прежде вы говорили: «Свержение советской власти и защита России», а ныне провозглашаете: «Защита России и свержение большевиков». Вам не могут простить того, что вы, в сущности, защищаете большевистскую Россию.

Антон Иванович принялся пылко опровергать Бекасова, стараясь во что бы то ни стало переубедить, но тот чувствовал, что он и сам путается в этих понятиях.

— Вот я перенес на бумагу свои мысли, — сказал Деникин, — если есть желание, прочитайте, вам все станет ясно.

На листе бумаги ровным старательным почерком было выведено:

«Решительно ничто жизненным интересам России не угрожало бы, если бы правительство ее вело честную и действительно миролюбивую политику. Между тем большевизм толкает все державы на край пропасти, и, схваченные наконец за горло, они подымутся против него. Вот тогда страна наша действительно станет перед небывалой еще в ее истории опасностью. Тогда заговорят все недруги и Советов и России. Тогда со всех сторон начнутся посягательства на жизненные интересы России, на целостность и на само бытие ее.

Вот почему так важно, чтобы в подлинном противобольшевистском стане установить единомыслие в одном, по крайней мере, самом важном вопросе — защита России. Только тогда голос наш получит реальную возможность рассеивать эмигрантские наваждения — подкреплять внутри российские противобольшевистские силы и будить мировую совесть».

— Я готов обеими руками подписаться под тем, что вы написали, — искренне произнес Бекасов. — Вот только, Антон Иванович, подпишутся ли ваши оппоненты? И потом, какую «мировую совесть», — спросят они, — вы будете «будить», если англичане и американцы уже договорились со Сталиным едва ли не по всем вопросам?

Деникин глубоко задумался и помрачнел.

— А знаете, Дима, я теперь чувствую себя в Париже совершенно чужим. Многие от меня отвернулись, пресса отказывает в публикациях. Не воскликнуть ли слова: «Карету мне, карету»?

19

На тех этапах долгого жизненного пути, когда генерал Деникин вовлекался в гущу бурных событий, ему было недосуг возвращаться к истокам, думать о пережитом, а тем более анализировать его. Теперь же, на склоне лет, Антона Ивановича неудержимо тянуло к тому, чтобы оглянуться назад, остановиться на том или ином этапе жизни, ощутить в душе радость от содеянного.

А вспомнить ему было что. И порой даже маленькая деталь, выхваченная памятью из жизни, вызывала в сердце неизъяснимый трепет...

Конечно, как всякому другому человеку в его возрасте, Деникину чаще сего вспоминалось детство. На всю жизнь запомнил он рассказ отца о том, как родители гадали на судьбу своего первенца. Антону исполнился год, это был семейный праздник. Следуя старинному поверью, родители разложили на подносе возле ребенка крест, детскую саблю, книгу и поставили рюмку. Каждый из этих предметов как бы символизировал будущую карьеру мальчика. Будет ли он священником, военным, книжником или же пристрастится к хмельному. Когда малыша распеленали, он тут же потянулся своей пухлой ручонкой к сабле, а когда она ему надоела, стал играть с рюмкой. Отец тут же огорченно промолвил:

— Незавидная ждет его судьба — будет рубакой и пьяницей.

Вспоминая этот забавный эпизод, Антон Иванович неизменно улыбался: сбылось-таки пророчество, но только наполовину: рубакой действительно стал, а вот насчет пьяницы... Он спокойно относился к хмельному и «перебрал» всего лишь раз в жизни, да и то в знаменательный день, когда был произведен в офицеры.

К пятидесяти пяти годам отец Антона командовал отрядом Александровской бригады пограничной стражи, который был расположен на прусской границе, в районе уездного городка Петрокова. Офицерский чин получил через год после восшествия на престол Александра II. А еще через год началось польское восстание. На кордон пришло известие, что в имении, владелец которого был в дружеских отношениях с Иваном Ефимовичем, отцом Деникина, собрались заговорщики. Отец со взводом пограничников поспешил в имение. Рассредоточив бойцов вокруг дома, Иван Ефимович приказал:

— Если через полчаса не вернусь — атаковать дом!

А сам решительно направился в здание. Там, в зале, увидел многих своих знакомых поляков. Заговорщики всполошились. Кто-то кинулся на офицера, но другие удержали наиболее отчаянных. Иван Ефимович, обратившись к группе заговорщиков, спокойно произнес:

— Зачем вы тут — я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое, безнадежное дело. С русской силой вам не совладать. Погубите только зазря много народу. Одумайтесь!

И, выйдя из дома, прыгнул на коня и ускакал вместе с пограничниками восвояси.

В боях же с восставшими он был смел и решителен, схватывался в смертельной рубке с отрядами Милославского, Юнга, Рачковского. Но к пленным Иван Ефимович относился по-доброму, гуманно. Особенно если в плен попадала зеленая молодежь — студенты, а то и гимназисты. И хотя начальник Ивана Ефимовича майор Шварц требовал отправлять пленных в тюрьму, Деникин действовал на свой страх и риск:

— Всыпать мальчишкам по десятку розог и отпустить!

После выхода в отставку в шестьдесят четыре года он вскоре женился вторым браком на двадцатипятилетней польке Елизавете Федоровне Вржесинской, она-то и была матерью Антона. Первая жена Ивана Ефимовича умерла.

Мать была из города Стрельно, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Шляхетских кровей в ней не

было, но тем не менее она обладала чувством высокого национального достоинства, была истовой католичкой, гордилась своим происхождением и не признавала другого языка, кроме польского. И вышло в семье так, что Антон говорил с отцом по-русски, а с матерью — по-польски. С отцом Антон ходил в полковую церковь, и хотя она была довольно убогой, чувствовал, что все здесь — с в о е. А мать водила его в костел, где для него было просто интересное зрелище, не вызывающее особых чувств. Так он и сформировался, несмотря на католическое влияние, как православный христианин.

...В бессонные ночи Антон Иванович мысленно переносился в убогую квартирку в доме на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной», для приема гостей, в другой, темной комнатке была спальня, где спали все трое. Дед спал в чуланчике, а нянька — на кухне. Воспоминания эти вызывали у Антона Ивановича горькую улыбку: так всю жизнь, и на родине, и теперь, в эмиграции, промыкался он по чужим углам, никогда не имел не только собственного имения или дома, но даже квартиры. О том, как жили его родители — на грани нищеты, — не хотелось и вспоминать.

Из-за скудости средств отец решил отдать Антона не в гимназию, а в реальное училище. При этом старался не говорить о своей бедности, обосновывал преимущества реального училища так:

— Реальное — это, брат ты мой, не гимназия. В гимназии чистоплюев готовят, там черт-те что зубрят, всяческую латинскую и греческую ересь, одно сплошное витание в облаках. И вырастают там всякие философы, болтуны и недотепы, что такое жизнь — не ведающие. А реальное — это, братец ты мой, сила! Их не зря немчура еще в прошлом веке придумала. Тут тебе и математика, и физика, и химия, и космография! — Что собой представляет космография, Иван Ефимович, разумеется, не ведал, но признавал это слово с таким значением, будто сам достиг в сем предмете невиданного совершенства. — К тому же рисование и черчение — все, что для жизни необходимо, для того чтобы строить, а не заниматься праздными мечтаниями и прочей чертовщиной.

А там, глядишь, в инженеры выйдешь, коль дурака валять не будешь.

Антон, прилежно выслушав все эти доводы, спокойно, но решительно отвечал:

— Нет, отец, инженерство — это не по мне. Я хочу как ты — в армии служить.

Отец для порядка в недоумении разводил руками, про себя же выбор сына одобрял.

Антон еще больше стал гордиться отцом, когда тот уже почти в семьдесят лет запросился вдруг на русско-турецкую войну. Тайком от жены направил прошение о возвращении на военную службу. Прошение было удовлетворено: майору Деникину было предписано отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, чтобы затем отправиться воевать с турками.

Елизавета Федоровна вспыхнула:

— И как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова... Боже мой. Да куда тебе, старику!

В реальное училище Антон ходил в мундирчике, спитом из старого отцовского скюртука, но мальчик не горевал, жил мечтой: стану офицером — будет у меня и красивая форма, и верховая лошадь. В училищном буфете вечно полуголодный Антон жадно вдыхал запах сарделек, недоступных ему. Но он верил, что придет время, и он сможет лакомиться сардельками, а может, еще чем-то и повкуснее.

Обстановка в реальном училище была непростой. Петербург напирал на русификацию, поляки этому всячески сопротивлялись. Польский язык считался обязательным, экзамена по нему не проводилось, более того, в стенах училища было строжайше запрещено говорить по-польски. Впоследствии Деникин оценивал это так: «Петербург перетягивает струны». Правда, на самом деле строгих и бездумных запретов этих почти никто не придерживался. Польские ученики никогда не говорили между собой по-русски.

...Вспоминая все это, Антон Иванович как-то раз против своей воли начал сравнивать политику русификации с политикой колонизации. И чтобы не забыть своих мыслей, встал с кровати, тихонько, чтобы не потревожить

Ксению Васильевну, прошел к письменному столу и стал записывать:

«Эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом колонизации, придавившей впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору 1921 года. Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на Русскую Церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местах — богослужении. Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор — художественный образец русского зодчества был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей — с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примап Польши в день Святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»...»

Антон в общении с соучениками нашел «золотую середину»: с поляками стал говорить по-польски, с русскими, которых в каждом классе было всего три-четыре человека, — по-русски. Половина населения городка состояла из евреев, в руках которых сосредоточивалась вся городская торговля. И все же евреев в училище было мало, так как даже состоятельные родители предпочитали, чтобы их дети ограничивались учением в «хедер» — в специальной еврейской талмудистской школе. Антону было по душе то, что вражды в училище между поляками, русскими и евреями не было.

...Снова улегшись в постель, Антон Иванович вспомнил, каковы были его духовные искания в годы отрочества и юности. И даже сейчас подивился, что после многих колебаний и сомнений вдруг в одну ночь пришел к окончательному решению: «Человек — существо трех измерений — не в силах осознать высшие законы бытия и творения, поэтому я отметаю звериную психологию

Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие. С этим был, с этим и кончаю лета живота своего». Он подумал об этом сейчас с чувством исполненного долга.

В реальном училище, несмотря на всяческие запреты, жизнь была вольной. Семиклассники вне училища ходили в штатском платье, заглядывали в рестораны, часенько гуляли в городском парке после разрешенного времени, а бывало, что и вступали в словесные дуэли с учителями.

Когда Антону исполнилось восемь лет, произошло событие, которое запомнилось ему навсегда. Император Александр II возвращался из зарубежной поездки, и поезд его на несколько минут остановился во Влоцлавске. Встречали его самые именитые граждане города, этой чести был удостоен и отец Антона. Иван Ефимович конечно же взял сынишку с собой. Антон прямо-таки мистически обожал царя и потому весь сиял от радости. Особую гордость вызвало в нем то, что на перроне, кроме него, детей больше не было.

Медленно и степенно, отдуваясь клубами пара, поезд подошел к платформе. И тут в открытом окне вагона Антон увидел государя! Сердце его трепетно вздрогнуло. Царь приветливо что-то говорил встречавшим. Иван Ефимович вытянулся во фронт и взял под козырек. Возбужденный Антон не спускал глаз с государя и даже забыл снять фуражку.

Когда царский поезд скрылся из виду, кто-то из знакомых подошел к Ивану Ефимовичу:

— Что это, Иван Ефимович, сынишка ваш непочтитель к государю? Так шапки и не снял.

Иван Ефимович озадаченно молчал, не зная, что ответить, и густо покраснел. Антон едва не провалился сквозь землю от нахлынувшего на него стыда. Пожалуй, сейчас на всей земле не было мальчишки несчастнее, чем он. А вдруг узнают сверстники — заклюют, засмеют...

А потом пришла трагическая весть: 1 марта 1881 года император Александр II был злодейски убит. Жители городка были в шоке. На улицах появились конные уланские патрули, по ночам долго не спавший Антон с трево-

гой вслушивался в цокот копыт по булыжной мостовой. Из уст в уста передавали слова, сочиненные каким-то польским поэтом:

Тихо вшэндзе, глухо вшэндзе,
Цо то бэндзе, цо то бэндзе...

А по-русски это звучало так:

Тихо всюду, глухо всюду,
Что-то будет, что-то будет...

...Деникин осторожно повернулся с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. А как быстро засыпалось в молодости, да и позже, в боевых походах! Только прилег, только закрыл глаза, и уже словно в яму провалился. Никаких снов. Никакой бессонницы!

Да, самое прекрасное время жизни — это детство и школа. Как-то за провинность учитель оставил Антона в классе после уроков. Не такое уж страшное наказание, но мальчик очень боялся реакции родителей. Непременно накажут, если узнают, да еще и будут мучить всяческими внушениями и наставлениями. Антон встал на колени перед иконой, висевшей в углу:

— Боженька, сделай так, чтобы меня отпустили домой!

И случилось чудо! Распахнулась дверь, вошел учитель, как-то по-доброму посмотрел на провинившегося:

— Деникин Антон, можешь идти домой.

В голове у мальчика сверкнула мысль: «Значит, Бог есть!» А уже приближаясь к дому, засомневался: может, учитель увидел в окно, как он молится и просит пощадить его?

Во втором классе Антон заболел оспой, еле выкарабкался. Но пришлось остаться на второй год. Летом приналег на математику, с невиданным упорством проштудировал учебники алгебры, геометрии и тригонометрии, перерешал все задачи. Учитель математики Епифанов на первом же уроке объявил:

— В прошлом номере «Математического журнала»

предложена была задача: определить среднее арифметическое всех хорд круга. А в последнем номере значится, что решение не прислано. Не хотите ли попробовать свои силы?

Никто не осилил. Антон поклялся решить задачу. Через несколько дней, дрожа от волнения, протянул лист с решением задачи Епифанову. Тот молча прочел, выразительно посмотрел на Антона, так же, не проронив ни слова, прошел к кафедре, открыл классный журнал и вывел там крупную пятерку, такую, что весь класс сумел разглядеть. С тех пор Антона стали уважительно называть «Пифагором».

...Антон Иванович вдруг едва не расплакался: в голове у него зазвучали стихи, сочиненные еще подростком. Собственно, не стихи, а так, рифмованные строчки, но сейчас он вдруг с потрясающей силой осознал, что в них отразились его жизнь и судьба, будто он сознательно наприорчил себе на заре своей жизни:

Зачем мне жить дано
Без крова, без привета,
Нет, лучше умереть —
Ведь песня моя спета.

Сейчас он понимал, что строки эти далеки от истинной поэзии. Но тогда он даже осмелился послать их в «Ниву». Конечно, не напечатали и даже не ответили.

Из впечатлений детства особенно горьким была смерть отца. Казалось, сноса не будет кряжистому двухжильному Ивану Ефимовичу. И вдруг — рак желудка... Перед смертью он сказал сыну:

— Скоро я умру. Оставляю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься — Бог не оставит вас. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон...

В страстную пятницу Антон был в церкви на выносе плащаницы и пел, как обычно, на клиросе. Прибежал друг:

— Иди скорей домой, тебя мать зовет.

Антон почувствовал недоброе. Вихрем помчался домой — отец уже был мертв. Упал перед ним, зарыдал...

Похоронили отца на третий день Пасхи, сотня пограничников проводила своего командира тремя ружейными залпами. На могилу положили плиту с надписью, составленной ротмистром Ракицким: «В простоте души своей он боялся Бога, любил людей и не помнил зла».

Жить стало еще тяжелее. Антону пришлось стать репетитором, бегать к ученикам в разные концы города. Уроки учил ночью.

...Антон Иванович вздохнул незаметно для себя, наконец-то заснул.

20

Седьмого декабря 1945 года семья Деникиных прибыла в Нью-Йорк. Антон Иванович предполагал, что в Америке не все примут его одинаково. Так оно и вышло.

Вездесущая пресса откликнулась на приезд Деникина незамедлительно, едва он сошел с трапа парохода. Встречавший генерала бывший доброволец, штабс-капитан, вручил Антону Ивановичу свежий номер газеты «Новое русское слово». На первой полосе было сообщение о прибытии Деникина:

«Антон Иванович Деникин почти не изменился за последние пять лет, тот же твердый, стальной взгляд, та же осторожная точность выражений. И политически его взгляды за эти годы не изменились: бывший Главнокомандующий вооруженными силами Юга России остался патриотом и антибольшевиком. Он по-прежнему с русским народом, но не с советской властью».

Сойдя на берег, Деникин огляделся вокруг. На пристани стояла, переминаясь с ноги на ногу, небольшая кучка пикетчиков с транспарантами в руках. Деникин прочитал некоторые из них и, хотя они почти все были на английском языке, понял смысл: «Деникин, убирайся домой!»

Штабс-капитан, заметив, что Антон Иванович помрачнел, поспешил успокоить:

— Не обращайтесь внимания, ваше превосходительство. Обычные американские штучки. Пикетчиков здесь не принимают и платят довольно щедро.

— Понимаю, демократия, — как-то растерянно откликнулся Деникин.

Штабс-капитан намеренно не стал знакомить Антона Ивановича с газетами «Морден журнал» и «Форвертс», которые он тоже приобрел в киоске. «Морден журнал» оголтело уподоблял Деникина Петлюре и Махно, стремясь доказать, что между ними не существует никакой разницы:

«В город самых бойких репортеров, в мировой центр еврейской печати, в страну, где находится, возможно, самое большое число евреев, помнящих еще украинские погромы, прибыл незаметно самый отъявленный из всех оставшихся в живых русских черносотенцев».

И тут же «Морден журнал» обрушивался на «Новое русское слово», обвиняя эту газету во всех смертных грехах:

«Возможно ли, что евреи, издатели и члены редакции «Нового русского слова» забыли еврейские погромы и устроили дружеский прием генералу Деникину только потому, что он разделяет их вражду к Советской России?»

Деникины остановились в пригороде Нью-Йорка, в доме пригласившего их на жительство штабс-капитана. Отдохнув от дальней дороги, Антон Иванович уже на следующий день отправил в «Морден журнал» письмо:

«Я узнал, что в вашей газете помещена статья, возмущающая на меня необоснованные и оскорбительные обвинения. Сообщаю вам:

1. Никаких «тайных» задач у меня не было и нет. Всю жизнь я работал и работаю на пользу русского дела — когда-то оружием, ныне словом и пером — совершенно открыто.

2. В течение последних 25 лет я выступал против пангерманизма, потом против гитлеризма в целом ряде моих книг и брошюр, на публичных собраниях в разных странах, в пяти европейских столицах. Книги мои попали в число запрещенных и были изъяты гестапо из магазинов и библиотек. Пять лет немецкой оккупации

я прожил в глухой французской деревне под надзором немецкой комендатуры, не переставая все же распространять противонемецкие воззвания среди соотечественников.

Эта моя позиция, равно как и несправедливость обвинения меня газетой в «черносотенстве», известна всей русской эмиграции, к сожалению, неизвестна редакции вашей газеты... Вы должны знать, что волна антисемитских настроений пронеслась по Югу России задолго до вступления белых армий в «черту еврейской оседлости» и что командование принимало меры против еврейских погромов. Уверяю вас, что если бы этого не было, то судьба еврейской Южной России была бы несравненно трагичнее».

Антон Иванович не любил оправдываться и обычно отмалчивался, когда его пытались несправедливо упрекнуть в чем-то или унижить, но сравнение с Петлюрой и Махно глубоко оскорбило, и, отослав опровержение, он немного успокоился.

Надо было начинать жизнь на новом месте. Пока Ксения Васильевна занималась домашними делами, Антон Иванович жадно изучал американскую прессу, пристально следил за тем, как развивается послевоенная жизнь и какие витиеватые изгибы совершает современная международная политика.

Он не мог оставаться равнодушным, когда узнал, что Англия и Америка приняли решение выдать Сталину русских военнопленных. Деникин был настолько взволнован, что немедленно написал письмо командующему оккупационными силами США в Германии генералу Дуайту Эйзенхауэру:

«Ваше Превосходительство.

В газете «Таймс» я прочел описание тех ужасов, которые творятся в лагере Дахау, находящемся под американским управлением, над несчастными русскими людьми, которых называют то «власовцами», то «дезертирами и ренегатами» и которые предпочитают смерть выдаче их советской власти. Эти несчастные люди отлично знают, что ждет из в «советском раю», и неудивительно поэтому, что собираемые в Дахау военнопленные предпочитают искать смерти на месте, и какой смерти! Перере-

зывают себе горло маленькими бритвенными лезвиями, испытывая невероятные предсмертные муки; поджигают свои бараки и, чтобы скорее сгореть живьем, сбрасывают с себя одежду; подставляют свои груди под американские штыки и головы под их палки — только бы не попасть в большевистский застенок...

Ваше Превосходительство, я знаю, что имеются «Ялтинские параграфы», но ведь существуют еще, хотя и попираемые ныне, традиции свободных демократических народов — право убежища.

Существует еще и воинская этика, не допускающая насилий даже над побежденным врагом. Существует, наконец, христианская мораль, обязывающая к справедливости и милосердию.

Я обращаюсь к Вам, Ваше Превосходительство, как солдат к солдату и надеюсь, что голос мой будет услышан.

Генерал А. Деникин».

Ответ был для Антона Ивановича малоутешительным. Кроме того, он был подписан не самим Эйзенхауэром, а исполняющим обязанности начальника его штаба генералом Ханди, что уже само по себе говорило о том, что высокие официальные власти не желают вступать в контакт с бывшим Главкомом. Ответ не содержал ничего обнадеживающего и лишь сухо повторял те самые параграфы Ялтинского соглашения, которые и без того были хорошо известны Деникину.

В ответе перечислялись те категории лиц, которые подлежали насильственной репатриации в СССР: те, кто был захвачен в плен в германской военной форме, кто состоял 22 июня 1941 года (или позже) в Вооруженных Силах Советского Союза и не был уволен, кто сотрудничал с неприятелем и добровольно оказывал ему помощь и содействие.

С возмущением прочитав эту отписку, Деникин понял, что плетью обуха не перешибешь, и весь ушел в свои мемуары. Ему хорошо работалось в тихих стенах публичной библиотеки, что приютилась среди небоскребов на 42-й улице Нью-Йорка. Не было для него более счастливых минут, чем те, в которые он усаживался за облюбованный им стол у окна в славянском отделе библиотеки

на втором этаже и получал желанную возможность углубиться в изучение литературы и архивных материалов. Он торопился завершить свой труд «Путь русского офицера». Мог ли он предвидеть, что труд сей так и останется незавершенным и увидит свет лишь в 1953 году, через шесть лет после его смерти.

Антон Иванович работал истово, цена на вес золота каждую минуту, с прилежностью трудолюбивого школяра, делал выписки в общие тетради и уже где-то к середине дня изрядно уставал. Стараясь сбросить с себя умственное напряжение, он, отвернувшись к окну, чтобы не быть на виду посетителей библиотеки, поспешно съедал припасенный бутерброд, едва замечая его вкус. Но даже в минуты позволенного себе отдыха он не мог отогнать мыслей, которые и прежде одолевали его, а теперь, на склоне лет, заполонили всю его душу. Говоря коротко, главной мыслью было: «Правильно ли он, генерал Деникин, прожил жизнь?» Впрочем, этот философский вопрос часто сменялся на более прозаический: «Как продолжать жить дальше, если в доме постоянно не хватает денег?»

Вскоре по этой причине пришлось перебраться в деревню.

Об этом периоде своей жизни Антон Иванович сообщал в письме к знакомому офицеру:

«Понемногу начинаем приспособливаться к американской жизни. Обзавелись добрыми знакомыми, среди них много сохранивших традиции добровольцев, несколько первопоходников. «Бойцы вспоминают минувшие дни...» Сейчас мы в деревне, на даче, но к сентябрю, невзирая на сильнейший квартирный кризис, нам удалось найти маленькую квартирку в окрестностях Нью-Йорка. Таким образом приобрели некоторую оседлость.

По предложению солидного издательства пишу книгу. Вернее, работаю одновременно над двумя книгами — о прошлом и настоящем.

И я и жена прихварываем. У меня — расширение аорты, начавшееся в приснопамятные парижские дни — огорчений и разочарований».

...Душевная жизнь старого генерала становилась все

сложнее, распадалась ее цельность, таяла вера в то, что свою жизнь он прожил правильно.

В те годы, когда он вихрем ворвался в пекло гражданской войны, Антон Иванович верил в победу, в свою счастливую звезду. И даже когда военное счастье изменило ему, он не пришел в отчаяние, убеждал всех, да и самого себя, что новый режим, превратившись в абсолютно тоталитарный, долго не простоит; пусть не завтра, не через год, пусть через десяток лет он рухнет неизбежно, ибо будет несправедлив, жесток к людям, каким был и старый, царский режим. Сподвижников его такие рассуждения не утешали: они жаждали победы немедленной, осуществления своих надежд и желаний сейчас, а не в далеком туманном будущем. Деникин же был терпелив и никогда не предавался унынию. Разве что в злосчастные дни, когда погибли его верные друзья Корнилов и Марков или когда был убит его самый близкий друг и единомышленник генерал Романовский.

Впрочем, его жизненная позиция не вызывала удивления: таков уж был его основательный природный характер; такими часто бывают истинные крестьяне во всех поколениях — от древних пращуров до современных тружеников земли. Даже любовь его была основательной, глубокой, начисто лишенной бурных своих проявлений, столь свойственных натурам увлекающимся и порывистым. Она была спокойной, мудрой и внешне никогда не сопровождалась эмоциональными вспышками и бурными страстями. Просто они были нужны друг другу, эти два человека — уже пожилой Деникин и еще молодая Ксения.

В поздний же период своей вынужденной эмиграции натура и характер Деникина коренным образом изменились, хотя превращения эти произошли постепенно, не вдруг. Окружающие стали замечать, что Антон Иванович превратился из оптимиста в пессимиста, приобрел своего рода болезнь, которую некоторые сокращенно именовали СНС, что означало «синдром навязчивых состояний». Ксения Васильевна вычитала об этой загадочной болезни в одной медицинской книге, и когда она сопоставляла прочитанное с теми симптомами, ко-

торые стали проявляться у Антона Ивановича, то убеждалась, что все совпадает. Антон Иванович стал панически бояться всего на свете, во всем, что происходило вокруг, он ощущал предчувствие какой-то страшной беды. Ему стало мерещиться, что за ним неотступно следуют агенты НКВД, что с единственной и потому особенно любимой дочерью Мариной непременно случится несчастье, что он, Деникин, внезапно умрет во сне... — всего и не перечислишь. Даже в июльской грозе ему чудилось страшное бедствие, которое непременно обрушится на людей, и прежде всего на него, — это могли быть смерчи, ураганы, наводнения, пожары, а то и шаровая молния, влетающая в окно. Он боялся, что его Ксения, отправившаяся в магазин, обязательно попадет под машину при переходе улицы, что непременно пропадет любимый кот Васька, что они с Ксенией умрут с голоду, который их обязательно настигнет. Ожидание конца света стало для него любимой темой в разговорах, даже в те минуты, когда ярко светило солнце, деревья стояли не шелохнувшись, а прогноз погоды на ближайшее время не предвещал ничего тревожного. Конечно, если бы «синдром навязчивых состояний» владел Антоном Ивановичем в те времена, когда он принимал решение идти на бой с красными, то вполне вероятно, что он, предвидя неизбежную катастрофу, вовремя бы остановился, а может, и перешел бы на сторону новой власти, как это сделали многие бывшие офицеры и генералы, или вообще занялся бы садоводством, разведением цветов, выращиванием капусты, а то и ужением рыбы.

Как ни старался Деникин приспособиться к новой жизни, Америка оставалась для него чужой, неласковой и даже жестокой. Каждый здесь жил сам по себе, и все, чем во все времена славилась Русь — доброта, умение сострадать ближнему, чувство локтя, особенно в беде, стремление защитить несправедливо обиженного, — все это здесь воспринималось как странная прихоть, недостойная делового человека, изо всех сил стремящегося к личному преуспеванию.

И потому Россия была с ним неотступно — во сне и наяву...

Несказанно грели душу Деникина воспоминания об офицерской жизни, о том, как шаг за шагом, без чьей-либо маломальской помощи шел он в своей военной карьере. Эпизоды этого периода жизни часто виделась ему даже во сне, и тогда он пробуждался бодрым, вдохновенным, будто к нему возвращалась молодость.

В сущности, еще до поступления в военное училище Антон рос в офицерской среде. В городке квартировал уланский полк, и Антон сдружился с двумя корнетами. Это были лихие, беспшабашные молодые люди, любившие веселье, кураж и экстравагантные выходы. В доме у них всегда было шумно, тосты следовали один за другим, дружный здоровый смех вырывался через окна на улице, и тогда Антону казалось, что вся офицерская жизнь — это сплошное веселье, сплошные праздники. С каким восхищением смотрел он на своего знакомого корнета, когда тот на манер Долохова из «Войны и мира» садился на подоконник третьего этажа, спускал вниз ноги, лихо опрокидывал бокал шампанского и бурно приветствовал знакомых офицеров, проходивших по улице. «Вот он, истинный офицер!» — думалось Антону.

И — о чудо! — этот самый корнет впоследствии стал генералом, знаменитым генералом Павлом Карловичем Ренненкампом, с которым Антон Иванович свиделся уже на русско-японской войне. Деникин был его начальником штаба. Им было что вспомнить! Судьба бывшего удалого улана оказалась трагичной: во время русско-германской войны его признали одним из виновников поражения в Восточно-Прусской операции и расстреляли по приговору военного трибунала.

...Осенью 1890 года Антон Деникин поступил в Киевское юнкерское училище, предварительно записавшись в 1-й стрелковый полк, квартировавший в Плоцке.

Началась совершенно новая жизнь: дисциплина, распорядок дня, безусловное повиновение командирам, приказы которых были высшим законом. Училище разместилось в старинном «крепостном» здании, и жизнь юнкеров была замкнута в его стенах. Любоваться Днепром, катившим свои воды невдалеке, можно было

лишь из узких окон. Бывшие гимназисты и студенты, привыкшие к вольготной жизни, попав в эту атмосферу, раскисались в своем выборе и были готовы бежать отсюда куда глаза глядят. Антону же, выросшему в военной среде, этот жесткий режим совершенно не был в тягость, наоборот, его привлекали строгости и порядок. Но, конечно, и его тянуло на волю. Голь на выдумки хитра: юнкера придумали способ, как перехитрить своих начальников. Кто-то предложил делать из простыней жгуты, привязывать их одним концом в помещении, а другой конец пропускать через амбразуру наружу. Таким хитроумным способом юнкера спускались на пустырь и пробирались под покровом ночи на берег Днепра, возвращаясь в казарму лишь перед рассветом. На кроватях же находившихся в «самоволке» юнкеров сооружались чучела.

Однажды в такой вылазке принял участие и Антон. Вернулся он под утро через классную комнату на первом этаже, через окно бросил штук, фуражку и шинель. Предупрежденные условленным сигналом друзья принесли ему одежду, он надел шинель внакидку и отправился как ни в чем не бывало в роту. И тут, как на грех, навстречу — дежурный офицер.

— Вы почему в шинели?

— Что-то знобит, господин капитан.

— Вы бы в лазарет пошли.

— Как-нибудь перемогусь, господин капитан.

Кажется, пронесло.

Однако, несмотря на юношеские проказы, на первом плане были серьезные занятия. Училище славилось своими выпускниками. Особенно гордились юнкера строевой выучкой. Правда, однажды, когда командующий войсками округа знаменитый генерал Драгомиров производил смотр училищу, оно оскандалилось. Дело в том, что к этому времени юнкера отработали только взводные учения, а Драгомиров, не зная этого, приказал произвести батальонные. И нашел полный беспорядок в строю, погнав юнкеров с учебного плаца. Это было для воспитанников училища горькой обидой. Зато в другой раз, на учениях с боевыми патронами и стрельбой артиллерии через голову пехоты, училище показало высший класс.

Драгомиров даже расчувствовался — ведь стрельба через голову пехоты была его нововведением, его гордостью! Генерал истово поблагодарил юнкеров, услышав в ответ их могучее «ура!».

Юнкерское училище давало основательные знания: изучали здесь Закон Божий, два иностранных языка, химию, механику, русскую литературу, правда только древнюю, — видимо, наставники боялись, что в головы юнкеров проникнут «вредные идеи» из русской классики.

Антон Иванович, мысленно «путешествуя» по годам учебы в юнкерском училище, не без радости вспоминал забавные эпизоды. Был такой юнкер Нестеренко, прекрасно знавший французский язык. Так он умудрялся сдавать экзамены за троих своих товарищей, которые были с французским не в ладах. Ну настоящий плут: переоденется то в мундир с чужого плеча, то щеку подвешит платком или сунет под язык леденец, чтобы изменить голос. Благо что учитель французского языка был чудаковат и, главное, никого не запоминал в лицо. И все-таки однажды разоблачил Нестеренко, когда тот пытался сдать экзамен за своего друга Антона. Деникину французский давался нелегко, и читал он обычно тексты с трудом, а тут Нестеренко перестарался: прочитал текст за Антона, можно сказать, безукоризненно. И учителю все стало ясно. Он взял и Антона и Нестеренко под руки и повел их к инспектору. И тут класс взмолился:

— Ваше превосходительство, не губите! Не гу-би-те!

Учитель оглянулся, не смог сдержать улыбки:

— Прощаю, но в последний раз, господа!

Пролетели юнкерские годы, и вот уже — выпуск! Антон выбрал вакансию во 2-ю артиллерийскую бригаду в городе Беле, Седлецкой губернии.

Беле оказался маленьким городишком с населением всего в восемь тысяч человек. Жизнь в нем была сонной, тягучей. Офицерам ничего не оставалось, кроме как играть в карты, выпивать и волокаться за местными дамами. После того как старый командир бригады Сафонов — добрый и слабый человек — умер, на смену ему пришел новый начальник — грубый, невежественный генерал.

Офицеров откровенно презирал, никому не подавал руки. Жизнь и быт подчиненных его вовсе не интересовали. Он настолько был оторван от реальности, что однажды даже заблудился среди казарм, в то время как бригада ждала его появления битых два часа в конном строю. Взыскания, аресты стали сыпаться как из рога изобилия. Отсюда и пошло: пьянки, кутежи, скандалы. Три офицера покончили жизнь самоубийством...

«Чеховские будни», — улыбнулся Деникин. Правда, теперь, спустя столько лет, даже служба в бригаде казалась милой и близкой сердцу...

А тогда... Тогда самой заветной мечтой любого офицера было — вырваться из провинциального захолустья в Петербург, чтобы поступить в академию. Они мечтали об этом, потому что иного способа изменить свою беспросветную жизнь у них просто не было.

Мечтал об академии и поручик Деникин. И вот летом 1895 года он оказался у монументального здания академии возле Суворовского музея в столице России. Теперь бы только поступить! Да легко ли! Академия могла принять лишь полторы сотни абитуриентов, а желающих было более пятисот.

Академия, академия! Без нее обычному офицеру, не имеющему связей в высоких военных кругах, сделать карьеру было просто невысказанно. Провал на экзаменах — это крах надежд, равносильный краху всей жизни. Провалился на экзаменах — и возвращайся в свою часть с клеймом неудачника, с чувством позора и стыда...

Между тем экзаменаторы свирепствовали. Попробуй спутать артикли в немецком языке, сделать хоть одну ошибку в сочинении, не ответить на вопрос о глубине устья Рейна или хотя бы растеряться при вопросе «Знакома ли вам песня «Огород городить»? — и прощай, мечта!

Деникин оказался счастливым — приняли! И он, сняв крохотную квартирку, обложился книгами, брошюрами и журналами из библиотек, накинувшись на них с небывалым упорством. Он штудировал литературу ночами, урывая лишь несколько часов для сна, а утром спешил на занятия — опаздывать нельзя было ни на минуту. От огромного количества предметов трещала голова:

множество сугубо военных дисциплин, а также иностранные языки, история с основами государственного права, славистика, геология, высшая геодезия, астрономия, сферическая геометрия...

Антон Иванович был несказанно горд: он взял приступом это элитное учебное заведение! Академия была основана еще в 1832 году, начальником ее в свое время был Михаил Иванович Драгомиров, неутомимый последователь Суворова, а ныне академию возглавлял сам Генрих Антонович Леер, известнейший военный теоретик и историк, член-корреспондент Петербургской академии наук, почетный член Шведской академии военных наук, опубликовавший много трудов по военной стратегии, тактике, военной истории и военному искусству. Лееру было уже восемьдесят лет, но он все еще оставался в строю.

Правда, гордясь академией, Деникин видел и ее слабые стороны. Его крайне удивляло, что академия отстает от жизни, от бурно развивавшегося вооружения армий. Особенно же он сокрушался по поводу того, что здесь читался курс военной истории, в котором преподаватели налегали на древность, но не считали необходимым знакомить слушателей с историей, скажем, последней русско-турецкой войны.

— Уже семнадцать лет прошло, как закончилась русско-турецкая война, — делился с сокурсниками Антон Иванович, — а наша военная наука не имеет еще ее документальной истории. Поразительная беспечность!

...И вот первые экзамены. Антон Иванович снова ощутил себя в аудитории, где ему пришлось отвечать профессору полковнику Баскакову. В билете значился вопрос о Ваграмском сражении.

— Сражение это произошло в июле тысяча восемьсот девятого года у селения Ваграм в Австрии между французской армией Наполеона и австрийской армией эрцгерцога Карла. — Антон Иванович как бы повторял сейчас свой ответ. — Наполеон сосредоточил свои войска в районе Вены и начал подготовку к переправе через Дунай, чтобы разгромить австрийские войска в генеральном сражении на левом берегу. Форсировать Дунай Наполеон решил южнее Грос-Энцерсдорфа...

Баскаков весьма рассеянно слушал поручика и вдруг прервал его странным вопросом:

— Об этом достаточно. Скажите лучше, что произошло ровно в полдень и каково было в это время положение сторон?

— Наполеон направил против центра неприятеля колонну Макдональда, — продолжил Деникин, но Баскаков настаивал на своем:

— Что произошло именно в полдень? Да-да, поручик, ровно в двенадцать.

Деникин окончательно смутился. Ну ровно ничего не мог он вспомнить о том. Что произошло в этот проклятый полдень! Кажется, ничего особенного... Смущенное молчание вновь нарушил упрямый Баскаков:

— Меня интересует только полдень! Может быть, сядете и подумаете?

Деникин внутренне расвирепел, но сдержался, чтобы не выпалить грубость:

— Совершенно излишне, господин полковник.

Это был последний экзамен. Поручик Деникин получил шесть с половиной баллов, а для перевода на второй курс надо было набрать не менее семи. Все пошло прахом из-за какого-то несчастного полбалла!

Примчавшись к себе домой, он судорожно раскрыл учебник и прочитал:

«В полдень французские войска начали выдвигание к реке Русбах. Войска двигались веерообразно: по мере увеличения интервалов в 1-й линии туда вступали корпуса из 2-й линии».

— Господи, разрази громом этого строптивного педанта Баскакова! — едва не закричал убитый горем поручик.

...И надо же было так прихотливо пересечься их путями! Шло Мукденское сражение, в котором подполковник Деникин будет награжден орденом и получит чин полковника. А начальником штаба в конный отряд прибудет... знаток Ваграмского сражения Баскаков! И как преобразится этот надменный полковник, терзавший Деникина! Растерянный, подавленный, как петух, которому оципали перья, он будет подобострастно задавать вопросы теперь уже проваленному им на экзаменах Деникину — начальнику штаба дивизии:

— Как вы думаете, что означает странное передвижение японцев с фланга на фланг?

Как хотелось тогда Антону Ивановичу напомнить о полдне в Ваграмском сражении, но он ответил спокойно, почти равнодушно:

— Это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий.

Сколько еще вопросов последует из уст Баскакова на наблюдательном пункте Деникина! Прервутся они лишь после того, как наблюдательный пункт будет накрыт шквальным пулеметным огнем японцев. Только этого экзаменатора и видели!

Упорства Антону Ивановичу было не занимать: отчислили, ну и черт с вами! Все равно пробьюсь, возьму вашу академию штурмом! И взял. Снова вступительный экзамен, и по оценкам он оказался четырнадцатым из ста пятидесяти зачисленных в храм военной науки.

Учеба учебой, а под влиянием общественного движения в России складывалось мировоззрение и Антона Ивановича. Он был приверженцем конституционной монархии, не принимал марксизм и делал ставку на российский либерализм. Да и как он мог сочувствовать марксизму после того, как прочитал в газете «Красное знамя», издававшейся Амфитеатровым за границей:

«Первое, что должна будет произвести победоносная социалистическая революция, — это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным».

— Какую же участь старается подготовить России «революционная демократия» перед лицом надвигающихся паназиатской и пангерманской экспансий? — взволнованно спрашивал он у своего знакомого офицера.

Впрочем, разгуляться политическим размышлениям в академии было не так-то просто. Слушатели знали мнение на этот счет бывшего начальника академии генерала Драгомирова:

— Я с вами говорю как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете вступать в какие угодно политические партии. Но прежде чем вступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам.

В годы учебы приходилось Антону Ивановичу бывать и на балах в Зимнем дворце, куда съезжалось до полутора тысяч гостей. Академии Генерального штаба вручали двадцать приглашений.

Здесь, на балу, увидел Деникин императора и императрицу. Балы блистали роскошью, но сковывали своей чопорностью, отпугивали феерическим блеском...

Снова пришло время выпуска, и тут началась настоящая чехарда: причудливо менялись и тасовались списки, пересчитывались баллы, полученные на экзаменах, по воле начальника академии генерала Сухотина, самодура по природе. Среди офицеров, недобравших нужного выпускного балла, оказался и неродовитый Деникин. Вместо причисления к Генштабу ему предстояло отправиться в свою часть. Деникин вместе с тремя выпускниками, которым тоже отказали в причислении, решил идти в атаку на академическое начальство. И написал жалобу на имя государя императора. Это было неслыханно! Какой-то безродный штабс-капитан осмелился жаловаться самому государю! Разразился настоящий скандал. Деникина объявили чуть ли не преступником. А он упрямо твердил, стойко перенося разносы и упреки:

— Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву.

...Вспоминать всю эту историю Антону Ивановичу не хотелось, тем более во всех ее подробностях. Но все же один эпизод и сейчас держался в памяти.

...Выпускников принимал сам Николай II. Офицеров построили. Внешний вид каждого лично проверил военный министр генерал Куропаткин. Вошел царь. Увидев офицеров, как всегда, смутился, медленно прошел вдоль строя, задавая иногда какие-то несущественные, формальные вопросы, с безразличием выслушивая короткие ответы. Остановился возле Деникина.

— Ну а как вы думаете устроиться?

— Не знаю. Жду решения вашего императорского величества.

Царь посмотрел на Куропаткина. Тот мгновенно отреагировал:

— Этот офицер, ваше величество, не причислен к Генеральному штабу — за характер.

Антон Иванович словно прогнали сквозь строй, выпоров розгами. Накатилась горькая мысль:

«Вот тебе и справедливость воли монаршей! Каким чертополохом поросли пути к правде!»

Деникин снова с позором вернулся в бригаду. Шло время, обида не проходила, и однажды Антон Иванович вновь прибег к эпистолярному жанру. Теперь это было письмо на имя Алексея Николаевича Куропаткина:

«...А с вами мне говорить трудно», — с такими словами обратились ко мне Вы, ваше превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса академии. И мне трудно было говорить с Вами. Но с тех пор прошло два года, страсти улеглись. Сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было...»

Письмо было объемистым, но предельно искренним. Отправив его, Деникин словно снял с себя тяжесть. Был уверен, что никакого ответа не будет.

И вдруг новогодний подарок — телеграмма из Варшавы. Деникин был вне себя. Но на этот раз — от радости. Телеграмма была адресована «Причисленному к Генеральному штабу капитану Деникину!»

Продевая под правый погон аксельбант офицера Генштаба, Антон, улыбувшись, вспомнил девиз генштабистов: «Больше быть, чем казаться!» Упорство принесло победу.

...Антон Иванович вышел на крыльцо подышать перед сном свежим воздухом. Глядя на мерцавшие в ночном небе звезды, вслух произнес девиз всей своей жизни:

— Больше быть, чем казаться!

На склоне лет Антон Иванович Деникин мечтал лишь об одном: до ухода из жизни закончить книгу воспоминаний «Путь русского офицера». Он задумал этот труд как рассказ о своем жизненном пути и об эпохе, в которой ему довелось жить. Он торопился, нервничал, когда не мог отчетливо вспомнить то или иное событие или когда под рукой не оказывалось нужного документа. А порой

дело шло и совсем плохо: мысли путались. От напряжения сжималось сердце, болела голова. Ксения Васильевна, видя, как он мучается, настоятельно советовала прилечь, отдохнуть, а то и вовсе сделать длительный перерыв в работе, порыбачить или сходить на грибную охоту. Однако Антон Иванович отмахивался от этих советов: теперь счет жизни шел уже не на годы, не на месяцы, а на дни или даже часы. Надо спешить, надо успеть, во что бы то ни стало успеть! Антон Иванович истово верил, что если не теперь, то через годы, через десятки, а может, и сотни лет его воспоминания будут востребованы потомками, ибо они, эти воспоминания — частица русской военной истории, без знания которой невозможно считать себя образованным человеком, невозможно прокладывать пути в будущее.

Сейчас он приступил к воспоминаниям о русско-японской и русско-германской войнах, эти главы книги ему были особенно дороги, ибо обе войны прошли через его жизнь, и пусть они не были победоносными, но велись во имя защиты национальных интересов России, отстаивали ее независимость, и в это справедливое дело он, Деникин, внес частицу и своего ратного труда.

Русско-японская война явилась тяжелым испытанием для России и ее армии. Российская общественность была почти в полном неведении того, что происходило на Дальнем Востоке. Это подтверждала и официальная история войны:

«В то время как в Японии весь народ, от члена Верховного тайного совета до последнего носильщика, отлично понимал и смысл, и самую цель войны с Россией, когда чувство неприязни и мщения к русскому человеку накоплялось там годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью; смысл их понимался лишь очень немногими... Все, что могло выяснить смысл предстоящего столкновения, цели и намерения правительства, или замалчивалось, или появлялось в форме сообщений, что все обстоит благополучно. В результате в минуту, когда потребовалось общее единение, между властью и народной массой легла трудно устранимая пропасть».

Размышляя о сложной, противоречивой и запутанной динамике дальневосточных событий, Антон Иванович писал о том, что Россия, вступившая за неприкосновенность Китая, сама завладела Квантунским полуостровом, обратив Порт-Артур в крепость и Далиенван (Дальний) — в коммерческий порт, открытый для иностранной торговли. По мнению Деникина, этот акт не имел оправдания, разумеется, он был предпринят для обеспечения жизненных интересов России, выхода к незамерзающим портам Тихого океана в условиях почти полной стратегической изоляции японскими островами. И все же акт этот не имел оправдания, повторял Антон Иванович, потому что был осуществлен *н а с и л ь с т в е н н о!* Деникин отмечал далее, что в 1898 году Китай согласился сдать в аренду Квантунские порты сроком на 25 лет. И какая буря в связи этим разразилась в Японии! Да только ли в Японии! Англия и Америка тоже насторожились: они боялись потерять маньчжурский рынок. Япония прочно обосновалась в Корее. Создав угрозу Приамурскому краю, Сибирской магистрали и свободе морских сообщений на Дальнем Востоке через Корейский пролив.

Как всегда, против России ополчился едва ли не весь мир. Англия помогала Японии усиливать свой флот. Английский главнокомандующий после занятия Россией Порт-Артура заявил, что в случае войны британская армия будет в полной готовности. Америка предоставила Японии широкую экономическую помощь. Без активной помощи со стороны США и Англии Япония не решилась бы на войну с Россией.

Деникин особенно переживал оттого, что Россия оказалась совершенно не подготовленной к войне ни в политическом, ни в военном отношении. Военный министр Куропаткин считал, что главная опасность для России сосредоточена на западе, и не думал о необходимости укреплять Дальний Восток в военном отношении, дабы не распылять силы и средства. В результате на огромной территории Дальнего Востока находилось всего лишь 108 батальонов, 66 конных сотен и 208 орудий, всего около 100 тысяч офицеров и солдат. Решать задачу посылки военных подкреплений из центра было невероятно слож-

но, ибо пропускная способность Сибирской магистрали составляла всего три пары сквозных поездов в сутки. Мало того что военный потенциал России на Дальнем Востоке был чрезвычайно слаб, так ее государственные мужи удосужились недооценить военную силу Японии. Считалось, что Япония поставит под ружье 345 тысяч солдат, а она поставила 2 миллиона 727 тысяч, из которых непосредственно на фронт — более миллиона человек. Япония имела преимущество и во флоте. Российская броненосная эскадра была, в сущности, равносильна японской, но состояла из судов разных систем, минные же и крейсерские суда уступали японским и в количестве и в качестве.

В ходе войны дало о себе знать и плохое знание состояния японской армии. В предвоенный период высказывались самые противоречивые мнения — от самых восторженных до совершенно уничижительных. Антон Иванович не мог забыть того, как русский военный агент полковник Ванновский в своих донесениях настаивал на том, что мощь вооруженных сил Японии — самый настоящий блеф, и обзывал японскую армию опереточной.

Не повезло России и с военным министром. Генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин был крайне осторожен, если не сказать труслив, когда дело касалось принятия ответственных решений. Он ратовал за прочное обеспечение Владивостока и Порт-Артура, сосредоточение главных сил в районе Мукден — Ляоян и постепенное отступление к Харбину до подхода главных сил. Он как огня страшился перехода к активным действиям и непрерывно заклинал: отступать, отступать и отступать!

Поражению России в войне с Японией способствовало и то, что война эта была непопулярна в российском обществе, которое, впрочем, мало интересовалось Дальним Востоком. Сергей Юльевич Витте, российский премьер, говорил откровенно: «В отношении Китая, Кореи, Японии наше общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды».

А тут еще и социал-революционеры. Не придумали ничего лучшего, как наводнить общество пораженческими листовками и брошюрами. В одной из них, названной «К офицерам русской армии», утверждалось:

«Всякая ваша победа грозит России бедствием упрочения «порядка»; всякое поражение приближает час избавления. Что же удивительного, что русские радуются успехам наших противников».

Стоит ли недоумевать, что после всего этого русская армия пошла на войну без всякого подъема, исполняя только свой долг?

...Антону Ивановичу отчетливо вспомнились дни, предшествующие его отъезду в действующую армию. В Варшавском офицерском собрании состоялись дружеские проводы, своеобразный «дорожный посопок». Деникину вручили хороший револьвер. А сам Антон Иванович на случай своей гибели составил завещание, в котором писал о том, что не имеет никакого имущества, но зато имеет множество долгов, и просил погасить эти долги из его литературных гонораров. Присовокупил сюда и главную просьбу: позаботиться о его матери.

В Омске Деникин узнал, что командующим Маньчжурской армией назначен Куропаткин. Все, кто близко знал этого генерала, не скрывали своего отрицательного отношения к нему. Драгомиров был возмущен этим назначением. Он писал в открытую:

«Я, подобно Кассандре, часто говорил неприятные истины, вроде того, что предприятие, с виду заманчивое, успеха не сулит; что скрытая ловко бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало...»

Но не все разделяли это мнение: как-никак над Куропаткиным веял еще ореол легендарного генерала Скобелева, у которого он был начальником штаба. Конечно, наиболее высоким был авторитет генерала Драгомирова, который был участником русско-турецкой войны, успешно руководил переправой через Дунай у Зимницы и действиями дивизии при обороне Шипки. Кроме того, он был широко известен как военный теоретик, прославился своими трудами по военной педагогике, доказывал значение морального фактора для успеха боевых действий. Но к началу русско-японской войны Драгомиров был серьезно болен и, естественно, принять командование войсками не мог.

В первое время своего пребывания на Дальнем Восто-

ке Деникин был разочарован: он стремился на фронт, а попал в Заамурский округ пограничной стражи, где не происходило военных действий, а лишь случались стычки с китайцами-хунхузами, которые облагали данью заводы, грабили предпринимателей, производили реквизиции в населенных пунктах. Здесь Деникину предстояло служить в роли начальника штаба 3-й Заамурской бригады. К Пасхе Деникин был произведен в подполковники.

Антон Иванович бомбил вышестоящий штаб просьбами о назначении в Действующую армию. Выручил случай: в штабе Маньчжурской армии была получена телеграмма о том, что тяжело ранен начальник штаба Забайкальской дивизии, которой командовал генерал Ренненкампф. Деникина запросили: «Не хотите ли туда? Учтите только, что штаб этот весьма серьезный — голова там плохо держится на плечах». Антон Иванович с ходу ответил:

— Ничего, Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.

Он был счастлив: ему предстоит воевать вместе с Ранненкампфом, тем самым отчаянным корнетом, который пил шампанское подобно толстовскому Долохову! Антону Ивановичу хватило получаса, чтобы собраться в путь. Вестовой привьючил к лошади походный чемодан «Гинтера», в котором помещался весь скарб Деникина, и, сопровождаяемый ординарцем, Антон Иванович двинулся в путь к затерянному в горах Восточному отряду генерала Ренненкампфа.

...Антон Иванович решил-таки прервать работу над рукописью и отправился на рыбалку. Закинув удочку в темный омут, уставился на поплавок. Клева не было, и он снова весь ушел в воспоминания. Достал из широкого кармана крутки блокнот и, чтобы не забыть, начал делать пометки.

Ренненкампф встретил Деникина с радостью, пригласил к себе отметить прибытие. За дружеским столом развернулась оживленная беседа о делах фронта. Ренненкампф с жаром доказывал, что организация управления дальневосточными войсками совершенно ошибочна. Главное — здесь не было полномочного хозяина, сло-

жилось какое-то противное военной структуре двоевластие. Маньчжурской армией командовал Куропаткин, а над ним «висел» наместник-адмирал Алексеев, выполнявший роль главнокомандующего. Между ними то и дело разгорались конфликты из-за прямо противоположных взглядов на способы ведения войны, разногласия касались даже мелочей. Каждый стремился действовать самостоятельно, то и дело лез со своими жалобами к государю. Из далекого Петербурга положение дел на Дальнем Востоке виделось, естественно, очень плохо, и потому из столицы шли рекомендации, часто исключаящие одна другую. В результате царил разброд и хаос. Не зря Витте наставлял Куропаткина после его назначения:

— Когда приедете в Мукден, первым делом арестуйте Алексеева и в вашем же вагоне отправьте в Петербург, донеся телеграммой государю. А там пусть велит казнить или миловать!

Витте, разумеется, шутил, но Куропаткину было не до шуток.

Началась полоса сплошных неудач. Заперев русскую армию в Порт-Артуре, японцы беспрепятственно высадились на материк. Японская армия Куроки вышла на реку Ялу и ударила по восточному авангарду генерала Засулича под Тюренченом. Русские понесли огромные потери — свыше 2700 человек. И неудивительно: у японцев оказалось пятикратное превосходство в силах.

Затем снова начались разногласия. Алексеев требовал удара по армии Оку, которая выдвинулась к южно-маньчжурской железной дороге с целью деблокировать Порт-Артур. Куропаткин же решил предоставить крепость собственной участи — до подхода подкреплений из Центральной России. Телеграммы десятками летели в Петербург. Царь стал на сторону Алексеева. Завязался ожесточенный бой у Вафангоу, закончившийся поражением из-за размытых дорог, плохого снабжения боеприпасами. Кроме того, армия была сильно обескровлена и утомлена.

Двадцать второго июля Куропаткин решил нанести удар по армии Куроки, пополнив свои силы двумя корпусами, прибывшими из России. Казалось, наступление

развивается успешно. Когда Оку атаковал войска генерала Зарубаева, русские отбили все атаки японцев. Настроение у русских было приподнятое, однако в ночь на 25 июля Зарубаев отдал странный приказ отступать к Хайчену. Алексеев поспешил наябедничать царю: «Ничем не оправданное отступление...»

Куропаткин между тем приказал армии сосредоточиться у Ляояна, заявив во всеуслышание: «От Ляояна я не уйду». Вскоре началось наступление трех армий японцев на передовые ляоянские позиции. Бой длился двое суток. Продержись русские еще немного, и они разрезали бы армию Куроки надвое и, естественно, добились бы успеха. Но в ночь на 1 сентября Куропаткин... отводит свою армию на главные позиции к реке Шахо. Цена сражения: русские потеряли 18 тысяч, японцы — свыше двадцати трех.

В начале октября Куропаткин все же решил перейти в новое наступление. В своем приказе по войскам он выглядел весьма решительным:

«Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы Маньчжурской армии стали достаточны для перехода в наступление». В войсках этот приказ восприняли на «ура».

Наступление началось удачно. Передовые части японцев были разбиты, отряд генерала Ренненкампа обошел фланг Куроки по долине реки Тайцзэхе. И снова началась «куропатковщина»: вместо стремительного безостановочного движения — преступная медлительность. Начались кровопролитные бои в горах. Атаки на крутые сопки не приносили успеха. Японский маршал Ойяма перешел в наступление и ударил в центр Западного отряда русских. Прорыв не удался, однако японцы отвлекли на себя почти все резервы Куропаткина. Как и следовало ожидать, наступление Восточного отряда захлебнулось: вместо того чтобы контратаковать на равнине, русские полезли в горы. Отсюда — громадные потери. Русские сражались доблестно. Бригада 5-й Сибирской дивизии генерала Путилова вела отчаянный бой на сопке, потеряв много офицеров и солдат убитыми и ранеными, но сопку отстояла. Тут же, на сопке, были похоронены и японцы — полторы тысячи трупов. Сопку стали именовать

«Путиловской». Так закончилось сражение, получившее название Шахэйского...

...Антон Иванович подсек окуня, опустил его в ведро, закинул удочку и снова погрузился в далекое прошлое, в фанзу, где размещался штаб генерала Ренненкампа.

Забайкальская казачья дивизия, которой командовал Ренненкампа, располагалась в горном массиве, солдаты и офицеры жили в землянках и фанзах. Быт — самый неприхотливый. Землянки представляли собой обычные ямы в аршин глубиной, крыша покрыта соломой и засыпана слоем земли. Потолок, пол, двери — все из гаоляна. Весь день в землянке дымится примитивный камин, сложенный из камней. Труба над крышей сложена из банок от керосина. В таких условиях жили и осенью, и зимой, даже когда грянули двадцатипятиградусные морозы.

Трудностей было хоть отбавляй: в горах полное бездорожье, не хватало продовольствия, особенно хлеба, сами пекли лепешки. Выручало обилие местного скота, мяса было вдоволь. Офицерский стол почти не отличался от солдатского.

Удобств в полевом штабе — никаких. Ни пишущей машинки, ни ротатора, лишь карманные полевые книжки. Но настрой — боевой.

В память врезался один эпизод. Стоял двадцатиградусный мороз. Стрелки заняли позиции на гребне сопки. Деникин спустился вниз, к резерву. Горели костры, солдаты спали на соломе. Ординарец Старков ломом выдолбил яму, настелил соломы, чтобы Деникин мог лечь и отдохнуть. Антон Иванович попробовал прилечь — тело сковало холодом, решил не спать. На рассвете японцы открыли сильнейший огонь, такой, что не поднять головы. Капитан Чембарского полка Богомоллов ходил по цепи во весь рост, проверяя прицелы. Деникин, заметив это, крикнул:

— Капитан, зачем вы это делаете? Нагнитесь!

— Нельзя, господин подполковник. Люди нервничают, плохо целятся.

Бой разгорался. Вниз по сопке ползли раненые. Одному унтер-офицеру пуля попала в голову. Богомоллов на-

клонился. Поцеловал его в лоб, присел возле него, закрыв в отчаянии лицо руками...

«...Сколько таких безвестных Богомоловых приходилось встречать на полях маньчжурских!» — подумал Деникин.

...Потом начались переговоры в Портсмуте, начались после многих боев и сражений. Горько было сознавать, что Петербург устал от войны более, чем армия. Правящий режим пребывал в постоянном страхе от приближающейся революции, от террористических актов. Аграрных беспорядков, забастовок.

...Антон Иванович записал в блокноте:

«Можно сказать с уверенностью, что, не будь тяжело-го маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы Первой мировой войны...»

Двадцать шестого июля Деникин был произведен в полковники и представлен к двум боевым наградам. Впереди было много работы — надо было внедрять в обучение войск опыт русско-японской войны.

...Из дальневосточной тайги мысли Деникина перекинулись в Западную Европу. На русско-германский фронт. Нужно было посмотреть архивные материалы, систематизировать свои собственные записи. Пора было собираться, тем более что клев вовсе прекратился. За письменным столом Антон Иванович достал нужную папку. Сразу же попался на глаза документ — отзыв генерала Брусилова о нем, Деникине:

«Генерал Деникин по собственному желанию служит не в штабе, а в строю, получил 4-ю стрелковую бригаду. Именуемую «Железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала».

Да, это была настоящая «Железная» бригада! Антон Иванович и теперь словно стоял перед строем бойцов, вглядываясь в их мужественные, обветренные ветрами лица. Бригада прославилась еще в русско-турецкую войну, во время знаменитого перехода через Балканы и героических боев на Шипке. На Шипку бригада пришла форсированным маршем на выручку истекающему кровью гарнизону и отстояла перевал. Прощаясь с бригадой, генерал Гурко сказал:

«История оценит ваши подвиги... Дни, проведенные с вами, стрелки, я считаю и всегда буду считать самыми лучшими днями своей жизни».

Антон Иванович вспомнил, что вначале «Железная» бригада встретила его настороженно. До него комбригом был генерал Буофал, который долго, с молодых лет, служил в этой бригаде и был там своим человеком. И когда его сменил Деникин, офицеры бригады считали, что он как офицер Генштаба мелькнет у них «как метеор». Но стоило им увидеть Деникина в боевой цепи, как мнение это резко изменилось. К тому же офицеры узнали, что в начале 1915 года Деникину было предложено повышение на дивизию, а он решительно отказался, не желая расставаться с «Железной» бригадой. Офицеры заговорили: «Антон Иванович стал наш. Наш «железный стрелок», и точка».

Лучшей оценки, чем эта, для Деникина не могло и быть. Это было выше орденов, выше почестей и славы!

...Антон Иванович взял ручку, хотел продолжать писать. И тут будто осколок снаряда, с той, русско-германской войны, ударил в сердце. Ручка выпала из пальцев, Деникин схватился за грудь. Ксения Васильевна мигом поняла все, кинулась за сердечными каплями. Дрожаящими пальцами схватила пузырек, накачала лекарство в мензурку. Дала Антону Ивановичу выпить, уложила в постель. Вскоре ему стало легче, и он попытался снова сесть за работу. Но жена не разрешила. Деникин вскоре уснул. «На этот раз, кажется, пронесло», — думала Ксения Васильевна.

23

Двадцатого июля 1947 года у Деникина случился новый сердечный приступ. Было это в доме его хорошего знакомого на ферме в штате Мичиган. Антона Ивановича срочно доставили в городок Анарбор, в больницу при Мичиганском университете. Здесь он почувствовал себя значительно лучше и даже попросил Ксению Васильевну привезти ему рукопись, чтобы он мог продолжить работу над своей заветной книгой.

Но поработать ему не удалось. Финишный рубеж жизни был уже совсем рядом...

Порой Антон Иванович терял сознание, а когда голова вновь становилась ясной, к нему приходили все новые и новые думы. Думы эти были тяжелые, овеванные грустью и чувством раскаяния. Нет, не так, совсем не так, как надо, была прожита жизнь. Чему он ее посвятил, на что растратил? Он, мальчонка из бедной, едва ли не нищенской семьи. Внезапно взмывший в облака волею причудливых обстоятельств, стал генералом, Главкомом командующим вооруженными силами Юга России, намерился пойти против течения, стать на пути бушующего потока, сносящего все, что столетиями возводилось на Руси. Воробышек стал орлом! Да, орлом, но может ли он гордиться этим? Орел, как известно, хищник, терзающий страшным клювом и когтистыми лапами свою добычу. Да, орел по-своему красив. Как может быть красив именно хищник, он горд и независим, полон достоинства и презрения к слабым, смел и неистов в полете, способен покорять небесную высь, горные вершины и утесы. Но способен ли он созидать? Только разорение и разрушение несет он в мир, сея вокруг себя страх и ненависть.

Такова была и его жизнь. Не жизнь, а череда бесконечных войн, постоянного разрушения. Сперва война с японцами, потом с немцами, следом за этим — с красными войсками. Да-да, во многом и по твоей воле была развязана эти третья, самая бессмысленная война, которую почему-то называли высоким словом — гражданская. И что они дали людям, эти войны? К чему были эти страшные жертвы — гибель миллионов, родившихся, чтобы жить и созидать, ужасающая разруха, голод и — смерть, смерть...

Какое же место в истории займешь ты, Антон Иванович Деникин? Одни историки будут писать о тебе как о человеке, обуянном бредовой идеей вернуть народ в стойло эксплуатации, стремившемуся сохранить в России все как оно сложилось веками, а значит, сохранить неправедность, произвол и самое дикое рабство. Другие начнут слагать о тебе гимны, прославлять как истинного русского патриота, решившегося на борьбу со страшным злом

человечеств — тоталитаризмом, рисовать образ великого страдальца и мученика, защитника веры, демократии, отечества.

Кто же из них будет прав? Скорее всего, ни те ни другие — все они будут далеки от истины. Скорее всего, правильнее будет оценить тебя как борца с насилием, с революционными взрывами. А любая борьба несет в себе и страшный заряд зла, ибо она не мыслится без уничтожения одних другими, хотя и содержит в себе прекрасный заряд надежды на более справедливое будущее.

Антон Иванович постоянно взвешивал все «за» и «против», так и не приходя к какому-то определенному выводу. И потому старался отбросить эти мысли прочь как бесплодные и уже ни на что не влияющие. Он заставлял себя верить в то, что все-таки жизнь прожил не зря, ибо ни на шаг не отступил от своей идеи, не предал ее.

И все-таки... Неужели нельзя было переосмыслить убеждения и принципы и пойти тем путем, которым пошло большинство русского народа? И может быть, перейти к красным? Он в очередной раз отбросил ту казавшуюся ему страшной мысль: нет, режим, который был установлен сейчас в России, — это совсем не то, о чем он мечтал...

Чаще всего его одолевали мысли о смерти. Как несправедливо устроена человеческая судьба в этом яростном мире! Наделенный способностью мыслить, человек принужден постоянно задумываться о своем неизбежном конце. Не лучше было бы, если бы человеку было заранее свыше определено число лет, которые ему предстоит прожить, и день, в который суждено уйти в небытие. А так все покрыто мраком, тайной, которую не разгадать никому...

Новый сердечный приступ обрушился на Деникина, и тут уже никто не мог его спасти, даже сам Господь Бог... Стоявшие у постели Ксения Васильевна, Марина и Дмитрий Викентьевич Бекасов были теми, самыми дорогими ему, людьми, которые услышали последние слова:

— Жаль, не увижу, как Россия спасется...

Деникин ушел в иной мир 7 августа 1947 года, на семьдесят пятом году жизни. Отпевали его в Успенской

церкви города Детройта, временно погребли с воинскими почестями американской армии на кладбище в этом же городе. Ныне его прах покоится на русском кладбище Святого Владимира в местечке Джексон штата Нью-Джерси.

Еще одна печальная и трагичная судьба русского полководца, русского патриота, у которого отняли самое дорогое — Россию...

24

Из записок поручика Бекасова

Пришел день, когда мне исполнилось семьдесят пять — в этом возрасте скончался Антон Иванович Деникин. В памяти моей часто вставало грозное августовское утро, когда Деникина отпевали в Успенской церкви города Детройта, а затем погребли с воинскими почестями американской армии на кладбище. Впоследствии его прах был перенесен на русское кладбище Святого Владимира в местечке Джексон штата Нью-Джерси. Вот куда занесла переменчивая судьба мятежного русского генерала!

Весной 1957 года, когда у Антона Ивановича участились приступы грудной жабы, он был со мной особенно откровенен. Его беспокоили в основном две проблемы: во-первых, боязнь не дожить до того дня, когда, как он выражался, «воскреснет Россия и сгинет зло», и, во-вторых, нежелание после смерти быть погребенным в Америке, вдали от Родины.

В те весенние дни, когда под окном цвела его любимая сирень, Антон Иванович часто говорил со мной на одну и ту же тему: как сделать, чтобы его прах был перенесен в Россию, если в ней когда-то падет тоталитарный режим.

— Как вы думаете, Дмитрий Викентьевич, — как-то спросил он меня, пребывая в глубокой задумчивости, — люди и после смерти обречены на страдания? Я имею в виду тот свет, — добавил он почему-то, хотя я и так понял смысл его вопроса.

Честно говоря, будучи верующим, я тем не менее не очень-то верил в существование того света и, когда

мне такая мысль приходила в голову, истово крестился перед иконой и просил у Бога прощения за свое вольнодумство. Но убеждений не менял: если человек умер, то он уходит в небытие навечно, ибо, согласно законам природы, его место занимает вновь народившийся человек, дабы продолжался род людской. Может быть, я был и не прав, но с теорией второй жизни человека, ушедшего на тот свет, не мог согласиться, как не мог согласиться и с многочисленными новоявленными теориями о том, что каждый человек после смерти через какое-то время вновь появляется на земле, абсолютно схожий с тем, прежним.

Однако, говоря с Антоном Ивановичем на эту тему, я старался поддерживать его в тех убеждениях, которые он исповедовал, хорошо понимая, что нельзя лишним раз волновать и без того тяжело больного человека.

— Поймут ли потомки мои деяния, одобрят их или проклянут? — Он волновался так, как будто в этот момент для него самым важным была не жизнь, не стремление отдалить от себя неизбежное, а то, что подумают о нем потомки и каким он останется в российской истории.

Конечно, я насколько мог убеждал его в том, что имя его не будет забыто в России и что со временем все оценки станут соответствовать истине. Пока же в Советском Союзе Деникин вспоминался в трудах по истории государства и истории гражданской войны только со знаком минус, в сопровождении таких ярлыков, как «махровый контрреволюционер», «ставленник Антанты», «цепной нес империализма», «организатор крестового похода на Москву», «лакей и лизоблюд самых черных сил реакции» и т.д. и т.п. Казалось, каждый новый автор изо всех сил старался пережеголять предыдущего и позабористее заклеить «закоренелого врага трудового народа» или «марионетку Антанты». Казалось также, что все самые злые ругательства и ярлыки уже полностью исчерпаны и не найдется новых, еще более злых и ядовитых, чтобы окончательно пригвоздить Деникина к позорному столбу истории. Но, как оказалось, этот источник был неиссякаем.

Мысли о несправедливости по отношению к Деникину пригодились мне, когда я, спустя много лет после смерти

Антон Ивановича, решил посетить советское посольство в Вашингтоне. Мой старый друг отговорил меня сразу же проситься на прием к кому-либо из ответственных работников посольства и посоветовал предварительно направить туда свое письмо. Что я и сделал.

В письме на имя посла я подробно рассказал о себе, об отношениях с Деникиным, о том, как коварно обошлась со мной судьба, и просил принять меня по вопросу хотя и личному, но тем не менее, как мне казалось, имеющему и определенное общественное значение. Теперь мне оставалось лишь терпеливо ждать ответа.

Ответ этот, к моему огорчению, долго не приходил. Надо ли говорить, в каком состоянии я находился, когда едва ли не через месяц после отправки письма в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонили из посольства. Меня готовы были принять в назначенный день и час.

Я отправился по указанному адресу задолго до назначенного времени, боясь, что какие-то не зависящие от меня обстоятельства помешают мне прибыть вовремя.

К моему удивлению, меня не заставили ждать в приемной, а тут же провели в небольшой, со вкусом отделанный кабинет. Я переступил его порог не без внутренней дрожи: момент в моей жизни был слишком ответственный. Ведь я вступал на территорию того самого государства, с режимом которого так отчаянно боролся Деникин и я вместе с ним. В голове моей мелькали самые дикие предположения, одним из которых было следующее: меня немедленно арестуют, «оденут» в наручники, и никто никогда не узнает о моем таинственном исчезновении. В памяти свежи были исчезновения Кутепова, Миллера да и многих других...

Из-за стола навстречу мне поднялся человек высокого роста, плотного сложения, весьма подвижный для его уже далеко не юного возраста, в очках. Несмотря на отсутствие внешнего сходства, мне почему-то сразу вспомнился Дзержинский тогда, в восемнадцатом году, на Лубянке. Правда, во взгляде этого человека не было приглушенного фанатичного блеска, характерного для Дзержинского. И все же я внутренне поежился, почти точно так же, как в тот памятный день.

Меня удивило то, что сотрудник посольства при моем появлении встал, ведь он мог бы принять меня и сидя, подчеркнув этим свою значимость и сразу же как бы указав мне на то место, которое я занимаю в современном советском обществе. Однако он пожал мне руку и пригласил сесть, после чего вновь занял свое место за столом и некоторое время молча смотрел на меня, словно стараясь понять, что я за человек.

— Меня зовут Владимир Юрьевич, — наконец представился он. Голос его был хотя и резковат, но приятен на слух.

Я встал и вытянулся по-военному:

— Поручик... Виноват, бывший поручик Бекасов!

— Господин Бекасов. — Он жестом руки возвратил меня на место. — Мы приносим свои извинения за то, что несколько затянули с ответом на ваше письмо. Надеюсь, что вы примете во внимание обстоятельства, которые...

— Несомненно, несомненно, — торопливо заверил его я, чувствуя, что в моем голосе вопреки моей воле зазвучало явное подбострастие. — Я понимаю...

Мне показалось, что Владимир Юрьевич слегка улыбнулся. Я заметил, что на столе перед ним лежит папка, в которых обычно содержатся материалы личных дел.

Владимир Юрьевич указал на папку и сказал:

— Здесь во всех материалах вы проходите как поручик Бекасов. Неужели генерал Деникин так и не повысил вам звание?

— Никак нет, — поспешно ответил я. — Генерал Деникин еще в двадцатом году произвел меня в полковники, но, честно говоря, это звание не сыграло никакой роли в моей жизни. И я всегда предпочитал оставаться поручиком. Что может быть прекраснее того, что связано с молодостью!

Владимир Юрьевич слегка кивнул массивной головой. Что-то в его лице, заостренном книзу, было от библейского пророка, от иконы, и мне подумалось о том, насколько его внешний вид не соответствует привычному образу дипломата.

— Молодости можно только завидовать, — откликнулся он. — Однако я готов выслушать вашу просьбу.

Стараясь подавить волнение, я начал было рассказывать свою историю, начиная с восемнадцатого года, но Владимир Юрьевич мягко прервал меня:

— Все это нам достаточно хорошо известно. И то, что ВЧК заслала вас в штаб Деникина, и то, что в результате вы перешли на сторону, скажем так, противника советской власти, а затем эмигрировали вместе с ним. Вероятно, вы и сами сознаете, что на вас лежит тяжелая вина за нарушение своих обязательств.

— Да, эта вина не дает покоя моей совести, — искренне признался я.

— Это признание делает вам честь. Кроме того, мы знаем и то, что вы не принимали деятельного участия в попытках определенной части белой эмиграции покушаться на завоевания социализма в СССР.

— Я чрезвычайно признателен вам за точную оценку моего поведения за рубежом. — У меня появилась надежда на то, что посольство окажет мне какую-то помощь. — Позвольте изложить вам суть моей просьбы.

И я рассказал о том, при каких обстоятельствах много лет назад потерял жену и, возможно, ребенка и о том, что, если это возможно, хотел бы поехать в Москву и Новороссийск, чтобы попытаться разыскать их или хотя бы узнать об их судьбе. Кроме того, я сказал о своем желании передать в советские архивы многочисленные материалы о Деникине, имевшиеся в моем распоряжении.

Владимир Юрьевич терпеливо слушал меня.

— Конечно, я нарушил свой долг, и ничто не может служить мне оправданием, — продолжал я, — и все-таки... Все дело в том, что с течением времени генерал Деникин открылся мне с совершенно иной стороны. Чем больше я его узнавал, чем глубже вникал в побудительные мотивы его действий, тем сильнее у меня пробуждалось чувство уважения к этому человеку. Он руководствовался не личными и тем более не корыстными мотивами, а интересами России в том виде, как он их понимал, интересами, которые, как он полагал, пойдут во благо русскому народу. Несомненно, он был патриотом России и счастье ее понимал по-своему, совсем не так, как понимали его большевики. Я понял, что он ведет

борьбу не ради себя, не ради карьеры, не ради желания властвовать — он боролся за свою идею, которую считал единственно правильной. В этом его заслуга и в этом его вина, ибо даже благие цели, если они ведут к кровопролитию, к междоусобной войне, не могут быть оправданы.

— Это, разумеется, можно понять, — спокойно произнес Владимир Юрьевич. — И даже без ваших объяснений можно прийти к выводу, что против того Деникина, каким вы его узнали, вы не посчитали возможным вести агентурную работу, вам порученную.

Я был рад, что Владимир Юрьевич, опередив мои дальнейшие оправдания, сам высказал то, что собирался сказать я.

— У вас дар провидца, — взволнованно сказал я. — Да, я посчитал, что не имею права, втершись в доверие к Деникину, вести против него бесчестную игру.

— Деникин, как бы к нему ни относиться, — часть нашей истории. — Кажется, Владимир Юрьевич приступил к основной части нашей беседы. — Разумеется, он личность незаурядная. Мы ценим то, что он в годы Второй мировой войны, не в пример иным бывшим генералам типа Краснова или Шкуро, решительно отказался от сотрудничества с гитлеровцами и неизменно выступал за победу русского народа над фашизмом. Да, личность незаурядная, — снова повторил он. — Мы знаем, что Деникин не принимал деятельного участия в Российском общевойсковом союзе, имел к нему чисто касательное отношение.

— Вы совершенно правы, — подтвердил я.

— Скажу откровенно, я был поражен, да, именно поражен одним обстоятельством, — спокойно, даже отрешенно, будто в кабинете, кроме него, никого не было, произнес Владимир Юрьевич. — Тем, что в «Очерках русской смуты» генерала Деникина, с которыми мне довелось ознакомиться, совершенно не ощущается патологической ненависти к советской власти, и в частности к большевизму. Да, Деникин жестко, непримиримо, не скрывая своей враждебности, пишет о советской власти и о большевиках. Но, в отличие о своих сподвижников по белой эмиграции, он не опускается до слепой ненависти,

не прибегает к змеиному шипению. Он старается нанести удар по враждебному лагерю фактами, анализом, пусть и ошибочным, а не примитивной пещерной злобой. Уже только за это он заслуживает уважения. Сын своего времени, порождение монархического строя, он тем не менее стремится быть объективным, хотя это и не всегда ему удается. Примечательно также, что даже Белое движение, столь любезное его сердцу, он безжалостно анатомирует и порой не удерживается от того, чтобы снять с него ореол романтики, извлекая на свет не только достоинства, но и недостатки. Это, повторяю, делает ему честь, хотя он и остается врагом нашей революции, а следовательно, контрреволюционером.

Владимир Юрьевич сделал продолжительную паузу, и я решил воспользоваться этим:

— Вы назвали Деникина контрреволюционером. Но обычно так называют тех, кто выступает против своего народа. Что касается Антона Ивановича, то он, могу в этом поклясться, поскольку знаю не понаслышке, преданно и даже трогательно любил свой народ...

— Ничего себе любви! — повысил голос Владимир Юрьевич. — Все знают, что он вольно или невольно стремился оставить этот самый народ, столь горячо им любимый, в ярме эксплуатации!

— И все же Антон Иванович хотел улучшения народной доли, — попытался возразить я. — Другое дело, что он хотел этого улучшения без революционных потрясений. Кроме того, он был твердо убежден, что в человеческом обществе нет и не может быть равенства и единого для всех жизненного уровня, не может быть истинной свободы, пока люди зависимы друг от друга экономически, а эта зависимость будет существовать при любом социальном строе. Деникин считал, что свобода, равенство, братство — это лозунги почти всех революций, лозунги, которые исчезают с победой этих революций. Он полагал, что всякая новая революция ведет лишь к новому переделу собственности, который неизбежно сопровождается насилием и кровью.

— Как же он мыслил преобразить мир? В нашем понимании революции — это локомотивы истории.

— Размышляя о революции, Антон Иванович был

убежден, что она приводит лишь к разрушению и не несет в себе ничего созидательного.

— Однако не существует иного способа преобразовать мир, кроме революции. Всякие так называемые реформы — это лишь заплатки на старой одежде. Сколько же веков должны терпеть угнетенные и обездоленные люди, чтобы им обеспечили хотя бы сносную жизнь?

Я промолчал, понимая, что любые мои доводы не переубедят правоверного коммуниста, и если даже в чем-то он со мной и согласится, все равно не сочтет возможным признаться в этом, да еще в стенах посольства.

— Теперь о том, что касается вашей просьбы. — Владимир Юрьевич вдруг круто переменял тему. — Даже без тех признаний, которые вы столь старательно изложили в своем письме, нам предельно ясно, что задание Феликса Эдмундовича Дзержинского вы, можно сказать, провалили, причем совершенно сознательно. Пусть не сразу, ибо на первых порах вашего пребывания в штабе Деникина вы что-то для нас делали. Так что, — скупно улыбулся, а точнее, усмехнулся Владимир Юрьевич, — вы тоже внесли небольшой вклад в победу красных над своим любимцем. Особенно тем, что передали в Центр содержание так называемой «Московской директивы» Деникина. А затем вы, образно говоря, канули в Лету, намеренно порвав с нами все связи. Представляю себе, как ломали головы чекисты тех лет, пытаясь понять, что же это с вами произошло. Оказывается, из противника Деникина вы превратились в его приверженца, сотворив из него кумира...

— Не смею спорить с вами, — виновато проговорил я. — Если вы считаете меня перевертышем, изменником, я готов принять любую кару, какую, по вашему мнению, заслуживаю.

— Разумеется, закон не на вашей стороне, господин кающийся грешник, — с некоторой иронией произнес Владимир Юрьевич. Я обратил внимание, что он ни разу не назвал меня предателем или изменником. — Но для нас, а точнее, для тех, кто будет жить после нас, для новых поколений важно другое. Мы прекрасно понимаем, что история гражданской войны в том виде, как ее выстроили советские историки, хотя в основе своей и правди-

ва, все же грешит явной однобокостью, точнее, эта история не во всем объективна. Что поделаешь, она выстроена с классовых позиций. Конечно, любая история не может не быть тенденциозной, ибо с ее помощью отстаиваются и оправдываются деяния тех, кому она призвана служить. Всякая история — это во многом социальный заказ существующего режима. Как только рушится этот режим, история спешно перестраивается в угоду новым властителям, и новые историки уже тут как тут, на подхвате. А это неизбежно приводит к субъективизму и, следовательно, к искажению и обеднению истины. Думаю, что в свое время общество востребует более объективного подхода к истории гражданской войны. В ней, этой истории, видимо, будет дан более достоверный анализ Белого движения, и в этой работе ваши многолетние наблюдения, факты, свидетельства как живого участника событий могут пригодиться, в том числе и все то, что касается фигуры такого деятеля Белого движения, каким был Деникин.

Я судорожно вздохнул, и этим невольным вздохом как бы сбросил с себя нервное напряжение, которое вселилось в меня с первых же минут этой необычной беседы.

— К сожалению, — осторожно начал я, нескандално радуясь тому, что мои знания, оказывается, могут быть востребованы, — советские историографы рисуют таких людей, как Деникин или Колчак, одной лишь черной краской, с помощью злой карикатуры...

— А вам как бы хотелось? — жестко оборвал меня Владимир Юрьевич. — Ведь понятно, что в классовых битвах победу могут одержать лишь две, по существу взаимноисключающие друг друга силы — любовь и ненависть. Разве народ мог победить в гражданской войне, не испытывая любви и доверия к новому, советскому строю, к Ленину и без ненависти к царизму, контрреволюции, к тому же Деникину? Разве мы победили бы фашистскую Германию без любви и преданности народа к советскому строю и Сталину, без лютой ненависти к фашизму и Гитлеру?

— Да, вы, безусловно, правы. Но если говорить об объективном подходе...

— Если говорить об объективном подходе, то от тех приемов, к которым прибегают карикатуристы, видимо, следует отойти. Но и здесь необходимо чувство меры, проистекающее от исторической правды. Нельзя бросаться в крайности. А то вы и сами не заметите, как сдвигаете из Деникина эдакого ангела с крылышками... Давайте-ка завершим нашу дискуссию, тем более что она может оказаться чрезвычайно продолжительной. Отвечая на вашу просьбу, могу сказать, что мы постараемся помочь вам поехать в Москву. Разумеется, я не имею пока полномочий говорить о сроках. Это вопрос времени. Возможно, вам откроют доступ в архивы, связанные с гражданской войной.

— Заранее вам признателен. В Москве я бы смог передать материалы, собранные мной в библиотеке Колумбийского университета. Как и свои личные материалы: дневники, записи, документы.

— Вам следовало бы написать об истории Белого движения в России, — сказал Владимир Юрьевич. — Разумеется, к этой теме следует подойти ответственно, объективно, как и к фигуре генерала Деникина.

— Я постараюсь... приложу все силы...

— Хочу лишь предупредить, что все написанное вами вряд ли будет опубликовано, по крайней мере в ближайшие годы, а тем более теперь. Пока что это будет работа, как выражаются иные литераторы, в ящик стола.

— Меня это совершенно не смущает, — со всей возможной искренностью сказал я. — Лишь бы не в мусорный ящик.

Владимир Юрьевич снова скупно улыбнулся.

— Судя по вашему личному делу, заведенному еще в ВЧК, вы являетесь уроженцем Северного Кавказа, — неожиданно спросил он.

— Так точно, — охотно подтвердил я. Любое упоминание о Северном Кавказе согревало мою душу. — Есть такая станица Михайловская, это недалеко от Армавира.

— Вы родились в станице? — оживился Владимир Юрьевич. — Выходит, вы — казак?

— Нет, мой отец был иногородним и служил в Армавира, в кавалерийском полку.

— А что, наши молодые чекисты тогда, в восемнадцатом, хотя и не имели опыта работы, умели подбирать кадры, знали, кого следует заслать в штаб Деникина. Наверняка они учитывал, что на Северном Кавказе вы будете чувствовать себя увереннее.

— Да, это действительно так и было.

На лице Владимира Юрьевича совершенно неожиданно для меня появилась теплая улыбка. Она буквально преобразила его лицо: он словно помолодел, глаза подобрили, во взгляде появилось что-то юношеское.

— А ведь мы с вами земляки. — Эти слова он произнес так, будто знал меня давным-давно. — Я родом из станицы Белореченской, недалеко от Майкопа. Вероятно, слышали?

— Еще бы! Там шли жестокие бои. Одна из моих любимых станиц — Родниковая, на Лабе.

— Люблю Кавказ. Какие там реки — Терек, Кубань, Лаба... Сколько в них силы, упрямой воли! А в Осетии есть и такая река — Ардон. Знаете, как звучит это в переводе на русский язык?

Я знал, но слукавил: мне не хотелось мешать ему делиться воспоминаниями.

— Ардон — значит «бешеная вода», — с удовольствием разъяснил Владимир Юрьевич. — Это что-то сродни человеческой жизни. Ледяная горная вода бьется в теснинах, вырывается из них на свободу, катит тяжелые валуны, неистово борется со всем, что встает у нее на пути, чтобы наконец где-то в самом устье успокоиться и покорно отдать себя морю, раствориться в нем навсегда...

Пользуясь тем, что наша беседа приняла, так сказать, неофициальный характер, я совсем обнагдел:

— Позвольте мне затронуть еще один вопрос. В последние годы жизни, и особенно незадолго до смерти, Антон Иванович часто высказывал желание быть похороненным в России. Поверьте мне, это было его самое искреннее желание.

Владимир Юрьевич посмотрел на меня как на пришельца с другой планеты.

— А я-то посчитал вас реалистом, — укоризненно сказал он. — Неужели вы не понимаете, что такое время еще не пришло, если вообще когда-то придет? Вы только

представьте себе такую картину: в аэропорту Шереметьево приземляется самолет, на борту которого — гроб с останками генерала Деникина, того самого, которого даже школьник с двойкой по истории знает как заклятого врага революции. И с воинскими почестями его, генерала Деникина, предадут земле — пусть не на Красной площади и не на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Представляете, какую бурю возмущения и протестов это зрелище вызовет у советского народа?

Он умолк, вероятно и не ожидая моего ответа. А я пригорюнился: с какой убежденностью я заверял Антона Ивановича в том, что его предсмертное желание обязательно сбудется и что я не пожалею сил, чтобы поспособствовать этому...

— Думаю, — сказал Владимир Юрьевич, вставая из-за стола и давая понять, что аудиенция закончена, — что возвращение Деникина в Россию не состоится никогда — ни теперь, ни в будущем. — Он на минуту задумался, нахмутив высокий лоб. — Хотя, впрочем, не будем расписываться за будущее. Оно, как известно, непредсказуемо. И разве мы с вами годимся в пророки?

Пожимая мою руку на прощание, Владимир Юрьевич сказал:

— Я попрошу вас представить нам письменное заявление на имя посла. Напишите подробно все о своей жене, обстоятельства ее исчезновения. Надеюсь, вы знаете, какими фактами надо располагать для того, чтобы поиск дал результаты. Мы постараемся помочь вам, но, сами понимаете, дать стопроцентную гарантию спустя столько лет...

Я горячо поблагодарил Владимира Юрьевича и откланялся.

Из посольства я уходил окрыленный. Уже было поставив крест на опустылевшей мне жизни, я вновь ощутил в себе желание жить. Жить столько, сколько мне отпущено Всевышним. В меня вселилось волшебное чувство надежды.

Надежды на то, что смогу вернуться в Россию, узнать что-то о Любе...

И еще была одна надежда, точнее, заветная мечта: успеть написать книгу об Антоне Ивановиче Деникине.

КОММЕНТАРИИ

Марченко Анатолий Тимофеевич родился в 1922 году в городе Майкопе Краснодарского края. Окончил Калининградский государственный университет. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Работал главным редактором журнала «Пограничник».

Член Союза писателей с 1973 года. Лауреат литературной премии имени Александра Фадеева. Автор романов «Третьего не дано», «Звездочеты», «Возвращение», «Диктатор», «Звезда Тухачевского», повестей «Дозорной тропой», «Смеющиеся глаза», «Как солнце дня», «Дальняя гроза», «Школьная фотография» и другие.

Роман «За Россию — до конца» — новое произведение писателя. Печатается впервые.

С. 12. ...в дивизию Гая... — Гай (Гайк Бжишкян) Тая Дмитриевич (1887—1937) — военный деятель. В революционном движении с 1903 г. В 1918 г. командовал дивизией, затем — командующий 1-й армией Восточного фронта. В 1920 г. — командир конного корпуса на советско-польском фронте. С 1933 г. — профессор в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. Репрессирован, посмертно реабилитирован.

С. 17. ...армия не создала своей Вандеи. — Вандея — департамент на западе Франции, центр роялистских мятежей в пе-

риод Французской революции конца XVIII в. В широком смысле — центр сопротивления чему-либо.

С. 22. ...пытался его заманить Людендорф. — Людендорф Эрих (1865 — 1937) — немецкий генерал (1916), один из идеологов германского милитаризма. В Первую мировую войну, являясь помощником генерала П. Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте в 1914—1916 гг., а в 1916—1918 гг. — всеми вооруженными силами Германии.

С. 32. ...к советам Бориса Викторовича Савинкова... — Савинков Борис Викторович (1879—1925) — политический деятель, публицист, писатель. В 1903 — сентябре 1917 гг. — эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве управляющий военным министерством. Руководитель антисоветских договоров и вооруженных выступлений. Белоэмигрант. Арестован в 1924 г. при переходе советской границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством.

С. 57. ...дочь известного генерала Драгомирова... — Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — российский военачальник и военный теоретик, генерал от инфантерии (1891). В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. командовал дивизией, с 1878 г. — начальник Академии Генштаба, с 1889 г. командовал войсками Киевского военного округа.

С. 58. ...рассказал Владимир Дмитриевич Набоков... — Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — один из лидеров кадетов, юрист, публицист. Депутат I Государственной думы. В 1917 г. — управляющий делами Временного правительства. С ноября 1918 г. — министр юстиции Крымского краевого правительства, с апреля 1919 г. — в эмиграции. Погиб, застрелив собой П. Н. Милокова в момент покушения на него.

С. 104. ...ты читал Апулея? — Апулей (ок. 125 — ок. 180 н.э.) — древнеримский писатель. Авантюрно-аллегорический роман «Метаморфозы в XI книгах» («Золотой осел»), проникнутый эротическими мотивами, элементами бытовой сатиры и религиозной мистики. «Апология» — речь в собственную защиту против обвинения в магии.

С. 110. ...в этих Содоме и Гоморре... — Содом и Гоморра — в Библии два города у устья реки Иордан или на западном побережье Мертвого моря, жители которых погрязли в распутстве и за это были испелены огнем, посланным с небес. Из

пламени Бог вывел только Лота с семьей. В переносном значении — беспорядок, хаос, разврат.

С. 243. *...старой лисы премьера Ллойд Джорджа...* — Ллойд Джордж Дэвид (1863 — 1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг., один из крупнейших лидеров Либеральной партии. В 1905—1908 гг. — министр торговли, в 1908—1915 гг. — министр финансов.

С. 250. *...советский представитель Красин...* — Красин Леонид Борисович (1870—1926) — политический деятель. В 1903—1907 гг. член ЦК РСДРП. В 1918 г. — член Президиума ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 г. — нарком путей сообщения, член РВСР. С 1920 г. — нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Великобритании.

С. 254. *...адмиралу Миклошу Хорти...* — Хорти Миклош (1868—1957) — диктатор Венгрии в 1920—1944 гг., контр-адмирал. Участник подавления Которского восстания 1918 г., Венгерской советской республики в 1919 г. В 1941 г. Венгрия вступила в войну против СССР на стороне Германии. В октябре 1944 г. передал власть Ф. Салаши и выехал за границу.

С. 255. *...в подчинение великому князю Николаю Николаевичу...* — Николай Николаевич (1856—1929) — великий князь, генерал от кавалерии (1901). В 1895—1905 гг. — генерал-инспектор кавалерии, с 1905 г. — главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, одновременно в 1905—1908 гг. председатель Совета государственной обороны. В Первую мировую войну — Верховный главнокомандующий (1914—1915), наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией (1915—1917). С 1919 г. — в эмиграции. Среди части русской эмиграции считался претендентом на российский престол.

С. 272. *...сам адмирал Макаров...* — Макаров Степан Осипович (1848/49—1904) — российский флотоводец, океанограф, вице-адмирал (1896). Руководитель двух кругосветных плаваний (в 1886—1889 гг. на «Витязе» и в 1894—1896 гг.). Разработал тактику броненосного флота. Исследовал проблемы непотопляемости и живучести кораблей. В начале русско-японской войны командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшись на mine.

С. 272. *... принял участие в Ахал-Текинском походе генерала Скобелева.* — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — российский генерал от инфантерии (1881). Участвовал в Хивинском походе 1873 г., Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг. и подавлении Кокандского восстания 1873—1876 гг. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке — Шейново.

С. 279. *Гилберт Кит Честертон* (1874—1936) — английский писатель. Один из крупнейших представителей детективной литературы. Рассказы отличаются сюжетной занимательностью, эксцентричностью, парадоксальностью мышления. В основе его социально-эпической программы — философия тождества (цикл эссе «Ортодоксия», 1908 г. и др.).

С. 280. *...письма и речи самого Кромвеля, опубликованные Карлейлем.* — Кромвель Оливер (1599—1658) — деятель английской революции XVII в. Один из главных организаторов парламентской армии, одержавшей победы над королевской армией в 1-й (1642—1646) и 2-й (1648) гражданских войнах. Опираясь на армию, изгнал из парламента пресвитериан (1648), содействовал казни короля и провозглашению республики (1649). С 1650 г. — лорд-генерал (главнокомандующий всеми вооруженными силами). В 1653 г. установил режим единоличной военной диктатуры — протекторат. Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ. Выдвинул концепцию «культы героев», единственных творцов истории.

С. 282. *...Клемансо обещал помочь...* — Клемансо Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—1909 гг., в 1917—1920 гг. В 1880—1890 г. — лидер радикалов. Председатель Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. Стремился к установлению военно-политической гегемонии Франции в Европе.

С. 285. *...в предательство... Пилсудским.* — Пилсудский Юзеф (1867—1935) — польский государственный деятель, маршал (1920). Один из лидеров Польской социалистической партии. Во время Первой мировой войны командовал польским легионом, сражавшимся на стороне Австро-Венгрии против России. В 1919—1920 гг. — глава государства. После осуществленного им в мае 1926 г. государственного переворота установил в стране авторитарный режим, действуя в качестве военного министра (иногда и премьер-министра).

С. 299. ...Шульгин, проникший в СССР... — Шульгин Василий Витальевич (1878 — 1976) — российский политический деятель, монархист. Один из лидеров правого крыла II—IV Государственных дум; принимал вместе с А. И. Гучковым отречение от престола императора Николая II. После Октябрьской революции участвовал в создании белой Добровольческой армии; эмигрировал. В 1944 г. арестован в Югославии, вывезен в СССР и до 1956 г. находился в заключении за антисоветскую деятельность. В 1960-х гг. призвал эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР.

С. 389. *Потолок, пол, двери* — все из гаоляна. — Гаолян — однолетнее травянистое растение рода сорго семейства злаков. Зерновая культура в Китае, КНДР, Японии и др.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1872 год

4/17 декабря — в пригороде города Влоцлавска, за Вислой, в деревне Шпеталь-Дольный Варшавской губернии родился Антон Иванович Деникин.

1882 год

Учеба Антона Деникина во Влоцлавском реальном училище.

1890 год

Поступление Деникина в Киевское юнкерское училище.

1892 год

Служба подпоручика Деникина во 2-й полевой артиллерийской бригаде Варшавского военного округа в городке Бела Седлецкой губернии.

1895 год

Поступление Деникина в Академию Генерального штаба в Петербурге.

1902 год

Причисление капитана Деникина к Генеральному штабу. Назначение его на должность старшего адъютанта в штаб 2-й пехотной дивизии в Брест-Литовске.

1903 год

Перевод Деникина в старшие адъютанты штаба 2-го кавалерийского корпуса в Варшаве.

1904 год

Деникин назначен начальником штаба 3-й Заамурской бригады пограничной стражи. Произведен в подполковники.

1904 год

Октябрь — Деникин вступает в должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии Восточного отряда генерала Ренненкампа. Участие Деникина в русско-японской войне.

1905 год

Полковник Деникин служит в должности штаб-офицера для особых поручений в штабе 2-го кавалерийского корпуса в Варшаве.

1907 год

Деникин назначен начальником штаба 57-й пехотной резервной бригады в Саратовской губернии.

1910 год

Деникин назначен командиром 17-го Архангелогородского полка в Житомире.

1914 год

Производство Деникина в генерал-майоры и назначение его исполняющим обязанности генерала для поручений Киевского военного округа. Начало участия Деникина в Первой мировой войне в должности генерал-квартирмейстера в армии генерала Брусилова.

1914 год

Сентябрь — Деникин назначен командиром 4-й стрелковой бригады, прославившейся в русско-турецкую войну и именованной «Железной». В последующем — участие бригады Деникина в Карпатском переходе. Награждение Деникина орденом Георгия 3-й степени.

1915 год

Участие бригады Деникина в сражениях под Перемышлем, Луцком, Чарторыйском. Назначение Деникина командиром дивизии.

1917 год

Участие корпуса Деникина в боях на румынском фронте.

1917 год

Март — Деникин назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего генерала Алексева.

1917 год

Май — Деникин назначен главнокомандующим армиями Западного фронта.

1917 год

Июль — Деникин назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.

1917 год

Август — Керенский отстраняет Деникина от должности главнокомандующего «с преданием суду за мятеж». Арест Деникина с содержанием в тюрьмах городов Бердичева и Быхова.

1917 год

Октябрь — бегство Деникина на Дон.

1917 год

Ноябрь — прибытие Деникина в Новочеркасск. Начало организации Белого движения на Дону и Кубани. Деникин — командир 1-й Добровольческой дивизии.

1918 год

Январь — венчание Деникина с Ксенией Васильевной Чиж.

1918 год

Февраль — участие Добровольческой армии в Ледяном походе на Кубани.

1918 год

Март — рождение дочери Деникина Марины.

1918 год

Апрель — бой Добровольческой армии за Екатеринодар. Гибель генерала Корнилова. Деникин принимает командование Добровольческой армией.

1918 год

Август — образование правительства — «Особого совещания» при командовании Добровольческой армии.

1918 год

Осень — Деникин становится главнокомандующим вооруженными силами Юга России.

1919 год

Май — общее наступление армий Деникина на Москву. Последующее взятие Белгорода, Харькова, Екатеринослава, Царицына, Тамбова, Херсона, Одессы, Киева, Воронежа, Орла.

1919 год

Ноябрь — наступление Красной Армии. Отступление армий Деникина к Новороссийску.

1920 год

Апрель — Деникин сдает командование генералу П.Н. Врангелю и выезжает за границу. Пребывание в Турции. Прибытие в Англию. Последующий переезд в Бельгию.

1921 год
Октябрь — в Париже выходит в свет первый том книги Деникина «Очерки русской смуты».

1922 год
Переезд Деникина с семьей в Венгрию.

1925 год
Переезд Деникина в Брюссель. Завершение работы над пятым томом «Очерков русской смуты».

1926 год
Переезд Деникина во Францию.

1940 год
В период оккупации гитлеровской Германией Франции Деникин с семьей живет в местечке Мимизан на берегу Бискайского залива Атлантики.

1945 год
Ноябрь — переезд Деникина в Соединенные Штаты Америки.

1947 год
7 августа — смерть Деникина. Похороны на русском кладбище Святого Владимира в местечке Джексон штата Нью-Джерси.

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Марченко. За Россию — до конца. <i>Роман</i>	
Часть I	
За единую и неделимую	7
Часть II	
Странный эмигрант	234
Комментарии	406
Хронологическая таблица	411